АРСЕН ТИТОВ



ТЕНЬ БЕХИСТУНГА

Annotation

Роман известного уральского писателя Арсена Титова “Екатеринбург, восемнадцатый” — третья часть трилогии «Тень Бехистунга». Перед вами журнальный вариант этого романа, публиковавшийся в № 11, 12 журнала «Урал» 2014 г.

Действие трилогии «Тень Бехистунга» происходит в Первую мировую войну на Кавказском фронте и в Персии в период с 1914 по 1917 годы, а также в Екатеринбурге зимой-весной 1918 года, в преддверии Гражданской войны.

Трилогия открывает малоизвестные, а порой и совсем забытые страницы нашей не столь уж далекой истории, повествует о судьбах российского офицерства, казачества, простых солдат, защищавших рубежи нашего Отечества, о жизни их по возвращении домой в первые и, казалось бы, мирные послереволюционные месяцы.

Трилогия «Тень Бехистунга» является одним из немногих в нашей литературе художественным произведением, посвященным именно этим событиям, полным трагизма, беззаветного служения, подвигов во имя Отечества.

В 2014 году роман-трилогия удостоен престижной литературной премии «Ясная поляна».

Арсен Титов
Екатеринбург, восемнадцатый

1

Верстах в восьмидесяти от Екатеринбурга, на разъезде Марамзино, сотник Томлин сказал:

— А я здесь, напрямки!

Он коротко с нами обнялся, схватил сидор и выскочил из вагона.

— Какие прямки? — крикнул я.

— Да вот так, верст двенадцать! — ткнул он культятой рукой в северную сторону.

— А сугробы! А волки! — закричал я.

— Да нам, пластунам!.. — отмахнулся он.

День вытянулся за середину. Низкое солнце било прямо с юга. Вагоны давали трапеции тени и густо красили снег синькой. Сотник Томлин вязко, но бодро вышел на санную дорогу, желтовато отмеченную соломой и конским навозом, изрядно накатанную и отблескивающую. За ним от вагонов потянулись несколько мужиков в нагольных полушубках и баб в громоздких, завязанных сзади шалях. Два наших брата, серые скотинки-фронтовики, вывалившиеся из соседнего вагона, обмахнули окрестность жадным, как бы обнимающим поворотом на три стороны взглядом, перекрестились, повернулись в четвертую сторону, на вагон, снова перекрестились и поклонились. Было видно, что из вагона им что-то кричали. Они ответили и мелко, задом, как от родной избы, стали от вагона отступать к дороге.

— Ишь ты! Смотри, Борис Алексеевич! — как бы в удивлении, коротко дернул головой наш спутник от самого Оренбурга и тезка сотника Томлина солдат Григорий Бурков.

— Дома! — сказал я.

— А вроде как страх им от вагона отлепиться, — снова дернул головой Бурков.

— Здесь свои, а там Бог знает, — сказал я.

— Пожалуй, — кивнул Бурков.

Было двадцатое января тысяча девятьсот восемнадцатого года. Завершался мой путь из Персии домой.

Я и сотник Томлин оказались в этой экзотической и мятежной стране два года назад по выходе из Горийского госпиталя. Я получил назначение в Первую Кавказскую казачью дивизию, прекрасно себя зарекомендовавшую в летних боях пятнадцатого года под Агри-Дагом. Ее удар во фланг прорвавшемуся турецкому корпусу решил исход операции на всей левой половине двухтысячеверстного Кавказского фронта. Сотник Томлин был уволен со службы по инвалидности, как обычно формулируется в таких случаях, в первобытное состояние и с копеечной пенсией. Полагая, что мне после госпиталя дадут батарею, я уговорил его остаться

со мной — ибо тертый офицер-казак в батарее не только сгодился бы, но и своей пользой потом, по изучении нашего примера, споспешествовал бы внесению изменений в артиллерийский устав, непременному введению в штат батареи казачьего офицера с должностной характеристикой «тертый». Однако мне вышло назначение в указанную казачью дивизию, артиллерийской батареи не предусматривающую. Недоумение от столь странного назначения рассеялось чуть позже. И причиной тому послужила именно Персия.

С давних пор она оказалась предметом борьбы между нами, Российской империей, и Великобританией, столь сердечно переживающей наши успехи, что ни одного из них нам не прощающей. В конце концов был установлен паритет — север страны подпадал под влияние России, юг оказывался в сфере интересов Великобритании. Сколько я могу знать, паритет более соблюдался с нашей стороны, чем с британской, но все-таки соблюдался, и Персия, говоря словами Михаила Юрьевича Лермонтова, «цвела в тени своих садов, за гранью дружеских штыков не опасаяся врагов». А если не цвела, то исключительно по причине собственного правления и отношения правителей к своим подданным.

Иное случилось перед Великой, то есть нашей, войной и особенно с началом войны. Германия и Турция взялись перетягивать Персию на свою сторону. И это у них при абсолютной слабости центральной персидской власти довольно ловко стало получаться. Они не только возбудили персидское население в свою пользу. Они против нас и британцев возбудили соседний Афганистан. Нетрудно представить наше положение на Кавказе и в Туркестане, если бы открылся антирусский афгано-персидский фронт. Тогда-то и было государем императором принято решение ввести в Персию наши войска. За неимением большего, едва был выделен только кавалерийский, а по сути конный, то есть состоящий из разнородных частей корпус, в котором преобладали казачьи полки. Корпусу в качестве пехоты были приданы незначительные пограничные части и две казачьи батареи. Я получил в этом корпусе должность инспектора артиллерии — по новой моде сокращения слов в одно слово, практически всегда ошарашивающее своим благозвучием, должность инаркора. Введены мы были в октябре пятнадцатого года и последующие два года провели в непрерывных боях и рейдах, порой отрываясь от своего тыла на полторы-две тысячи километров. И пока мы там были, Персия была в русле антитурецкой и антигерманской политики.

С приходом к власти в России революционной сволочи меня за отказ с этой сволочью сотрудничать уволили со службы. В России, говорят, таких просто расстреливали или кололи штыками. Но нас от России отделяли тьма расстояния и отсутствие полной картины событий в России. К тому же казачьи части были меньше подвержены революционной грязи. Меня просто уволили. Мои товарищи оставались держать фронт, а я направлялся в Россию, полностью накрытую революционной тьмой и грязью, где должен был быть, по мнению корпусного ревкома, непременно расстрелян. Страдая за корпус, но не имея власти поступить поперек революции, наш командующий Эрнст Фердинандович Раддац, герой Ардагана, поручил мне вывести часть артиллерийского вооружения и имущества в Россию. Мне вместе с группой молодых офицеров, как я же, не принявших революционную тьму и грязь, удалось с нашей базы в Казвине прихватить шесть

орудий разного калибра. Нас объявили по всей дороге до порта Энзели вне революционного закона. Но одно дело было прокричать в телефон всем дорожным постам и всем революционным частям нас разоружить и расстрелять. И другое дело — это исполнить. И каждый дорожный пост при нашем приближении прятался, а каждая высланная нам навстречу революционная часть при нашем приближении немела и катилась назад. На сутки мы остановились в Менджиле, где комендантом поста оказался мой старый знакомый инженер-мостостроитель Владимир Леонтьевич, призванный на военную службу. Нужно было дать отдых людям и особенно лошадям. Нужно было похоронить Анечку Языкову, жену подпоручика Языкова, умершую при родах, а потом и их младенчика, не стерпевшего нашего мира и полетевшего за матерью, ни разу его не приласкавшей, ни разу не покормившей. Я написал телеграмму по всем станциям до Энзели. Я предупредил, что мне и моим товарищам терять нечего. Я написал: «Я и мои товарищи спасают часть российского военного имущества для России. Всякого препятствующего мы рассматриваем как врага России, будь то Россия революционная, будь то Россия прежняя. Я и мои товарищи просим внять голосу совести и разума и не довести дело до кровопролития, дать нам провести часть российского военного имущества в Россию». Владимир Леонтьевич упросил меня такого телеграфа не давать и сам весь день увещевал в телефон всевозможные инстанции, что он захвачен, но с ним и его людьми обращаются хорошо, что не следует предпринимать никаких мер к его освобождению, ибо всякая мера чревата.

— Уйдут они своей дорогой, уйдут, товарищ!.. — кричал он каждый раз в телефон. — Уйдут! И айда с Богом! И пропускайте их прямо к пароходам! Что вам до них-то! У них-то шесть пушек! Да они-то весь ваш рейд разнесут! У них же приказ, а у вас что? У вас-то одна резолюция какого-то товарища Блюмкина! Что? Товарища Шахназарова? Так что с того, что товарища Шахназарова! Он сегодня есть, а завтра его нет! Завтра будет другой товарищ предревкома! А рейд разнесут! А порт сожгут! Отправьте их, да и дело с концом! Что? У кого фальшивый мандат? У этого, у их командира подполковника Норина? Ах он негодяй! Но не препятствуйте! Не препятствуйте! Дайте им пароход! Что? Требуете отобрать у него мандат? Нет уж, господа хорошие! Это-то уж я предоставлю вам этакое удовольствие!

Так кричал в телефон Владимир Леонтьевич все сутки напролет и оглядывался от телефона на меня, лукаво блестел пенсне, а потом, на минуту положив трубку телефона, говорил:

— Да уладится! Пройдете без помех до самого Энзели, до пароходов! У них революция, и им за просто так помирать-то неохота! Им всем домой охота! А что же у вас, батюшка вы мой, действительно мандат? Что же они в таком случае взъелись-то?

Мандат у меня действительно был. Я, сам от себя не ожидая таких способностей, выловчил его в Казвине. И Казвин теперь по всей линии требовал отобрать его. И, как предусмотрительно отметил Владимир Леонтьевич, верно, каждый стремился эту почетную миссию передать другому.

Ушли мы от любезного Владимира Леонтьевича в ночь. И до сих пор я не могу вспомнить, как это случилось, что я очнулся только на каком-то километре

Туркестанской железной дороги от стука случайно оброненного в вагоне котелка.

Началось, по всей вероятности, гораздо раньше Менджиля. Но едва мы из него вышли, меня схватила такая усталость, что я просто бы лег где-то в стороне и растворился. Я даже помечтал о какой-нибудь ямке, этакой неглубокой и продолговатой, до невозможности в моей усталости уютной. «То-то в могиле-то хорошо!» — помечтал я. Было стыдно так мечтать и оставлять положенное мне по уставу место на марше батареи. А я стал оставлять. В первый раз я не преодолел себя и придумал подождать то место, которое на марше отводится команде разведчиков, потом отстал к воображаемому месту команды телефонистов, потом якобы нашел интерес в первом огневом взводе, потом отстал еще и наконец свалился, когда задушевно поговорил с батарейным ящиком, при котором по уставу положено быть батарейному вахмистру, то есть в самом конце батареи. В каком-то удовлетворении от разговора с местом, где должен быть батарейный ящик, я решил прилечь у дороги и пережить этот, как мне показалось, чрезвычайно тонкий и умный разговор. Я уже не представлял, что мы вышли из Менджиля, что мы выходим из Персии, что мы, то есть я, вообще где-то, в каком-то определенном пространстве. Мне стало уютно в самом себе. Я, удовлетворенный этим уютом, еще смог сообразить, что лечь и снова пережить разговор с местом батарейного ящика лучше не на дороге, а в стороне от дороги. Я сошел и лег в уютную, именно неглубокую и продолговатую ямку. Но сошел и лег я в нее только в моем воображении. Лег я, прямо где был. И за меня в темноте счастливо запнулся подпоручик Смирнов, шедший арьергардным дозором вместе с подпоручиком Языковым. Было, что я при этом очнулся и спросил: «Что Ксеничка Ивановна Галактионова?» — видно, столько мне было стыдно за отсутствие у меня к ней чувства. «Все с ними хорошо!» — сказал подпоручик Смирнов. «Так ведь они в наших бельских лугах!..» — сказал я и еще хотел сказать, что мне неудобно оттого, что помешали пережить разговор с местом батарейного ящика. И уж потом я услышал стук упавшего как бы с орудийного лафета котелка — на марше орудия обычно становятся похожими на своеобразные новогодние елки, так их обвешивают батарейцы своей амуницией.

А вышло, что котелок выпал из рук казака-сибирца, в вагоне для больных шедшего эшелонами того самого Девятого сибирского казачьего полка, с которым прошлой зимой мы рвались на Багдад. И все остальное после слов подпоручику Смирнову о Ксеничке Ивановне в бельских лугах я узнал от сотника Томлина.

В Энзели, порту на южном побережье Каспия, была сплошная революция. Какими-то трудами удалось наши шесть орудий погрузить на пароход в Порт-Петровск, куда должны были отбыть и все мы. Что было делать дальше, никто не знал. Никто нас, тем более меня, тифозного, нигде, ни в каком Порте-Петровске не ждал. Но все уже не думали о том, что будет завтра. Революция навела свой порядок и свой смысл, по которым приходилось думать только о сегодня. И в отношении меня смысл революции вышел во встрече сотника Томлина с казаками-сибирцами. Они захватили пароходы и как раз грузились. Командир полка Петр Степанович Михайлов, сменивший Владимира Егоровича Первушина еще летом, тотчас велел забрать всех нас с собой и даже велел взять нашу батарею. Однако пароход с батареей ушел без предупреждения. В порту остались отлучившиеся с парохода подпоручики Смирнов и Языков. И в порту остались наши барышни Ксеничка

Ивановна и Татьяна Михайловна, так самоотверженно пошедшие искать нас в Персии. Со слов сотника Томлина, Ксеничка Ивановна, вероятно, от меня заразилась. Она лежала у кого-то из оставшихся русских обывателей. Татьяна Михайловна осталась с ней.

В третий раз моя заступница Богоматерь уводила меня от войны вот таким странным образом, через болезнь или ранение. Если бы я был мистиком, наверно, я бы стал думать о том, что четвертого раза не будет.

Вот так сталось со всеми нами. Не вышло мне сказать что-то сердечное Ксеничке Ивановне, хоть насколько-то утишить боль ее любящего, но не любимого сердца. В этом отношении она разделила участь лейтенанта Дэвида, безнадежно любящего мою Элспет. Не вышло у меня поблагодарить за службу, за верность присяге и самопожертвование ради России моих новых товарищей.

2

К станции Екатеринбург-Второй поезд подтащился за полночь. Мне на наш угол улиц Второй Береговой и Крестовоздвиженской отсюда было ближе. И я собрался соскочить, подобно сотнику Томлину, сказав, что мне здесь по Сибирской улице напрямки.

— Да что вы, милостивый государь! Всю дорогу я вам рассказываю о ночных безобразиях, а вы все в толк не возьмете! Ведь разгул ночью на улицах полный! Никакой комендантский час не спасает! — сказал притиснутый к нам в отсек некто екатеринбургский обыватель Александр Иванович Фадеев, именно так, обывателем, нам представившийся. Был он, конечно, из крупных чиновных или купцов, но купцов не тех классических екатеринбургских прошлого века, а уже усмиренных образованием, взглядами на Европу и потомственной усталостью детей размашисто поживших родителей. Он старался это скрывать, старался делать из себя обывателя, мелкого артельного или кого-то в этом роде. А происхождение все же прорывалось. Он спохватился и, как ему казалось, исправился. — Шлепнут вас, куда с добром! — сказал он.

— Да уж! — тая улыбку, сказал Бурков совершенно по-томлински, и я даже вздрогнул от совпадения его интонации. — Да уж. Шлепнут не уголовные, так патрульные! — прибавил он со вздохом.

Я нашел правду в их словах и, вглядываясь в совершенно мутный от отсутствия огней город, прикатил на станцию Екатеринбург-Первый.

— Оба держитесь меня! — предупредил Бурков.

Кем он был на самом деле, мы с сотником Томлиным за всю дорогу от Оренбурга так и не смогли определить. Он сказал только, что командирован в Екатеринбургский гарнизон от Оренбургского совдепа с каким-то весьма внушительным мандатом.

— Вот спасибо-то! — искренне обрадовался в образе обывателя Фадеев.

К поезду вывалила возбужденная толпа солдат с винтовками. Ее ор пробился в вагон даже через все заглушающее шипение паровоза.

— Держитесь. От меня ни на шаг! — еще раз сказал Бурков.

Я же себе сказал: «С возвращением к родным пенатам, ваше высокоблагородие, защитник Отечества господин подполковник!» Никакие пенаты меня не ждали. Писем от сестры Маши я не получал с лета и совершенно не знал, что с ними, что с домом, и вся моя надежда была только на нашего Ивана Филипповича — надежда в том смысле, что ни по какой революционной реквизиции его-то из его каморки не выселили.

Поезд остановился. Пассажиры хватили из вагона. Навстречу ударил плотный и развязный, сознающий свою безнаказанность мат.

— Вываливай побыстрей! — в десятки глоток заорала солдатская толпа.

Я вцепился в ремень Буркова и велел Фадееву вцепиться в ремень мне.

— Куда, сволочь! Вываливай! Не задерживай! — орала толпа и сама же облепляла вагон, не давая пройти.

Фадеев сзади со ступенек упал на меня. Его, кажется, ударили кулаком в лицо, потому что я услышал характерный тупой и смачный удар. Фадеев смолчал и моего ремня не отпустил. На Буркова заорали сволочью. Он ответил тем же.

— Ты, мать-перемать, сволочь, чего? Ты не видишь мандат, сволочь? Эти двое со мной! Со мной, я сказал! Где начальник охраны? — зло закричал Бурков.

Он, вероятно, подумал, что вся эта солдатская толпа, вернее, вся эта ощеренная и единая в своей ощеренности пасть являла собой станционную охрану с задачей проверки документов. «Это новая Россия!» — как бы ему в возражение молча усмехнулся я.

Мы продрались сквозь эту новую Россию в вокзал — как оказалось, в Россию еще более новую, потому что окунулись в трудно вообразимое зловоние промерзшего и загаженного, невероятно забитого народом помещения. Бурков спросил комнату коменданта. Немного помня расположение вокзала, я подсказал. В его комнате толкались с десяток злых, курящих и плюющихся солдат. К самому окну был притерт замурзанный железнодорожный чин. За столом с телефонными аппаратами ругался чернявый чин в офицерской тужурке.

— Я вам говорю, товарищи! Я таких вопросов не решаю! — тонко, со срывом голоса кричал он.

— А ты решай! — кричали на него солдаты.

— Я отвечаю только за станцию! Вот пришел состав! Занимайте его! Он пойдет на отстой! В вагонах вам будет до утра выспаться! — отвечал человек в офицерской тужурке.

— Ты нам будешь указывать! — хотел хватить его кулаком один из солдат.

Его остановили.

— Может, займем? — спросил один.

— Да ладно, займем! Его уже и так робяты занимают! Все лучше, чем здесь! — заговорили все.

— Предупредите машиниста! — велел человек в офицерской тужурке.

— Я те все равно!.. — зло сказал ему тот солдат, который хотел хватить его кулаком.

— Вам чего? — завизжал на нас человек в тужурке.

Всю дорогу от Самарканда мне приходилось играть роль солдата. Я промолчал. Бурков ткнул ему мандат.

— Ты комендант? — с той же злобой, с какой он пробивался сквозь толпу и без

какой в России, кажется, ничего уже не делалось, прокричал он.

— Коменданта нет! Я его помощник товарищ Политковский! Освободите служебное помещение! — закричал помощник коменданта.

«Господи!.. Стаховский, Блюмкин, Шахназаров, Брадис, Политковский!» — в уме перевел я в том смысле, что еще недавно были они, вся эта новая власть, в фамилиях, оканчивающихся на «ко», — Крыленко, Дыбенко, Овсеенко…

— Ну так ты звони дежурному коменданта гарнизона города, доложи, что прибыл Бурков! — снова закричал Бурков.

— Коменданта гарнизона города давно уже нет! Приказы военного отдела по управлению гарнизоном подписывает товарищ прапорщик Селянин! Все вопросы к нему! Покиньте помещение! — показал на дверь помощник коменданта.

— Звони, сволочь! — оскалил зубы Бурков.

— Товарищ! Звонить бесполезно. Это вам говорю я, ответственное лицо, наверно, единственное в городе ответственное лицо. Дежурный сейчас или спит, или прихватил кралю от Бобиной или Головиной. И если даже ваш дежурный подойдет к телефону, что он скажет? Он скажет: пусть ваш предъявитель мандата подождет до утра! И это будет лучшим ответом, — сбавил в тоне помощник коменданта. — В вашем Оренбурге, наверно, есть какой-то порядок. А в нашем Екатеринбурге, товарищ, вы думаете встретить такой же порядок? Вы встретите здесь полный беспорядок. Вы слышите? — он ткнул в сторону перрона и в сторону зала. — Вот вы что встретите. Вы лучше останьтесь на вокзале. Это я могу вам сказать. Вот прибыла рота пехотного Корсунского полка для охраны станции. А у меня нет охраны, чтобы от них станцию охранить. — Он снова ткнул в сторону перрона и в сторону зала. — Только что она здесь требовала обеспечить их ночлегом и питанием. Только что я чуть остался жив. Где я возьму накормить сто пятьдесят человек? Вы слышали, я разрешил занимать ваши вагоны. А питаться уже все привыкли за счет приезжего народа, вот за счет вас, товарищ! — он указал на Фадеева.

Фадеев тотчас как-то по-бабьи и в ужасе всплеснул руками.

— Господи, Боже мой! Так ведь у меня заплечный мешок исчез! — вскричал он. — Мы с Бурковым оглянулись на него. — Вот здесь, на спине, — Фадеев совершенно по-детски показал нам спину черного своего пальто. — Вот здесь у меня был мешок с продуктами. И он исчез!

— Вот! — победно вскричал помощник коменданта. — Товарищ был с мешком. Теперь остался без мешка!

— Может быть, в вагоне забыли? — спросил я.

— Что вы! Как же забуду! Да ведь при вас все было! Вы мне лямку поправляли! — потерял в образе обывателя и обиделся на меня Фадеев.

— И не удивительно! Грабят целые вагоны! Разбивают пакгаузы! — сказал помощник коменданта. — Я что хочу. Я по заданию областного комиссара транспорта товарища Гребенева делал докладную записку. Так я вам скажу. Я прямо

указал, что, бывает, за ночь начисто опустошают по тридцать, а то и по сорок вагонов, то есть целые составы! Разгул дикий. Вам повезло, что перед вами прибыла эта рота, которую вы только что видели. А если бы ее не было, вас бы непременно стали обыскивать. Вот тогда у вас все бы отобрали! А вы о мешке вспомнили! Да вас бы, — помощник коменданта посмотрел на меня и потом на моих спутников, — да вас бы непременно арестовали! И кто бы арестовал? А товарищи из охраны бы и арестовали и не стали смотреть на ваш мандат! Потому что ваш мандат для них — это уже власть. А они не хотят никакой власти! Это вам не ваш Оренбург! Да что там! — помощник коменданта поискал в бумагах и протянул номер какой-то газеты. — Вот, пожалуйста, вам! Арестовали и убили! И сообщили в газете! Зачем сообщили? А чтобы все остальные знали, что они власть и делают что хотят! А вот делать порядок они не хотят! Сейчас зима, и не так заметно, но в городе вместо необходимых трехсот тридцати золотарей работают только тридцать! Что будет весной с городом? Этого знать и делать этот порядок они не хотят! А вы тоскуете о мешке!

— Так ведь продукты! И как же можно, чужая вещь, на чужих плечах! — безутешно шарил по пальто, будто искал лямки мешка, Фадеев.

— Ты что же, против революционной власти? — зло спросил помощника коменданта Бурков.

— Товарищ! — усмехнулся помощник коменданта. — Я не сидел бы здесь и не отвечал бы за самое ответственное место в революции, за железную дорогу! Я принадлежу к партии социалистов-революционеров, которая вся при режиме сидела по тюрьмам, а кто не сидел, те висели за свою революционную убежденность по виселицам!

— Так что же ты тут нам со своим Гребеневым контру разводишь? — спросил Бурков.

— Я не контру развожу, товарищ! Я сознание дела говорю! Я о наличии революционного порядка говорю! Убить без суда на улице человека, стащить чужой мешок — это не наличие революционного порядка! Я на этой платформе не согласен с товарищами из местного Совета! — довольно жестко сказал помощник коменданта.

— А про дерьмо по улицам! — напомнил о золотарях Бурков.

— Я что могу сказать! Вы слышите, что творится на вокзале! — перевел разговор помощник коменданта. — Я вам скажу. У меня здесь по коридору, пока его не заняли, есть помещение для хозяйства, всякие там тряпки, ведра, метлы. Я прошу пардона. Я вам предлагаю переждать ночь там. Поверьте — там будет где отдыхать! Больше на всем вокзале у вас это не получится. Даже у меня в комнате не получится! Сейчас навалит солдатня — и ваш отдых пойдет прахом! Пойдемте, товарищи! Я вам покажу!

В этом хозяйственном помещении, то есть конурке без света, во тьме поужинав сухарями и подложив под головы метлы, мы улеглись ждать утра.

— Контру он не разводит! — с негодованием пробурчал Бурков, засыпая.

Фадеев зашептал молитву. А я постарался заснуть молча, но заснуть не мог. Мне в мучительной дреме грезились то оставшаяся позади дорога, то город, который неизвестно что ждет весной, то что-нибудь из детских воспоминаний, коротких и неярких.

Для полноты картины всего революционного порядка я прибавлю небольшую сценку с моим участием, получившуюся ближе к утру. Я пошел поискать места для исполнения команды «оправиться». Сказать, что на вокзале было занято все, — значит, не справиться с задачей. В зале мне предстала картина бугристого, кажется, в несколько слоев слепленного объема всевозможно размещенных человеческих тел. Напрочь был занят и коридор. Я и из каморки-то вышел, лишь заставив подняться нескольких придавивших дверь человек.

— Куда тебя, черт? — зло засипели они.

Я протиснулся к помощнику коменданта. В его комнате, где только было можно, лежали, сидели и топтались злые, непроспавшиеся люди. Сам он, кажется, не узнавая, дико блеснул на меня глазами. Он едва сдерживал близкую истерику. Исполнить команду он мне предложил там, где я сочту возможным, хоть прямо в его кабинете, и протянул листок бумаги.

— Вот, могу помочь! — сказал он.

Я его не понял и взял листок. Он оказался с печатным текстом. Из текста я невольно выхватил заголовочное слово «Приказ». Я стал читать. Приказ оказывался по гарнизону города месячной давности, и меня сладко потянуло в спине — столько я, оказывается, стосковался по службе… Я с вопросом посмотрел на помощника коменданта.

— Можете исполнить! — сказал он.

— Приказ? — спросил я.

— Вашу потребность! — взвизгнул он.

Потребность дать ему в морду я исполнять не стал. Я вернулся в каморку ждать окончания комендантского часа, дождался, попрощался с моими дорожными товарищами и, хотя было еще совершенно темно, вышел из вокзала вон.

3

С привокзальной площади через огромные ледяные колдобины я ступил на такие же колдобины нечищеного Арсеньевского проспекта, в моем детстве именуемого улицей Верхотурской. На углу проспекта тускло мерцало окнами двухэтажное здание, возле которого стояло несколько лошадей с розвальнями и бочками. Я вспомнил про тридцать золотарей вместо трехсот тридцати. Из распахнутых ворот вышел мужик в малахае, коротком мятом полушубке под кушаком и непомерно больших валенках. Он подошел к одним розвальням, остановился, молча пнул бочку. Услышав мои шаги, он оглянулся и, как старому знакомому, сказал:

— Худой бочка, совсем худой! Прошу другой. Говорит: эта чини!

— А что не починить? — спросил я.

— Надо чинить — надо туда-сюда возить бросать! А как буду малый татарчата кормить? — сказал он.

— Да, худо, — согласился я и спросил, что за учреждение в доме.

— Инвалидский лазарит, товарищ! Теперь все товарищ! Теперь никто работать не хочет. Раньше дал бы другой бочка, а теперь только говорит «товарищ»! — сказал он.

— Да, товарищ! — сказал я

Он остался при бочке. Я пошел дальше. Но, видно, чем-то мы задели друг друга. Я оглянулся. Он смотрел мне вслед, увидел, что я оглянулся, и махнул рукой. Первый земляк поприветствовал меня в родном городе.

Мне следовало бы сразу свернуть вправо и Турчаниновской улицей, мимо дачи Базилевского, мысом вдающейся в городской пруд, выйти на его лед, туго перепоясанный множеством дорожек и тропок, со льда выйти на Тарасовскую набережную, пересечь Главный проспект, покрестив лоб на Екатерининский собор, полтораста саженей прошагать по Механической и упереться в родную Вторую Береговую. Но черт толкнул меня беспечно попереться по Верхотурской прямо к мосту через речку Мельковку и к Вознесенскому проспекту. Я поперся. Издалека, от угла Основинской улицы, я различил на мосту две смутные неподвижные фигуры. Явно они были патрульными. Характер мой, дающий мне только вид умного человека, свернуть на лед пруда не позволил. Я сказал себе, что бояться патрулей мне нет причины. Я был во всем солдатском, приобретенном сотником Томлиным еще в порту Энзели. Я пошел на мост.

Фигуры зашевелились. Одна ступила несколько шагов мне навстречу, вторая осталась на месте. Обе сняли с плеч винтовки. По их движениям я определил, что они основательно промерзли, и порадовался на их рвение к службе, вопреки революционным нравам. «Солдатики!» — с теплом подумал я. Первая фигура подпустила меня на несколько саженей и велела остановиться. Я остановился и

различил в фигурах не солдатиков, а местных обывателей, возможно, из числа тех, о которых меня предупредили, что «шлепнут».

— Кто такой? Что в сидоре? — спросил ближний обыватель.

— Да так, сухари солдатские да портянки! А, вот еще котелок! — сказал я сущую правду, потому что в мешке за плечами у меня на самом деле были только сухари, котелок, бритва и моя старая артиллерийская форма. Мои ордена и погоны еще в Ташкенте сотник Томлин зашил в мешочек, который велел мне приторочить к подштанничному обшлагу. «Найдут, так расстреляют! А может, и щупать не будут — сразу расстреляют!» — сказал он и показал такой же мешочек у себя.

— Скидай! — сказал ближний обыватель.

— Что скидай? — выигрывая время, спросил я.

— Сидор скидай и развязывай! — сказал обыватель и махнул винтовкой.

— Товарищ! Я с фронта, с-под Оренбурга! — еще потянул я время.

— А мы рабочая дружина с Монетного двора! Скидай и развязывай, а то у нас живо! — сказал обыватель.

— Товарищ, мне тут вот до дому две улочки пройти! — показал я не в свою сторону, а прямо.

— А хоть на Кукуй! Я сказал, скидай! — заругался обыватель.

— Ты давай там! С-под Оренбурга! — поддержал напарника руганью второй обыватель.

«Сволочь немытая!» — обозлился я, рванулся на винтовку первого в расчете, что, промерзший, он ничего не успеет. Так и вышло. Он не успел поднять ствол, а я уже выворотил винтовку у него из рук и дал ему прикладом, потом рванулся на второго. Он в страхе дал назад, поскользнулся и, падая, винтовку выронил.

— А-а! Не надо! — завизжал он.

— Что не надо? — спросил я, вынул из обеих винтовок затворы и забросил в сугроб влево от моста, а сами винтовки в сугроб справа от моста. — Что не надо? Говорил вам, сволочи, что мне тут рядом! — сказал я и побежал с моста не прямо на Вознесенский, а вправо, на Глуховскую, забежал в первые же ворота, напугал во дворе бабу, бравшую с поленницы дрова, спросил, могу ли со двора пройти дальше, хотя сам увидел, что не могу, что путь преградили выгребная яма и за ней забор.

Я вышел со двора, прошел по Вознесенскому переулку до дома Шаравьева, как-то непутево поставленного так, что дорожное полотно проспекта вышло ему едва не на уровень крыши, что меня всегда понуждало жалеть хозяев. От дома Шаравьева я увидел у Вознесенской церкви народ и смешался с ним, а потом Верхне-Вознесенской улочкой, пустой и выдающей меня коротким и заполошным скрипом снега под сапогами, вышел к Главному. Тотчас я уперся взглядом в здание нового театра, которого я еще не видел, охнул на его пусть и провинциальное, но великолепие и охнул на обязательную русскую антитезу — на бесформие сараев, ларей и прочего хлама остатков бывшей Дровяной площади вокруг театра. Дальше я

Солдатской улицей дошел до угла Крестовоздвиженской и свернул к своей Второй Береговой.

Я издалека увидел Ивана Филипповича и невольно ускорил шаг. Иван Филиппович с лопатой и ломом стоял над ледяным надолбом подле наших ворот. Он смотрел перед собой, наверно, в сомнении осилить надолб. Я был в улице один. Скрип моих шагов заставил его оглянуться. Он посмотрел в мою сторону, в сердцах сплюнул и пошел во двор. Я крикнул ему и побежал. Он вернулся.

— Иван Филиппович! — снова крикнул я.

— Ах ты, Боже мой, Борисанька! — раскорячился он навстречу, раскорячился, размахнулся на обе стороны и с лопатой и ломом вдруг стал походить на наш герб, на двуглавого орла, без одной головы, конечно. — Ах ты, Царю небесный, отец родной! — затоптался он на месте в стариковской немощи побежать, полететь мне навстречу.

Я остановился перед ним, как перед гербом, и сказал только:

— Иван Филиппович! Вот и я! — а потом ткнул в сторону обледенелого надолба, будто он был самым главным на эту минуту. — Оставьте, Иван Филиппович! — сказал я, а потом сказал, как бы уже пребывая в курсе всех городских дел: — Оставьте! Все равно никто ничего не делает! Весной все поплывет! Вместо трехсот тридцати золотарей в городе работают только тридцать, да и у тех бочки — никуда!

— Запоганили! Запоганили, Борис Алексеевич! Сил нету! Во двор выйти сил нету. В дом войти сил нету! Все начисто запоганили. Малую нужду справляют с крыльца. Большую валят мимо дыры! Населили в дом сброду, какого не выдывал никто сроду! — запричитал Иван Филиппович.

— Как же населили? Кто? — спросил я, хотя еще из письма сестры Маши мне в корпус в Персию знал, что населили эвакуированных, что они ничего не берегут, а на замечания грозят донести власти. Так их нынче учат.

— Утром я выхожу, — не слыша меня, вскричал Иван Филиппович, — выхожу, а он прямо с крыльца ладит! Я ему лопатой в загривок! Да где! Ведь увернулся! Ведь верткий, собака такой, и мне кричит, дескать, он след-от заметет, а то, кричит, тебя, старика, прямо сдам в Совет, будешь знать, как на советского работника орудие поднимать!

— Да кто же, Иван Филиппович? А Маша где? А Иван Михайлович где? — снова спросил я.

— А кого советный работник! Како совето они подадут, когда сами до дыры сходить не научились, когда сами по совету да ладу одного дня не живывали! — не слушал меня Иван Филиппович.

— Да Иван же Филиппович! — пошел я мимо старика во двор.

— Живут, а хоть бы кто двор почистил! Совето они, видишь ли! — пошел за мной Иван Филиппович.

Несмотря на топтанные собаками и политые помоями где ни попадя сугробы, загромоздившие двор, он мне показался пустым. Я приостановился. Иван Филиппович ткнулся мне в спину.

— Во-во! Чего натворили! — сказал он.

Я увидел, что во дворе нет двух старых лип.

— Кончили! Как пошла свобода, как дров не стало, так и кончили! На Шарташской станции дров этих жечь не пережечь! Дак где же! Оттуда ведь надо везти! А они ведь совето! Ныне осенью и кончали! Всем гамузом свалили да, почитай, Борис Алексеевич, так и бросили! Вон ветки из сугробов торчат! Разве же липа — дрова! Да сырая! Нешто она им гореть будет, дуракам! Она поумней их будет, дураков! Так и греются тем, кто сколь напердит! А я сказал: вы Божии лесины кончали, вам и издохнуть от холоду! Так меня опять хотели во власть отвести! А туда поведут, так по дороге застрелят, как вон какого-то присяжного на днях застрелили! Повели, да лень вести было — и застрелили! — снова запричитал Иван Филиппович.

И вот только сейчас, наверно, оттого, что вместе с липами исчез двор моего детства, я до ломоты в костях почувствовал свое одиночество. Из всего того, чем я жил, у меня ничего не осталось. Василий Данилович Гамалий, Коля Корсун, все другие мои сослуживцы, вестовой Семенов, да даже Валерия, даже лошадь моя Локай составляли то, чем я жил и хотел бы жить до скончания века. Но оно, это все, осталось где-то позади, и безвозвратно позади, осталось так бездарно мной растранжирено, что вернуться к нему я не мог. Я смотрел на изгаженный двор и не понимал, зачем я сюда вернулся, зачем все это, что было сейчас передо мной. Я понял, сколько я просто неумный человек, а сколько я вообще никто, если позволил обойтись с собой так, как вышло, — если я позволил какому-то комитету с его товарищами Сухманами и Шумейко отчислить меня от корпуса, заставить меня лишиться всего, чем я дышал, и притащиться сюда, в подлинную пустыню, в местность с тридцатью золотарями и какими-то советскими работниками в моем дворе детства, в доме моего батюшки.

Перед отъездом из штаба корпуса я получил от Элспет письмо — последнее от нее письмо. Она написала его нашими, совсем чужими для ее пальчиков, но ставшими родными для ее сердца кириллическими знаками. Сразу же за первыми словами о ее любви она стала просить меня перейти на службу в британскую армию, заверяя, что решение принято, что мне только следует согласиться. «Борис, — уверяли меня ее пальчики, — ты не изменишь присяге, не изменишь своей стране. Ты некоторое время будешь офицером его величества короля Георга. И мы будем вместе. А когда у вас в стране снова будет порядок, мы поедем к тебе, в твою и уже мою Россию. Я буду везде и всегда с тобой. Я никогда не вздохну от усталости и сожаления. И, Борис, я…» — дальше было слово, сделавшее нас счастливыми. Она ждала от меня ребенка. Этого письма у меня тоже не было. Пока я сидел в ташкентской тюрьме, его уничтожил сотник Томлин.

— По двум причинам, — сказал он. — По первой причине, чтобы тебя не шлепнули как британского шпиона. По второй причине, курить было охота как из

ружья!

Ничего этого теперь у меня не было. Со злым счастьем я пошел в дом, завернул к крыльцу и увидел, что в нашем небольшом саду, выходящем на улицу Вторую Набережную, не было старой раскидистой китайской яблони.

— Тоже они? — спросил я.

— Оно, совето! — выдохнул Иван Филиппович.

Он выдохнул, а воздуха не стало хватать мне. Я заступил одной ногой на ступеньку и оперся на перила. Прямо у меня перед глазами был сугробец действительно со следами того, о чем говорил Иван Филиппович, а дальше был разломанный забор в сад без китайской яблони.

— И нет ни околоточного, ни пристава! Шастают только патрули, так им не попадайся! — еще сказал Иван Филиппович.

— И нет никого! — сказал я себе.

— Никого нет! — услышал Иван Филиппович. — И что с ними, один Бог ведает. Мне поехать к ним — не с руки дом на этих оставить. А им поехать сюда — так небось живых-то нет! Небось арестовали да застрелили, как этого присяжного! Я ведь по ночам плачу. Днем с этими воюю. А по ночам-то молюсь да плачу!

— За что же арестовывать? Иван Михайлович — агроном, совершенно нужный любой власти человек! — в прежней пустоте сказал я.

Описывать беспорядок и грязь в доме уже нет смысла — они равнялись тому, что было во дворе. В больших комнатах родительской спальни и батюшкиного кабинета жили две семьи, мою комнату заселял какой-то чернявый тип лет двадцати от роду. Комната Маши и гостевая комната были загромождены имуществом, какое Иван Филиппович сумел спасти. Семейные жильцы не поздоровались со мной, поджались и закрылись у себя в комнатах. Потом один вынес какую-то бумагу.

— Вот, у нас вид на жительство в этих комнатах от новых властей! — сказал он.

А тип, оказавшийся советским работником, собирался в учреждение и пил кипяток с сухарями.

— Служу в горпродкоме, а питаюсь вот так! — сказал он, помолчал и, глядя на мои солдатские сапоги, прибавил: — Я в партячейке состою. Буду снова проситься на Дутовский фронт! — еще помолчал, видимо, пождал моей реакции. Я молча оглядывал комнату во всем невероятном ее безобразии. Он снова посмотрел на мои сапоги. — Я в таком отношении к членам партии оставаться не могу, мне на организм влияет! — сказал он и, видимо, в качестве советского служащего, перед которым я был никто, прибавил: — А тебе, товарищ, как бывшему военнослужащему надо встать на учет. Это надо сходить в управление уездного воинского начальника на Водочную улицу!

Иван Филиппович не выдержал.

— Да уж Борис Алексеевич знают, что и куда! Они Отечество защищали, пока ты тут с крыльца двор метил! — в язве сказал он.

Тип молча отвернулся.

В гостиной комнате, служащей проходной для всех остальных комнат, я спросил Ивана Филипповича принять ванну. Оказалось, еще год назад он позвал слесаря и отвинтил трубы — разумеется, чтобы ею не пользовались новые жильцы. Я спросил про городские бани.

— На Исети в проруби толку будет больше! — в злорадстве махнул он рукой, а потом показал в сторону жильцов: — Эти разбредутся, я с чердака дровишек достану и нагрею воды корыто! — и сладострастно хихикнул, будто сделал большую и долгожданную гадость.

Я пошел в комнату Маши, не раздеваясь лег на маленький диванчик в надежде побыть одному и подумать, что мне делать дальше. Но ни о чем подумать я не успел. Я тотчас заснул. Сквозь сон я слышал, как Иван Филиппович ругался с жильцами, говорил, что вернулся хозяин, что теперь-то им будет куда с добром. Я хотел проснуться, выйти и сказать Ивану Филипповичу втихомолку, чтобы он не ругался и уж тем более не говорил, кто я. Но проснуться я не мог. Через какое-то время я опять услышал разговор Ивана Филипповича с кем-то из жильцов. Жилец просил Ивана Филипповича помочь ему через меня в каком-то в одном деле, которое его, жильца, поставило в щекотное положение.

— Вы поговорите с вашим официром. Очень щекотное положение! — просил жилец.

Я опять хотел проснуться и предупредить гоношливого старика не болтать лишнего. И опять не мог проснуться и только отметил, что он уже наболтал. Я видел Элспет, мою невенчанную жену, видел рядом нашу будущую дочь, которая была в образе Ражиты, зарезанной четниками шестилетней девочки. Я рвался к ним в Шотландию. Но у меня выходило быть только в Персии, только в бельских лугах или на улицах Екатеринбурга, летних, томных, мягко отражающих свет от тротуарных плит белого известняка. Екатеринбург мнился светлым и красно-белым — по цвету зданий, будто в нем никогда не было черных и серых деревянных строений. И каким-то странным образом на этот Екатеринбург наслаивался Екатеринбург нынешний, непонятно какой, в котором только то и было, что тридцать золотарей.

К полудню Иван Филиппович разбудил меня. Я помылся в корыте, нашел прежнюю свою гимназическую одежду, обулся в старые пимы Ивана Михайловича и почувствовал себя совсем потерянным, едва не раздавленным. Этому чувству придало остроты наше с Иваном Филипповичем чаепитие со сбереженными им от дореволюционных времен чаем и сахаром. Он мне рассказывал, как он тут живет, где что достает — керосин, хлеб, те же дрова. А я вспоминал Сашу, его медленное и молчаливое хождение по дому после возвращения с фронта из Маньчжурии. Саша молча ходил и на все глядел как-то странно, будто осваивал житье в доме заново. Мне ходить по дому и на все молча смотреть не выпадало. Саша вскоре же стал из дома пропадать. Я его мог видеть с другими офицерами на Покровском, у номеров. Он стал возвращаться домой пьяный, развязывал башлык, целовал руки матушке и нянюшке. Ничего подобного мне тоже не выпадало. Я опять, как во сне,

возвращался к себе в корпус в Персию, опять представлял моих друзей-сослуживцев. За последним совместным ужином все смотрели на меня, зная, что я поведу часть корпусного имущества на Терек. «Не с Кубани, так с Терека начнем!» — говорили многие и просили замолвить там, у генерала Мистулова, за них словечко. Потом мы говорили с Колей Корсуном, генерального штаба капитаном, моим незабвенным другом. «А ведь после этой сволочи придется Россию строить заново! Придется все отмывать кровью!» — говорил Коля Корсун.

Иван Филиппович говорил о хлебе и керосине. А я видел только Персию. И я ругал себя последними словами за то, что позволил каким-то сволочам отчислить меня от корпуса.

4

После чая мы с Иваном Филипповичем дотемна чистили двор, разбили надолб и закрыли ворота. Я вытащил из сугроба остатки липовых веток, тупым топором с треснутым и перевязанным топорищем более их измочалил, чем изрубил, разбил остаток забора в сад, все сложил поленницей. Пока я занимался дровами, Иван Филиппович чистил туалет, сказав, что за «этими совето» он мне прибирать не позволит. А «совето», то есть жильцы мужского пола, ушли из дому, пока я спал, а жильцы женского пола, угрюмые, некрасивые, не взглядывая на нас, но стараясь независимо, сначала с помойными ведрами, которые держали на ночь в комнатах, сходили к выгребной яме, а потом пошли со двора.

— Пошли своей Новиковой жаловаться! — сказал Иван Филиппович.

— Что за Марфа Посадница? — спросил я.

— А вот такая, что сама себя посадила тут, и куда до нее самой императрице! Весь околоток взяла! — сморкнул вслед женщинам Иван Филиппович.

Работа меня отвлекала от пустыни. А естественное действо Ивана Филипповича по очистке носа напомнило мне ночь перед боем на Олту — казаки-бутаковцы, строя рубеж обороны, вот так же чистили носы.

— Ну, вот так всех и взяла! — хмыкнул я.

— Взяла! — всхорохорился Иван Филиппович. — Взяла весь околоток. Ходит в их совето в дом Козелла и баб так прибрала к рукам, что мужики теперь не суйся! Околоточного Ивана Петровича еще осенью с околотка сжила! Я ему говорю: «Как же ты, Иван Петрович, терпишь? Она же Бога срамит, кричит, де, его уже тыщи лет, как убили!» — а он только кокардой во лбу крутит, а ничего поделать не может, потому что кругом власть объявила свободу!

— Так эти-то, наши, пошли жаловаться на то, что мы за ними прибираем? Так, Иван Филиппович? — спросил я.

— А хоть и так! Теперь их власть, прощелыг и каторжанок! Побежали сказать, что мы мешаем их свободе сраму плодить! А еще скажут, что объявился ты, Борис Алексеевич, штаб-офицер, по-ихнему, и сказать нельзя кто! — еще раз прочистил нос Иван Филиппович. — А у самой-то у ней, у самой-то Новиковой сраму! Она в аптеке у Александра Константиновича поселилась. Я к нему прихожу персидского порошку взять да мази противу того, что руки ломит. А он человек уважительный, нашу семью всю сквозь знает! Он — мне: «Иван Филиппович, дорогуша, ты взглянь, как могут образованные бабы жить!» — Я из уважения к нему взглянул. Так даже ватные клочья с засохшей кровью прямо — по всему полу!

— Раненая, что ли, или кровь носом шла? — не понял я.

— Так ранены бабы-то каждый месяц бывают! — всхихикал Иван Филиппович. — А рана-то одна. Они ее каждый месяц затыкают! Александр Константинович говорит, всю вату извела. Берет, а не платит, да еще грозит и потом кричит: «Долой

буржуйский стыд!» — дескать, из Питера такая бумага пришла, потому что в Питере стали ходить голые!

— Пообносились? — будто не понял я.

— Да что ты, Борис Алексеевич! — рассердился на мою непонятливость Иван Филиппович.

Так с моим ерничаньем и его сердитостью мы в темноте закончили работу, снова сели пить чай. Пришли и разбрелись по комнатам жильцы. Я стал стругать из полена топорище.

— Борис Алексеевич! А где же ты научился работе-то? Ведь штаб-офицер! Неужто у тебя денщика не было? — спросил Иван Филиппович.

— Так ведь артиллерия скочет куда хочет! — отшутился я.

— Так ведь ты, выходит, трудящий. А они тебя объявят неизвестно как! — сказал Иван Филиппович.

— А ты бы им больше обо мне рассказывал! — попенял я.

— Так ведь так доведут своим срамом-то, что в сердцах и выкрикнешь, что раньше-то хозяева-то все блюли! — оправдался Иван Филиппович.

— Ладно, — сказал я.

Я пошел к себе, то есть в бывшую комнату Маши. Едва я зажег лампу, в дверь постучали.

— Честь имею представиться, мещанин Ворзоновский! — то ли изогнулся, то ли повихлялся передо мной жилец лет пятидесяти. — Прошу извинения, что, — он выговорил не «што», а «что», — прошу извинения, что щекотность дела не позволяет ждать ангажемента отношения!

— Что же оно позволяет ждать? — усмехнулся я.

— Я глубоко извиняюсь за наше проживание в вашем доме. Но обстоятельства. Теперь в некотором роде все позволяет быть общим! Тем более я вам уже скажу. Мы потеряли все. Войну начинают военные, к которым в некотором роде принадлежите вы. А теряют имущество цивильные граждане, к которым принадлежим мы. Тем более что, — он опять сказал через «ч», — тем более что и новая власть подтвердила наше право на ваши комнаты. Вы официр, и вы…

Дальше я слушать не стал.

— Идите спать! — сказал я.

— Знаете, однако времена… — стал он говорить еще что-то.

Я закрыл дверь.

Я не знаю, почему я не заставил их всех вычистить двор, не обошелся с ними, как обошелся с патрулем на Мельковском мосту. Я не знаю, почему я стерпел их неприязнь. Наверно, меня остановил инстинкт самосохранения или еще более инстинкт сохранения дома. Вот, вероятно, потому только я, вопреки себе, оставил

жильцов в покое. Они боялись меня. Я был выше. Это меня заставило поступить так, как я поступил.

Опять, как в последнюю мою ночь в штабе корпуса, я спал урывками, все больше не спал, а что-то думал, но за всю ночь ничего определенного не надумал. Определенного взять было неоткуда. Передо мной была ледяная пустыня, ни границ которой, ни времени пребывания в ней я не знал. Я не знал, как поступят со мной в управлении воинского начальника, признают ли во мне прапорщика военного времени или копнут глубже и узнают, что я подполковник. Если копнут и узнают, то, как поступят со мной в этом случае, — я тоже не знал. У меня был за спиной Ташкент, чудом не ставший мне могилой. Бог пронес меня мимо событий в Оренбурге. А здесь, дома, правила какая-то каторжанка Новикова. Здесь, дома, была неизвестно какая власть. И не было кого-то, кто бы подсказал.

Я не решил за ночь, какие документы мне нести в управление воинского начальника — подлинные или фальшивые. Сотник Томлин оказался не таким разгильдяем, каким показал себя в Персии. Я лежал в тифозном бреду, а он мне сделал справку прапорщика Сибирского казачьего полка. Прапорщик военного времени против подполковника с академическим образованием несомненно выигрывал. Но ничего иного в подтверждение прапорщика я предоставить не мог. И таких, как я, скрывающих себя, явно теперь было очень много. И к таким должны были относиться соответственно.

Я заснул под утро и проснулся уже засветло, проснулся и выругался — так не хотелось мне просыпаться.

Позавтракал я опять с Иваном Филипповичем, перекрестился и пошел на Водочную улицу, в управление воинского начальника, с твердым решением оставаться при справке прапорщика. Утро вечера действительно вышло мудренее.

По пришествии моей очереди беспогонный чин за столом, но явно унтер, прочел мою справку, спросил документ об окончании училища. Я сказал, что окончил Виленское училище, но документ утерян в условиях боевых действий.

— В условиях боевых действий, — покрутил свой жиденький ус унтер. — Так, а как же ты оказался в Сибирском казачьем полку?

Я понял, что промахнулся, что надо было сказать хотя бы об Оренбургском казачьем училище.

— А черт занес! — в сердцах сказал я и далее сказал о госпитале в городишке Гори, о назначении из госпиталя в Первый кавалерийский корпус, как то было на самом деле.

— Утерян-то как? Что мне писать? — спросил в явном недоверии унтер.

— Писать, что утерян в условиях боевых действий! Ты хоть знаешь, где эта Персия и что там творилось? — твердо и будто не догадываясь, что унтер мне не верит, сказал я.

— А документ об отпуске от полка? Где твой полк? А то училище Виленское. Полк Сибирский. Служил где-то едва не в Индии. Как-то все этак у тебя! — спросил

унтер.

— Вот в справке, — показал я запись, какую сделал сотник Томлин, об откомандировании меня в Екатеринбург, и не стерпел выговорить, что странности моей боевой судьбы зависели не от меня, а от службы. — Ты сам-то фронт видел? — спросил я.

— Довелось! — сказал он, опять покрутил свой ус, которому до уса сотника Томлина было, как крысиному хвостику до ослиного хвоста, посмотрел снова в справку и вдруг сказал: — Ага! — велел подождать и пошел куда-то по коридору.

«Убраться подобру-поздорову?» — спросил я себя и остановил.

Унтер вернулся быстро.

— Вот что, — сказал он. — Это написано «откомандирован». Это, значит, не к нам. Откомандирован — это, значит, в военный отдел по управлению гарнизоном на Механическую. Службы не знаешь, прапорщик! Или соскочить захотел в запас?

— Унтер! — засвирепело во мне.

— А может, команду вызвать да посадить тебя на гарнизонную гауптвахту? — как-то странно приятно улыбнулся унтер. — С нашим великим удовольствием. Очень хорошо посидеть тебе там, откомандированному! Там вша пожирнее и покусачее, чем в казарме!

— Честь имею! — забирая справку, сказал я по привычке.

Унтер сощуренно посмотрел на меня и молча кивнул.

Я вышел из управления. Мороз выстраивал дымы в прямые и ровные столбы.

— А ведь славно! — сказал я.

Оборот дела был неожидан. Я ни разу не обратил внимания на эту закавыку — слово «откомандирован». А сотник Томлин, как и всякий казак, бумаг не терпевший, явно был доволен уже тем, что надоумился исхлопотать мне справку, ничуть не вникая, что же этакое там написал писарь. Писарь же, выходило, написал наивозможно мне необходимое. Я теперь снова причислялся к службе. Предвидеть подобное было просто невозможно. Я хватил в легкие морозу и полетел на Механическую. Мои заступники Пресвятая Богородица, матушка и нянюшка опять испросили мне спасения.

«Они и этот разгильдяй сотник!» — горячо подумал я о них.

Оказывается, должность начальника гарнизона была упразднена и заменена на коллегиальный орган — военный отдел при Совете их депутатов — еще в начале декабря прошлого года. Бывший начальник гарнизона полковник Марковец входил в этот военный отдел лишь с правом совещательного голоса. Совещательность заключалась в том, что его вызывали в отдел по вопросам консультации, каким образом он прежде решал ту или иную задачу. Управлял же военным отделом прапорщик Сто восьмого запасного пехотного полка Селянин, при котором были два члена отдела.

Забегая вперед, скажу, что воинских частей в городе скопилось очень много.

Серые шинели и солдатские папахи по улицам мельтешили гораздо чаще, чем обывательские одежды. Все здания общественного назначения были заняты под войска. Наша первая гимназия, обе женские гимназии, епархиальное училище, Богоявленское, Тургеневское, Малаховское училища, духовное ведомство, кинематографы, гостиницы, некоторые обывательские дома были отведены для расквартирования войск. А например, театр Верх-Исетского завода был отведен для лагеря военнопленных.

Число войск к моменту моего возвращения довольно успешно сокращалось. Но во всем было много путаницы, противоречивых приказов из округа, которые, видимо, отражали полный развал управления. Все из войск жаждали скорее попасть домой. А приказы, только что объявившие определенным категориям старослужащих солдат или солдат определенных национальностей, например тем же украинцам, об отпуске, через несколько дней объявляли о задержке или возвращении к месту службы. Следующие приказы объявляли о снятии уволенных в отпуск с довольствия. Их спешили обогнать приказы о постановке задержанных или возвращаемых на только что снятое довольствие. А пока проходило несколько дней, издавались приказы о сокращении кухонь, питательных пунктов, пекарен, бань, о передислокации частей в иное место, о слиянии в связи с сокращением личного состава одних частей с другими.

Все было в движении, но в движении не упорядоченном, а хаотическом. Тот же военный отдел через две недели с Механической был переведен на Уктусскую, на толкучий рынок, в помещение канцелярии Конского запаса, которая, в свою очередь, занимала помещения полицейской управы и которая в свою очередь перебралась в помещение военного отдела. А например, гарнизонные бани нашли возможным оборудовать на Хлебной площади, так что помойная вода из них ручьями текла в Исеть совсем недалеко от нас. То-то Иван Филиппович советовал мне сходить на реку помыться.

А пока я пришел на Механическую улицу, в дом с мощным каменным первым этажом, смахивающим на крепостной бастион. Второй этаж был деревянный, из лиственничных бревен и с деревянной резьбой. Улица кипела солдатским народом еще с угла. С угла она была запружена коновязями, лошадьми, повозками, обильным и неприбранным конским навозом, прочим мусором. Туда и сюда сновали по ней и исчезали в доме прикомандированные, посыльные, вестовые. Откуда-то со двора тащили к повозкам громоздкие ящики, а навстречу им во двор тащили из других повозок другие и тоже громоздкие ящики. Часовых в этой суете заметить было трудно — и более не оттого, что их поглощала суета. Они сами ничуть не походили на часовых — сидели на деревянной скамейке, курили и точили базары с постоянной вокруг них гурьбой солдат.

Я вошел во двор. Навстречу из дома выкатились два беспогонных, обтерханных и чрезвычайно возбужденных служаки.

— Ну, вот, едри их в вошь! Где? Где они, я спрашиваю? — закричал один на другого. Я увидел на его рукаве мятую и грязную красную повязку.

— А что — с меня-то? Они уже какой день взяли за моду заступать без

караульного развода! Я докладывал по команде тебе же, что не приходят, а то и вовсе не выходят в караул. Тебе же я докладывал! — закричал второй, без красной повязки.

— Когда ты мне докладывал? Врешь! Небось Орлову докладывал, так я еще до сих пор не Орлов! — закричал первый.

— Я тоже не от кобылы родился! И ты из меня пенька на скотомогильнике не строй! Тебе подано, ты и соблюдай бумаги, а не пускай их на раскурку! Я на тебя в Совет доложу! — закричал второй.

— А! — махнул первый так, что повязка у него полетела с руки. Он ее подобрал, развернулся и покатился обратно в дом. — А вы тут! — походя, но как-то с опаской пнул он винтовку одного из часовых.

— А ты не это! Ты не это! А то живо в это, в комитет! — не замедлил с ответом часовой.

— Ко-ко-комытэт! — не выдержал я отметить новый порядок.

И тут я увидел одноклассника Мишу Злоказова. Он шел в распахнутой шинели, без шапки и с бумагами в руках. На его физиономии сильная отрешенность от всего окружающего не могла пересилить всегдашнего его озабоченного выражения, будто он постоянно думал, а не выворотить ли крепкий и какой-то только характерный для Миши из кармана кукиш. Мы не виделись со дня моего отъезда в гарнизон после училищного отпуска. Я знал, что Миша в военной службе не был.

— Миша! — совершенно вне себя от радости, схватил я его за рукав.

— Ты что тут делаешь? Ты почему в таком виде? — расцветая только глазами, стал он задавать, на мой взгляд, дурацкие вопросы и потащил меня в сторону.

— Да с фронта, Миша! И для прохождения дальнейшей службы! — стал отвечать я.

— Ну, это понятно, что с фронта! Я знаю! Но почему в виде какого-то малахая? Я же знаю, что ты… — хотел он, видимо, сказать обо мне то подлинное, что знал, но осекся. — Ты давно в городе? С документами все в порядке? — спросил он.

На миг я подумал о нем, что он служит в каком-то нынешнем сыскном заведении, — столь мне не понравился его вопрос. «Ты кто такой, чтобы так спрашивать!» — едва не закричал я, но сдержался и в кривой, презрительной усмешке подал ему справку.

— Почему так? — спросил о справке Миша и сам себе ответил: — Ладно. Это неважно. Расскажешь потом. Ты в службу — по ней?

— Ты спрашиваешь по делу или просто так? — спросил я, зная, что Миша никогда ни в какой военной службе не состоял, и полагая его вопрос праздным.

— Я здесь, — показал он на второй этаж. — Я писарь у начальника гарнизона, то есть председательствующего в военном отделе! Пойдем! И о своем настоящем чине, Боря, пока никому ни слова!

Через час я имел на руках выписку из приказа с обычной в таких случаях

формулировкой: «Полагать такого-то военнослужащего (то есть меня) прикомандированным…» И прикомандированным я оказался с заступлением в должность бригадного инструктора траншейных орудий и гранат к парку Четырнадцатого Сибирского стрелково-артиллерийского дивизиона, незадолго до меня прибывшего в город. Должность не соответствовала ни которому из моих чинов, ни чину прапорщика за его малостью, ни чину подполковника за его величиной. Но она мне тут же принесла авансовую выдачу в двести рублей оклада жалованья, что тоже не соответствовало — и дополнительно не соответствовало городской дороговизне на продукты. В утешение мне было сказано, что начальник парка получил на днях авансовую выдачу, немногим большую моей.

— А дровяные? — спросил я, несколько приобнаглев от такого счастья.

И вопрос мой имел смыслом то обстоятельство, что в той нашей, еще государя императора армии в связи с падением стоимости рубля полагались офицеру на отопление и приготовление пищи дровяные и на прокорм лошадей фуражные прибавки к жалованью, что в сумме у нас, в Персии, составляло две тысячи рублей, и соответствовали эти две тысячи примерно тремстам довоенным рублям. Их выдавали персидским серебром — по-персидски манатами, а по-казачьи, как помнится, собаками, ибо казаки изображенного на монетах льва в насмешку приняли за собаку.

— А всякое офицерское пособие к содержанию на военную дороговизну отменено, господин хороший! — как бы с язвой ответил Миша и взглядом показал помалкивать.

Я и сам понял, что прапорщику военного времени, не состоящему ни в каких комитетах, следовало — как бы это сказать — быть поневежественней, что ли.

— Да-да! Непременно! То есть как и положено! — замямлил я.

Миша и на это показал глазами молчать.

— Вот! — громко сказал Миша и подал мне еще один приказ. — Вот! Вам как окончившему военное училище до первого мая семнадцатого и согласно приказу из округа от вчерашнего дня положен на замену один комплект обмундирования! О вас тут заботятся, понимаете, а вы тут нам что-то из области иллюзий — того! Все. Идите, товарищ военнослужащий!

Я пошел, он пошел следом, но якобы по своим делам и в коридоре дал мне записку на имя заведующего гарнизонным магазином о разовой выдаче мне некоторых продуктов.

— Иди прямо сейчас. Говори, что от самого Крашенинникова, это наш адъютант, вот его подпись. Кое-что получишь из продуктов. К себе в парк пойдешь завтра. А сегодня, как все получишь, я жду тебя в гости. Сережка Фельштинский будет предупрежден и примчится на всех парах! — напутствовал он меня.

— Слушаюсь, господин писарь! — взял я под козырек.

Он то ли не понял, то ли не принял шутки. Физиономия его снова напомнила мне, что его привычкой в гимназии было без особого разбора, кто перед ним,

выворачивать из кармана крепкий и какой-то только ему свойственный кукиш. Я такой чести ни разу не был удостоен. Но другие имели возможность наблюдать этот кукиш довольно близко от своего носа.

— Откуда такая власть у тебя? — еще спросил я.

— Потом как-нибудь! — сказал он.

Уже стемнело, когда я с двумя сидорами — с обмундированием и продуктами — пришел домой. Иван Филиппович выкатился встречать меня во двор.

— Господи, обошлось? — выкрикнул он и в ожидании ответа раскорячился в герб России.

— Так точно, ваше сиятельство! — гаркнул я.

— Молчи, молчи, оллояр неземной! Молчи! Тут эти, прости, господи! — замахал он руками.

— Кто? — спросил я.

— Эти, разъязви их! — ткнул он рукой куда-то в сторону улицы, а потом в сторону дома.

— Неуж? — ничего не понял, но скорчил я рожу под сотника Томлина.

— Истинно! — понял он меня по-своему.

— Вот же едрическая сила! — снова под сотника Томлина сказал я.

— Не ходи! Айда у меня пересидишь! — попросил Иван Филиппович.

— Это нам с тобой для нашего чревоугодия! — скинул и подал я старику один сидор.

Он быком посмотрел на меня.

— Откуда? — глухо спросил он. Я не успел ответить, как он еще более глухо, совсем утробно выдохнул: — Неужто совето?

— Хуже, Иван Филиппович! — сказал я.

— Украдено принес? — тем же тоном спросил он.

— Да нет же. Все служебное. Я взят в военную службу! — перестал я ерничать.

— В совето? — снова и как бы даже с угрозой спросил он.

— В военную службу! — с нажимом и некоторой долей раздражения сказал я и вдруг спохватился.

Я спохватился на тот счет, что в пылу восторга от прекрасно устроенного моего положения я не дал себе отчета не только спросить, а и подумать о том, какая сейчас военная служба, та ли она, из которой меня уволили, или какая-то другая, сволочная, революционная. Иван Филиппович смотрел на меня в ожидании. Я признался, что не спросил про службу.

— А если совето, значит, антихристово, как вон эти! — показал на дом Иван Филиппович.

— Если совето, значит, мы не будем служить! — сказал я.

— Да тихо ты, Борис Алексеевич! Совсем ума лишился! Это тебе не в твоей артиллерии! Слыхом понесется в твое совето! — зашипел Иван Филиппович.

Я приложил палец к губам, мол, молчу.

— Это исть погодим! — показал на сидор Иван Филиппович.

— Почему? — удивился я.

— А если совето? — в язве спросил он.

— Иван Филиппович! Командир отличается в строю не только тем, что может безнаказанно громче всех пустить ветры, но и тем, что может строю подать команду их не пускать! — рассердился и опустился я до солдатского фольклора.

— Понял! — действительно понял перебор в своем клерикальном рвении Иван Филиппович.

— Но кто все-таки там? Почему мне нельзя туда? — спросил я.

— Прозевал. Они прошли, а я прозевал. Все тебя высматривал, а тут бес попутал — прозевал. Но прошли и сидят тихо! Не ходи! У меня пересидим! — сказал Иван Филиппович.

Я отмахнулся и пошел к себе. Дом был гробово темен и тих. Я вошел в него и остановился, будто артиллерийская граната в казенной части. Дверь за мной пристукнула и как бы довершила впечатление. «Выстрел!» — сказал я себе и пошел наугад. Меня услышали. Из-под двери комнаты Ворзоновского брызнул свет лампы. Дверь открылась. Лампа высветила самого Ворзоновского и позадь него какую-то довольно встрепанного вида женщину, своей встрепанностью толкнувшую меня на мысль об их гнусном в темноте занятии.

— Имею честь! — с вызовом сказал Ворзоновский.

— Имейте на здоровье! — сказал я.

— Это, однако, немыслимо, в какое щекотное положение вы нас ставите! — с прежним вызовом сказал Ворзоновский.

— Пошли вон! — сказал я и закрыл за собой дверь.

— Вот видите! Вот и в прошлом разе они так же! Это, однако, против всего! Они себе позволяют, как официр прежнего царского времени! — закричал Ворзоновский на весь дом и, вероятно, уже обращаясь к своей встрепанного вида женщине, чуть сбавил тон: — А вы на них не влияете!

Я не расслышал ее ответа. Я услышал чернявого служащего продкома.

— А вы не позволяйте себе претензии на весь дом! — из своей, то есть бывшей моей, комнаты крикнул он.

У меня родилось только одно слово: сволочи. Рубцы меня потянули влево. Я бросил сидор и шагнул к двери. Однако некогда отмороженные легкие не смогли схватить воздуха. Я сел на диванчик. За дверью Ворзоновский что-то закричал

чернявому. Именно что он закричал, я не смог разобрать. Легкие никак не захватывали воздух. Я повалился навзничь. Я весь задергался в конвульсии. Воздух в меня не шел. Напротив, из меня пошел рык. Мне стало страшно, что я сейчас задохнусь. И мне стало мерзко, что я задохнусь, а эта сволочь Ворзоновский возликует. Омерзение ли, обыкновенный инстинкт ли — что-то дало мне силы, а Господь надоумил упасть с диванчика на пол и не схватывать воздух, а как бы его из себя выталкивать, хотя он, кажется, и так шел из меня с рыком. После нескольких толчков я с протяжным стоном схватил маленькую и, как мне почувствовалось, какую-то кособоконькую струйку. Она рыбкой нырнула в меня. Потом нырнула вторая, третья — я ожил. Я сел на диванчик. В радости, что это могу, я стал глотать воздух — не дышать воздухом, а именно его глотать, как глотают воду. Радость тотчас стала перемежаться коротко возвращающимся страхом перед тем, что если бы вдруг я задохнулся. В этот миг я глотал воздух сторожко, с опаской, что натружу легкие и они откажут. Миг проходил, и я снова хватал воздух большими глотками, гнал его, как мне казалось, в самые мои закоулки.

Я слышал за дверью ругань. Кричал Ворзоновский, кричали женщины, кричал чернявый жилец. Я различал отдельные фразы. Но я не понимал их смысла. Мне было превосходно оттого, что я дышу. Это было главным. Чернявый жилец кричал: «Вы все за собственность! Ваша платформа в жизни захватить собственность! А мы против!» И я понимал, что это о нашем доме. Но я этого не впускал в себя. Мне главным было дышать. Дышать мне было счастьем, моим одиноким счастьем, против которого все остальное было ничем.

Я вспомнил горийского моего соседа по госпиталю Сергея Валериановича с ранением в легкое. Была весна. Дни чередой пошли теплые и солнечные. Духота палат стала невыносимой. И хотя ранение в легкое грозило Сергею Валериановичу осложнением, он попросил меня распахнуть окно и потом несмело, так же сторожко и с опаской, как я сейчас, втягивал в себя ставшую для нас чужой заоконную свежесть. «Щекочет и как-то даже обжигает!» — виновато и пьяно сказал он. Сколько я помню, он был при этом в совершенном счастье. И я вспомнил драку с молодым князем, вернее, не драку, а то, как я, задыхающийся и с пошедшими наружу отмороженными моими легкими, узнал пальчики Ксенички Ивановны. Едва ли не в тот же день, когда мы открыли окно, я пошел гулять в город и нечаянно стал причиной столкновения с молодым представителем местного рода владетельных князей юнкером Амилахвари. Он хотел меня угостить плетью. Но я оказался проворней. В миг, когда я сбил его с ног, мои легкие мне отказали. Они в моем представлении пошли горлом. Я зарычал и переломился. У меня потекли слезы. И я не увидел, как рядом оказалась Ксеничка Ивановна. Я почувствовал, как кто-то бережно поддерживает меня и утирает мое лицо. Я узнал Ксеничку Ивановну по пальчикам. Ее пальчики были, пожалуй, единственными на всем белом свете, коралловые, чуткие, терпеливые, незаменимые. Тогда я оттолкнул ее — оттолкнул только с тем, чтобы она не видела моих безвольных и позорных слез.

Это воспоминание тоже было моим счастьем.

За дверью жильцы кричали.

— Ваша платформа — захватить собственность! — кричал чернявый служащий

продкома.

— С вашим умозаключением я имею щекотное положение. А это мне влияет! — в ответ кричал Ворзоновский.

Мне же было счастьем дышать.

И с этим счастьем, обессиленный удушьем, я заснул — не раздеваясь, прямо в шинели и сапогах, и счастливо ощущал себя на фронте, счастливо обманывал себя, что я на фронте, что все ушедшее мне только предстоит.

Утром явился патруль из двух мастеровых и одного по виду конторщика. Их привела вчерашняя встрепанная особа, оказавшаяся жиличкой нашего аптекаря Александра Константиновича Белова с Крестовоздвиженской улицы, та самая каторжанка Новикова. Мы с Иваном Филипповичем пили в каморке чай. Они спросили мои документы. Я видел, какое злобное разочарование постигло Новикову, когда патрульные вернули мои бумаги. Что-то волчье было в ее лице. Ей явно хотелось моей крови.

— Извиняйте, товарищ военнослужащий! Но — революционный террёж! — сказал один мастеровой.

— Революционный террор, мазута! — гордо за знание революционного слова поправил его другой.

— Революционный террор — это необходимость порядка! — прошипела Новикова.

— Порядок там, где анархия! — сказал конторщик.

— Вот вы лучше тех арестуйте, которые гадят! — показал в сторону комнат с жильцами Иван Филиппович, а потом, по уходе патруля, сурово посмотрел на меня: — Борис Алексеевич, про армию-то узнай, а то, поди, совето!

Я криво усмехнулся. Часом назад, с пробуждением, я понял — место моему счастью осталось только в ночных грезах. Приход патруля подтвердил это. Но служба давала возможность об этом не помнить. Я криво усмехнулся Ивану Филипповичу.

5

Миша Злоказов предупредил меня никому моего подлинного прошлого не показывать. Но стоило мне в парке дивизиона представиться его командиру из выборных военнослужащему Широкову, как присутствующий при этом некий военнослужащий Раздорский, оказавшийся подполковником прежней армии, сразу определил — никакой я не прапорщик военного времени. Он мне это сказал потом, наедине. Я на всякий случай молча пожал плечами.

Парк прибыл в Екатеринбург двумя-тремя днями ранее моего приезда и представлял собой вселенский хаос, усиленный тем, что все в парке знали о скором его расформировании и потому не считали нужным что-либо делать во упорядочение службы. Частью имущества парк оставался в вагонах на Екатеринбурге-Втором. Частью имущества он перетащился под караул служивых парка на Сенную площадь. Боезапас был сдан в арсенал. И о том голова у командира Широкова, по его словам, уже не болела. Настоящей болью, по его же словам, оказывались сто шестьдесят лошадей парка. Парковый комитет предлагал Широкову в дороге продать лошадей. Широков воспротивился, полагая лошадей казенным имуществом, которое никакому самовольному использованию или распределению не подлежало. Чины артиллерии по их большей, чем в других частях, грамотности с дисциплиной расставались менее охотно. Потому комитет на своем предложении не настоял. И при всеобщем революционном порядке в стране такая приверженность дисциплине вышла, прямо сказать, преступлением. Лошадей кормили абы как, не чистили, не выводили из стойл и из вагонов. Все они были крайне истощены. Большая половина их заболела. В страхе перед ответственностью парковый ветеринарный фельдшер где-то по дороге отстал от эшелона. На меня и возложили задачу куда-то их передать.

По принадлежности парк и дивизион относились к артиллерийской бригаде с тем же номером, что и парк с дивизионом. А вот бригада могла быть придана любому из армейских корпусов, потом много раз переподчинена. Чтобы передать лошадей кому-либо в законном порядке, надо было соотнестись с ними. Но где они находились, куда катились в условиях революционного порядка, парк не знал. По отсутствии в парке ветеринарного фельдшера я взял с собой заведующего хозяйством парка Лебедева, секретаря комитета Брюшкова и отправился на станцию.

Заглянув в первый же живой скотомогильник, то есть вагон, я только и смог сказать Лебедеву: «Нет на вас казаков!» — хотя летело на язык сказать: «Нет на вас Лавра Георгиевича!» — в том смысле, что летом прошлого года руководство армией взял на себя генерал Корнилов Лавр Георгиевич и одной из мер, предотвращающих развал армии, вернул в армию смертную казнь.

— А вы что, сами из казаков будете? — пропустил мимо ушей мой тон Лебедев.

Я смолчал.

— Лютый народец, я вам скажу! — сказал он.

— А по-иному с вами нельзя! — вспылил я.

— Не об нас толк! Я в четвертом годе в Маньчжурии видел их! — сказал Лебедев.

— И чего же они налютовали? — не отпуская тона, спросил я.

— А довелось видеть вырубленный ими, как говорили, за какую-то минуту японский полк. Поле кровавого мяса! — сказал Лебедев.

— Где это было? — спросил я в мелькнувшей во мне надежде, что Лебедев скажет об отряде генерала Мищенко, в котором воевал брат Саша и фото офицеров которого в рамке каслинского литья у нас стояло в гостиной.

— Да под Вафаньгоу! На всю жизнь запомнил. Знаете такое? — сказал Лебедев.

Я опять смолчал. По совести, таких взявшихся командовать новых господ следовало бы судить, а для начала хорошенько отвозить по мордам, чтобы голова у них болела подлинно. Я уже было свернулся в кулак, но вспомнил вчерашний приступ удушья и остановился.

— Куда обращались? — спросил я.

— Так куда же! Широков, четырка, сходил к заведующему расквартированием, а что выходил, нам не докладывал. Да четырка он и есть четырка. Какой он командир! — сказал Лебедев.

— Ну, ты, это, того, а то как бы самому не обчетыриться! — вступился за революционную власть Брюшков.

— Сволочи! — сказал я и вдруг, потеряв себя, заорал, как какой-нибудь пехотный фельдфебель: — Да ты, морда! Да ты знаешь, что такое лошадь! Ты, сволочь, знаешь? — и уже понял, что ору не на тех, что вообще ору зря, впустую, но рубцы потянули, легкие опять захлебнулись. Я рыком погнал их вон из себя и сломился.

Приступ, слава Богу, тут же отпустил. Я вобрал в легкие воздуха, отер рукавом слезы и пошел прочь — только отметил, как же быстро я из офицера русской армии превратился в безродного, неизвестно чьей государственной принадлежности военнослужащего, ловко перехватившего повадки хамов оскорблять и терпеть оскорбления. «Совето!» — вспомнил я ненависть Ивана Филипповича.

— Что, газами травлен? — услышал я Лебедева.

И следом запоздало взъярился Брюшков.

— А ты, того, это, белая сволочь! Мы из тебя это, иху мать! — взвыл он.

Я не оглянулся. Моих привычных понятий о службе, о субординации, о движении дел по команде, то есть в строгом соответствии с уставом, обеспечивающим исполнение задачи, в этом революционном порядке явно не хватало. Куда пойти еще, я не знал. Я пошел к начальнику гарнизона, а вернее, к Мише Злоказову.

Он прежде всего спросил, почему я не пришел вчера. Я махнул рукой и сказал

ему причину сегодняшнего прихода.

— Эшелон лошадей на путях и не разграблен? — изумился он.

— Дохлых лошадей! — скривился я.

— Никакой разницы! — отмахнулся он, и я по его глазам увидел, как в нем взыграла жилка потомственного заводчика.

— Так что? — спросил я.

— Подожди! Сейчас! — сказал он и через несколько времени вернулся из кабинета адъютанта гарнизона с бумагой. — Вот аллюром шпарь на Уктусскую, в полицейскую управу. Не забыл где? Рядом пожарная каланча. Там в управе сейчас располагается управление конского запаса. Его начальник по фамилии Майоранов. Сдашь своих саврасок ему. И вечером все-таки приходи, как договорились!

— Миша, может быть, это ты управляешь гарнизоном? — спросил я.

— Может быть! — фыркнул он и снова напомнил о вечере.

Идти по Покровскому проспекту или по Главному было одинаково. Я выбрал Главный, вышел на площадь перед Екатерининским собором, посмотрел на Нуровский сад по другую сторону проспекта, как в детстве, только мысленно помолился на палаточную церковь Екатеринбургского мушкетерского полка, героя войны с Наполеоном, свернул на плотину и подивился малости и врослости в тротуар гранильной фабрики, в детстве только от одного названия «императорская» казавшейся мне величественной. Фабрика еще при мне перестала работать. Но слово «императорская» было на фронтоне до сих пор. «Вот-вот!» — сказал я в смысле, что оба мы императорские, но оба бывшие императорские. Я, подобно Мише Злоказову, и опять только мысленно, свернул крепкий кукиш. Потом глянул вдоль стены, обрамляющей плотину, на видневшийся впереди Кафедральный собор, горько усмехнулся, не увидев перед собором памятника императору Александру Второму, и вдруг пожалел, что не остался в Оренбурге, не ушел с полковником Дутовым, выбитым из Оренбурга, загнанным куда-то в степи, но не покоренным. Несложная логическая цепочка от слова «степь» вопреки всем географическим расстояниям нарисовала мне Индию совсем рядом с той, воображаемой мной степью, где был полковник Дутов. И я увидел себя в Индии, на пароходе, отходящем в Британию, к Элспет и еще к кому-то тому, кто уже был и кто мог быть назван как угодно. Я сосчитал — ему уже должно было быть два месяца. И он прибавил желания оказаться у полковника Дутова, желания служить империи, а не… Я не нашел слова, каким можно было бы назвать все то, что было вокруг меня.

Вечером я пришел к Мише в их дом в стиле ампир на Офицерской улице. Я не удивился тому, что дом не был занят, как был занят наш дом. Писарь Миша был кем-то гораздо более, чем писарем при адъютанте нынешнего гарнизонного начальника. У Миши был только Сережа Фельштинский, наш одноклассник, тяжело раненный в Галиции. Руки-ноги его, слава Богу, были целы. Но против того Сережи, которого я знал по классу, он был вял и малоподвижен. Мы сердечно обнялись.

— Вот так, Боря! — печально и протяжно, совсем не характерно для него, сказал он.

Я не знал, чем ответить на это, и невпопад напомнил наш спор об Андрии из «Тараса Бульбы». Мы все Андрия презирали. А Сережа считал его подлинным рыцарем, ради своей любви пошедшим против своих. Я спросил Сережу, помнит ли он спор. Он махнул рукой, но глаза его загорелись. Я подумал — вот сейчас снова возьмется меня убеждать в рыцарственной жертвенности Андрия. Он сказал совсем другое.

— Нет! — сказал он, угольно накаляясь взглядом. — Нет! Так больше хватит!

Я понял, что он говорил уже не об Андрии, но съерничал.

— С Андрием — хватит? — спросил я.

Он не принял тона.

— Ты читал? — обжег он меня взглядом. — Хотя нет! Ты появился в городе только что и читать этого не мог! Но ты слышал? Нет! Им надо дать отпор! Иначе они нас всех по пути в тюрьму перестреляют!

— Да скажи сначала ему, о чем ты витийствуешь, местный вития! — прервал его Миша.

Сережа привычно, как бывало в детстве, резко остановил себя, как если бы столкнулся с препятствием, пару секунд осмысливал новое свое положение перед этим препятствием, увидел его и сбавил во взгляде.

— Ах да! — сказал он, но тотчас запыхал угольным жаром. — Ты, конечно, не знал семью Ардашевых. У них дом около почтамта за Нуровским садом. Так одного из этих Ардашевых пятнадцатого числа застрелили просто так. Привязались, арестовали, повели в тюрьму и застрелили! И чтобы оправдаться, нам объявили: пытался бежать! «Уральская жизнь» написала, сейчас процитирую… — Сережа вскинулся, опять напомнив себя в детстве, вот так же вскидывающегося, когда ему нужно было что-то вспомнить или выстроить в уме. — Сейчас вспомню! — сказал Сережа, но отчего-то вспомнить не мог, весь ушел в себя и опять, как в детстве, стал перебирать пальцы, будто ломать их и выворачивать. — Ах, черт! Да что же это! Сейчас! Проклятая память! Ее совсем отбило! — стал говорить он.

Я стал ждать. А Миша ждать не захотел.

— Ладно, Серж! Тебя не дождаться! — оборвал он Сережу и повернулся ко мне. — А суть дела такова! — И он стал рассказывать, что незадолго до моего приезда из Верхотурья был привезен в екатеринбургскую тюрьму тамошний председатель думы Ардашев. По пути в тюрьму он якобы пытался сбежать, но был застрелен. — Газета «Уральская жизнь» написала: «При попытке к бегству».

Слушавший его с нетерпеливым вниманием Сережа тотчас взорвался.

— Какая попытка к бегству! Какое бегство от матросов! Куда и зачем ему надо было бежать! Это все гнусные измышления! Да эти матросы просто сговорились его кокнуть! — заполыхал он взором.

— Его вели в тюрьму не матросы, а верх-исетские дружинники! — перебил Миша.

— Но Хохряков-то — матрос! — возразил Сережа.

— А главный следователь Юровский — фотограф, фельдшер и жид! Так что с того? — опять возразил Миша.

— Но если его повели в тюрьму — это значит, что такое решение вынес председатель следственной комиссии Юровский! — как-то самому себе возражая, сказал Сережа.

— Ну, ты у нас известный логик! Если матрос Хохряков распорядился направить его в следственную комиссию, значит, убили матросы. А если следователь Юровский распорядился направить его в тюрьму, значит, следователи не убивали! — фыркнул Миша.

— Но ведь явно не было никакой попытки к бегству! Явно беднягу Ардашева просто зверски убили! — вскричал Сережа.

Миша посмотрел на меня и как бы развел руками.

— Вот и поговори с ним! — сказал он мне и опять обернулся к Сереже. — Ну, а мы о чем? — спросил он. — Мы-то, господин логик, о чем? Мы тебе и говорим, что его кокнули. Но кокнули верх-исетские бандиты, а не какие-то твои матросы!

— Да, но… — что-то хотел сказать Сережа.

— В общем, так! — не стал слушать его Миша, опять обернувшись ко мне. — Здесь у нас правит бал для таких арестованных, как Ардашев, матрос Паша Хохряков, скотина еще та. Тут Сережа прав. — Сережа при этом, как мальчишка, не смог сдержать удовлетворения. — Сережа прав, что эта скотина вполне мог дать негласную команду кокнуть беднягу, а потом сказать, что виноват он сам. Эту команду верх-исетские и исполнили. Вот и весь сыр-бор, как говорится!

— Но ведь они же всем отказали в разбирательстве дела! — вскричал Сережа. — Им же эсеры и другие предъявили требование расследовать, а этот подлец Голощекин… — Миша здесь мне пояснил, что названный господин является местным заправилой власти с титулом начальствующего в том самом, по выражению Ивана Филипповича, «совето». — А он нагло заявил, — продолжил Сережа, — что расследование уже проведено, бедняга Ардашев пытался бежать! Но это наглая ложь!.. И почему они себе все позволяют? Почему никто им не может дать отпор?

— Ну, пойди, дай им отпор! — сказал Миша.

— Но ведь Оренбург дал отпор! Нашелся Александр Ильич Дутов! И если бы здесь не какали в штаны, а восстали, как восстали оренбуржцы, тогда бы какали в штаны все эти узурпаторы! — стал пылать уже не взглядом, а взором Сережа.

— Так что же ты сидишь? Пойди и восстань! — сказал Миша.

— Почему этого не сделают офицеры? — хлопнул небольшим своим кулачком по колену Сережа.

— Вот так с ним каждый раз, когда встретимся! Как только Учредительное собрание разогнали, так он прямо взбесился! Переворот в октябре стерпел, только

все в календаре дни черным вымарывал. Вымарает, ручки потрет и обязательно скажет: «Вот вам еще на один день меньше осталось!» — А как Учредительное собрание взашей разогнали, так он по-настоящему сдурел! — будто не замечая Сережи, пожаловался мне Миша.

А Сережа опять с мальчишеским интересом слушал, как если бы Миша говорил не о нем, а о ком-то другом, о чрезвычайно интересном Сереже человеке.

— Поглядите на него! — увидел этот интерес и будто бы осудил его Миша. — Борька после стольких лет неизвестно где болтания наконец объявился живой, а он каким-то отпором бредит! Ты, Фельштинский, хотя бы ради приличия спросил Борьку о чем-нибудь! Он, в отличие от тебя, кое-что повидал, в самой Персии воевал, с шахом персидским на одном ковре сиживал, шербета немеряно выхлебал и персидских красавиц на коленях держал!

Сережа от его слов захлебнулся. Он не был ни эгоистом, ни невнимательным человеком. Он просто был увлекающейся натурой. Предмет увлечения забирал его полностью. В то время, когда он был в плену своего увлечения, места ни для кого в нем не оставалось. Он был своеобразно цельной натурой — и потому только с оговоркой «своеобразно», что безоговорочной цельности мешал довольно большой разброс его увлечений. И он был исключительной честности человек. Трудно было отыскать человека, менее пригодного к военной службе, чем Сережа. Но он увлекся, он посчитал нечестным во время войны не служить. Он ушел вольноопределяющимся и воевал, получил тяжелое ранение, стал кавалером солдатского Георгия. Сейчас он увлекся восстановлением справедливости, возмездия или чего там еще в отношении убийц верхотурского председателя думы, и я слушал его, потому что бесполезно было пытаться отвлечь его. Миша тоже знал о бесполезности своих усилий. Все трое, мы были разными. И в классе друзьями мы не были. Дружба обнаружилась в первый мой приезд в отпуск из училища. То, что в классе мне в них казалось чужим, вдруг в то лето высветилось иначе. Сын богатого заводчика Миша, сын крещеного еврея-аптекаря Сережа и я, сын столбового дворянина, оказались соединенными воедино. Правда, было это недолго — только в то лето и в следующий мой приезд. А потом меня затянули служба и академия. Потом пришла война. Но сейчас я ощущал, что единение никуда не подевалось. Прошло десять лет, а единение не прошло. Сейчас я видел — Мише надо было о чем-то со мной поговорить. Но Сережа поговорить не давал. Можно было бы сказать: «Сережа, хватит! Нам надо поговорить!» — Сережа бы понял и не обиделся. Он бы стал говорить, почему его не остановили раньше. Но сам он остановиться не мог и увидеть, что нам надо поговорить, не мог.

Я не стал ждать, пока Сережа отойдет от прихлынувшего от укора Миши стыда. Я спросил, как себя Сережа чувствует после ранения.

— Да вот лысею! — в совершенно серьезной печали сказал Сережа.

И опять между ним и Мишей вышла перепалка.

— Он лысеет! — воскликнул Миша. — Борис, он свято верит, что лысеть начал после ранения, то есть в связи с ранением. Я его спрашиваю: тебя что, по башке снарядом, как наждаком, проширкало? Он мне: нет, но после госпиталя я стал

чувствовать, что лысею. Да ты, Фельштинский, на своих соплеменников-то хоть когда-нибудь глядел? Много среди них кудреголовых в твои-то года? Пора наступила, брат Пушкин, пора лысеть! Лысения пора, очей очарование!

— Но ведь я кудреголовым и не был. У меня всегда была хорошая волнистая и светлая шевелюра! — возразил Сережа.

— И что? — спросил Миша.

— А теперь, после госпиталя, я стал чувствовать, что лысею! — сказал Сережа.

— Может быть, там тебе башку чем-нибудь намазали в надежде, что поумнеешь, но у них не вышло! — сказал Миша.

— Так вот я же об этом и говорю! — возмутился Сережа.

— А Борька тебя спрашивает, как ты себя чувствуешь после ранения! — сказал Миша.

— Ну, что, Боря, после ранения, — уныло стал говорить Сережа. — После ранения я чувствую себя развалиной. На барышень смотрю без страсти, просто статистически. Ноги у меня едва волочатся. Голова, как у спящей курицы, падает набок. Памяти никакой нет. Вот хотел процитировать эту несчастную газетенку «Уральскую жизнь», а вспомнить не могу. Пальцы на руках я стал чувствовать распухшими. Они на самом деле не распухшие. Но у меня такое ощущение, что они распухшие. Мне теперь что-нибудь написать совершенно неприятно — получаются какие-то каракули. Да много чего стало хуже после ранения! Башка вот лысеет!

— Так зато вшей не будет и сулемой посыпать не надо! — сказал Миша.

— Как остроумно! — успел сказать Сережа и вдруг стукнул своим маленьким кулаком о колено: — Но это им так не пройдет! Мы и с такими пальцами, и с такой лысой головой их достанем! Постигнет их кара восставшего народа!

— Постигнет! С лысой-то головы мы их непременно достанем! — сказал Миша.

— Достанем! — не замечая ерничества Миши, вновь запылал взором Сережа. — Александр Ильич Дутов, мой командир, первым восстал. И это ничего не значит, что у него не получилось!

— Твой боевой командир? Ты, Сережа, воевал у него? — изумился я.

— Еще какой боевой, Боря! — гордо вскинулся Сережа. — Еще какой боевой и еще какой интеллигентный! Он преподавал в Оренбургском казачьем училище, был действительным членом ученой архивной комиссии, искал материалы по пребыванию Пушкина в Оренбургском крае и ушел в действующую армию, как и я, по собственной воле!

— Да, Сережа, но… — хотел я спросить, как же Сережа оказался под его командованием.

— Ты хочешь спросить, как казачий штаб-офицер Дутов и смердячий пес Фельштинский оказались вместе? — не дал мне сказать Сережа. — Так я же никому не был нужен! Меня отовсюду гнали уже через час после того, как я приходил. Я

хотел служить. Я все уставы выучил так, как ревностная монашка «Отче наш» не знает! Я иду, думаю, почему же меня отовсюду гонят. Слышу, кто-то кого-то зовет: «Вольноопределяющийся!» Я иду и думаю, какое мне дело до того горемычного вольноопределяющегося, который кому-то потребовался. Снова слышу: «Вольноопределяющийся, ко мне!» Ну, думаю, сейчас тебе будет возможность вольно определиться. И вдруг до меня с трудом доходит: «Да это же меня требуют!» Смотрю, стоит казачий подполковник и, в свою очередь, смотрит на меня. Я строевым шагом, правда, с правой ноги и с одновременным отмахом правой руки подошел и спрашиваю: «Вы это ко мне обращаетесь, ваше превосходительство?» Ты, Миша, не служил. Ты не знаешь. А Борис знает, какой курбет я выкинул.

— Как это не знаю! — обиделся Миша.

— Ну что ты в своем несчастном военном отделе делаешь! Это разве служба! — с легким превосходством выпрямился в спине Сережа. — Вот у нас была служба. Я спрашиваю: «Вы это ко мне обращаетесь, ваше превосходительство? Можете располагать мной по вашей надобности!» И опять до меня с трудом и запозданием доходит: какое ваше превосходительство! Какое располагать по надобности! Какое ко мне или не ко мне! Ведь за все это по морде получить будет совершенно справедливо и еще обрадоваться, что так хорошо только мордой все обошлось! Ведь подполковник — это всего лишь высокоблагородие, а не превосходительство! — Сережа опять в легком превосходстве посмотрел на Мишу. — Это я для тебя объясняю. Ты не знаешь, Миша, что твой несчастный прапорщик Селянин и его адъютант поручик Крашенинников даже до высокоблагородия недотянули! — И, не дожидаясь ответа, Сережа повернулся ко мне. — Я чуть в штаны не наложил! Матерь Божья! Ведь сейчас упечет! А он совершенно спокойно: «Вы, вольноопределяющийся, какого полку, кто ваш командир?» А я ему точно так же, как и до того: «Да что, ваше превосходительство! Я служить Отечеству хочу. А меня отовсюду гонят!» — «Как же вы служить Отечеству собрались, если вы даже уставы выучить не потрудились?» — спрашивает он. «Я все уставы знаю прекрасно, потому что я хочу служить Отечеству! Но никто этого не хочет понять! Вы поставьте мне конкретное дело, а не так, что, как попка, так точно, так точно! Конкретное дело! Все должно быть конкретно, как учил Александр Васильевич Суворов!» — отвечаю. Он посмотрел на меня. А у меня складки шинели под ремнем не сзади собраны, как положено, а почему-то все спереди, как будто спереди у меня не брюхо, а спина. «И что же вы конкретно, как Александр Васильевич Суворов, умеете сделать? — спрашивает. — Писать грамотно и красиво можете? Пишущей машинкой владеете?» — «Так точно! Конечно! — обрадовался я. — Пишущей машинкой я одним пальцем могу! А писать грамотно и красиво — за один присест школьную тетрадь испишу без помарок!» Так я оказался писарем отдельного стрелкового дивизиона, и с третьего апреля шестнадцатого года мы в составе Третьего корпуса графа Федора Артуровича Келлера участвовали в боях. А двадцать восьмого мая в ночном бою мы переправлялись через реку Прут на конях, в седлах, по пояс в воде. Я дивизионный журнал привязал ремешком к голове, чтобы не замочить. По нам били артиллерия и пулеметы. Мне волной забило ухо. Вот ухо! — Сережа довольно-таки безжалостно несколько раз ударил себя по ушной раковине. — Вот, теперь я все время проверяю, на месте оно у меня, или его уже нет! Ухо мне забило. А я переживал только, чтобы

не замочило журнал. Ну, так ведь замочило же, и чернила поплыли! И я потом на берегу под огнем стал восстанавливать все записи. Мы взяли их окопы и двое суток удерживали до появления нашей смены. Меня и Александра Ильича накрыло одним снарядом на следующий день, двадцать девятого мая. Его сильно контузило. А меня ранило в четырех местах, в том числе и в известное место в тыльной части тулова. Мы оба не ушли из окопов. Я был Александром Ильичом представлен к знаку ордена Святого Георгия!.. Борис, посмотри, ухо у меня есть?..

Вечер прошел. Мы отужинали. Но поговорить с Мишей, как того он хотел, не удалось.

— При Фельштинском никакого дела не сделаешь! — сказал он тихо в прихожей, пока Сережа был занят галошами на валенки, то ли тугими, то ли не в размер малыми.

— Потом, завтра поговорим, — успокоил я Мишу.

Мы разошлись. Сереже надо было на Васенцовскую. А я пошел на набережную, которая, как мне показалось, была более светлой от снежного пространства пруда. Этой светлой набережной я вышел к Екатерининскому собору и, чтобы не углубляться в улицу Механическую с ее загаженностью и расхристанной солдатней, вернее, бывшей солдатней, свернул на плотину, к нашей гимназии, потом на Уктусскую, перешел Покровский с его двумя Златоустами — Большим и Малым — и пошел, как некогда хаживал в гимназию, только в обратном направлении, к Хлебной площади. И там мне должно было свернуть к мосту, на нашу Вторую Береговую. Но кто-то толкнул меня идти дальше, мимо солдатских бань, прошу прощения, мимо бань для военнослужащих, к Сибирской. Странно: на всем протяжении я не встретил ни патрулей, ни тех, кем пугали, что шлепнут, ни тем более прохожих обывателей. Не такое уж было позднее время, чтобы городу быть пустым. Однако же мне так повезло, что он был пуст, — конечно, если не считать куражливого топтания и гогота солдатни перед Мытным двором, где располагалась казарма одного из запасных полков, да толкотни возле бань.

Я шел мимо сплошного ряда особняков и магазинов, так сказать, лучших граждан города, мимо домов Телегина, Рязанова, Яковлева, Соснина, Сырейщикова, Погорельцевой — во всяком случае, они здесь жили в моем детстве, и нянюшка водила меня смотреть их дома. Я был недоволен разницей нашего дома и их домов и спрашивал, что такое они сделали, что их дома были неизмеримо лучше нашего. «Купцы они, торгуют, откупа на что-нибудь берут — вот и богатые!» — отвечала нянюшка. «Они батюшке-императору служат, как служит мой папа?» — спрашивал я. Нянюшка нехотя признавала, что не служат. Мне казалось, что она тоже была недовольна разницей. «Так надо написать письмо батюшке-императору, что не служат, а дома у них большие!» — предлагал я. «Вырастешь и напишешь!» — уклонялась от разговора нянюшка. Ее ответом я тоже был недоволен, ибо, когда я вырасту, было неизвестно, а справедливость надо было восстанавливать нынче же. Сейчас я шел мимо этих домов, и у меня из головы не выходил страстный вопрос Сережи, почему никто не встал, никто не сказал ни слова, не говоря уж о деле, почему никто не выступил в защиту прежней, тысячью летами установленной жизни. Вопрос был без ответа. Ответ тотчас исчезал, как только я спрашивал,

почему не встал я.

Я прошел мост через Исеть, прошел мимо других Рязановских усадеб, называемых обывателями большой и малой и, возможно, к тому Рязанову никакого отношения не имеющих. Обе они были сейчас темны окнами, будто даже затаенно и озлобленно темны. Я прошел мимо них, не сворачивая на свою улицу, и едва свернул на Разгуляевскую, к столетнему юбилею Николая Васильевича Гоголя названную его именем, как меня от одного из дворов окликнула женщина. Полагая, что она нуждается в какой-то помощи, я остановился.

— Солдатик! Остановитесь на минутку, будьте добры! — снова окликнула она.

Голос был молод, несмел и прерывист. И голос был чрезвычайно усталый, какой-то безнадежный.

«Не я один такой!» — подумал я и откликнулся.

— Я слушаю вас! — сказал я.

Женщина порывисто вышла из ворот и остановилась, кажется, остановилась в испуге от своей порывистости. Снег хорошо отсвечивал. И можно было увидеть, что женщина была молода, невысока и была не по морозу одета. У нее не было даже муфты, и руки она грела в рукавах короткой кацавейки. Старая и, как мне подумалось, побитая молью шаль была повязана поверх кацавейки неумело, горбом, сразу мне напомнив баб в шалях на разъезде Марамзино, где сотник Томлин сошел с поезда.

— Простите. Вы не солдатик! — в испуге попятилась во двор женщина.

— Я слушаю, слушаю вас, сударыня! — с нажимом сказал я.

— Да нет! Простите! Я вас приняла за другого! Простите же! — прерывисто сказала она.

Я пожал плечами и пошел себе. Я прошел несколько шагов, как услышал женщину снова.

— Сударь! Прошу вас! — в отчаянии крикнула она.

Я остановился. Она в прежней порывистости подошла, остановилась боком ко мне, готовая вновь податься во двор.

— Простите! Вам не надо?.. Я не смею этого сказать! Вам, ну, вы догадываетесь! Я могла бы за небольшое количество продуктов! Совсем за небольшое! У меня голодные дети! — едва не со стоном сказала она, пряча лицо.

«Боже, какая глупость! Кого же ты найдешь, коли торчишь у себя во дворе! — в странном негодовании прошило меня, а следующий шов уже вышил во мне стыд, жалость и еще что-то картиночное, вспышкой нарисовавшее то, как это у нас бы произошло. — За продукты. За небольшое количество продуктов! У нее голодные дети!» — прошило меня. Я закашлялся. Женщина будто опомнилась и снова попятилась обратно к воротам.

— Подождите, сударыня! — сквозь кашель сказал я.

— Нет, нет, что вы! — выбросила она перед собой руки.

— Вот что! — как в бою, не столько нашел я, сколько ко мне быстро само пришло решение. — Берите детей и идемте ко мне. Я накормлю. С собой у меня ничего нет. А дома есть. Это здесь, недалеко! — приказал я.

— Нет, простите! Я не имела права! У нас всего в достатке! — продолжала она пятиться к воротам.

— Ну, уж вздор! — рассердился я.

— Простите! Сейчас придет мой муж с продуктами! Я ждала его! Я вас приняла за моего мужа! — в отчаянии стала она молоть явную белиберду.

— Вздор! — резко шагнул я к ней и взял за локоть. — Вздор, сударыня. Ведите меня к детям!

Она обмякла. Я схватил ее под мышки. Голова ее безвольно ткнулась мне в плечо.

— Ради Христа! Возьмите меня — только дайте немного продуктов! — выдохнула она.

— Ведите меня к детям! — продолжил приказывать я и повел ее во двор.

Перед крыльцом дома она остановилась.

— Вам нельзя заходить. Хозяйка меня за это выгонит! Я сама! — попыталась она высвободиться.

— Вы уйдете и не вернетесь! Ведите! — подтолкнул я ее за локоть.

В темных сенях мы наткнулись на какие-то ведра, что-то рассыпали. Я, шаря по стене, смахнул корыто. На грохот с лампой вышла хозяйка, вопреки обычному представлению о хозяйках как о старых каргах, сравнительно молодая женщина, не лишенная красоты.

— А, это ты! Привела? — ткнула она лампой в мою знакомую, повела лампой на меня и жеманно передернула плечами, упрятанными в пуховую шаль. — Проходите! Мы вам не помешаем!

— Нет! Все не так! Это не то, что вы думаете! — в бессилии вскричала моя новая знакомая.

— Да хватит ломаться, душка! — мимоходом сказала ей хозяйка и снова пригласила меня войти.

— Мы, собственно, взять детей! У меня дома есть чем их покормить! — сказал я.

— Детей? Каких детей? — удивилась хозяйка и снова ткнула лампой в мою новую знакомую. — Ты что господину солдату наврала, душка?

— Ах, оставьте! Я ничего не знаю! — в прежнем бессилии вскричала моя новая знакомая и попыталась протиснуться в дверь.

Хозяйка толкнула ее обратно.

— А нет, душка! Ты заплати за постой, а потом сваливай с жилья! Ловко у них получается! Жить живут! Кипятком пользуются! А как платить, так: «Простите, нечем!» — закричала она и вновь лампой повела на меня: — Проходите! Мы с мужем вам не помешаем! И не церемоньтесь с ней! Я вижу, вы из благородных. Они таких живо манежить научились! Они вас за фетюха признают, оплату выудят, а сами так запутают, что хоть в актриски их принимай в оперу! Выловчат, что и не заметите! А я ее в содержанках иметь не нанималась! Ишь, дети у нее! Если и есть дети у нее, я сроду родов никого не видывала! А дети, так набольше иди на промыслы!

Я обо всем догадался.

— Мадам! — сказал я хозяйке. — Пропустите ее собрать вещи. Я ее забираю. Оплату я принесу завтра!

— Нет! Пожалуйста! — вскричала моя новая знакомая.

— Как это — завтра! — вскинулась хозяйка. — Да я вижу, вы тоже благородного только, как из оперы, в свое удовольствие упражняетесь! Так я вам и поверила теперь! Есть чем заплатить, вот и проходите и пользуйтесь. А нет — она пойдет искать другого! Буржуйка! Все бы у окошечка сидела да книжечки почитывала! Нет, душка! Пойдешь нынче же!

— Тогда так! — обозлился я. — Вещи ее остаются до завтра. Если что-то пропадет, я приведу на постой солдат! — и силой повел мою новую знакомую вон.

— Да всех ее вещей — только нестираное исподнее да какие-то книжечки! Солдатами они мне грозят! Да я целую роту сама через себя с нашим желаньицем пропущу, не засмущаюсь! А не смогу сама, так товарок позову! Напугали! — крикнула в спину хозяйка и хлопнула дверью, но тотчас открыла снова. — А за книжечки я вот в участок или совсем в Совет пойду! Небось так против власти книжечки-то! — прокричала она и снова хлопнула дверью.

6

Кажется, моя новая знакомая смирилась. Мы шли молча. Ко мне привязался рассказ одного из охранников поезда, который вез продукты из Ташкента в Оренбург в обмен на молодых девушек для публичных домов. Охранник был из бухарцев. И то ли он был сострадательный по природе, то ли его разжалобил мой вид последнего доходяги, то ли я просто чем-то оказался ему симпатичным. Он благорасположился ко мне, бесконечно на смеси бухарского и русского рассказывал свою жизнь, иногда подкармливал нас сухарями или лепешкой с чаем. Говорил он очень нудно. От его нудоты хотелось избавиться, тем более что меня и без него постоянно одолевал сон. Я ни о чем не думал. Я только ехал и ехал. Мне казалось, я ехал в бесконечной пустоте, в которой приехать куда-то просто было невозможно. Однако я терпел бухарца и, сколько мог, изображал радушие при его появлении, изображал внимательного слушателя — только думал, что, попадись такой проводник тем исследователям, которые занимались этим краем, они дружно завернули бы обратно и избрали бы иное поприще для своих исследований.

— Ие! Везем ашайку Оренбургу! — с занудным вздохом как-то начал он в очередной раз свое повествование. — Оренбургам ашайку даем, мало-мало гуляем, молодой девищка русским, татаркам получаем, обратно везем, деньга и ашайка получаем. Я идем одна публичный дом. Там есть хорошим татаркам, богатым. Я его опять просим замужем. Она меня опять говорим ек, нет, не пойдем. Плохо так живем. Кредитным живем, а татаркам замужем не получаем!

В кои-то веки слова его меня заинтересовали. Я встряхнулся.

— Что же? Почему? Разве мало других женщин, не проституток? — спросил я.

— Ие! — сказал он и рассказал мне следующее.

Оказывается, в обычае публичных домов было и такое, когда какая-нибудь его обитательница выбирала себе посетителя по душе и всеми силами старалась сделать так, чтобы и он приходил только к ней. Если это складывалось, то посетитель пользовался сей избирательницей бесплатно и во всякое время. Такой посетитель назывался или любовником, или кредитным. Сия избирательница могла с ним отправиться гулять куда-нибудь на сторону и могла гулять с ним, пока у того хватало средств. Она могла в отсутствие его средств прогулять и свои. Это как бы была своего рода семья. Все в это время могло быть у них пополам. Но отличались таким обычаем только русские обитательницы публичных домов и ни в коем случае не магометанки, которых бухарец называл татарками. Русская при этом о подлинном замужестве ничуть не помышляла, верно, помня слова первого послания апостола Павла к коринфянам о том, что жена есть слава мужа. А какую славу может составить проститутка своему мужу в православном обществе!

Иное, по словам бухарца, было у приверженцев пророка Магомета. В отличие от своих русских товарок по промыслу, магометанки были чрезвычайно бережливы, а потому не в сравнение богаче. Они копили на будущую жизнь, говоря: «Богатую

возьмет замуж каждый!» — имея в виду своих сородичей по вере. Тот же бухарец с вожделением, хотя и занудным, почитал за счастье ждать, когда его гурия даст ему свое согласие. «Ай, хорош татаркам. Ай, богат татаркам!» — обсасывал он свои пальцы…

Это я вспомнил, пока мы шли с моей новой знакомой. Чтобы прервать не совсем уместное по отношению к новой моей знакомой воспоминание, я представился ей подлинным моим состоянием, то есть подполковником прежней армии. Шедшая до того покорно, словно бы смирившаяся с неизбежностью обрести хотя бы на ночь кров потерей чести, она от моих слов рванулась в сторону. Она рванулась с такой силой, что я, крепко держащий ее под руку, вместе с ней свалился в сугроб.

— Дура! — совершенно по-солдатски вскричал я.

Она же, видно, в переживании своего представления о предстоящей ночи заплакала. Я вынул ее от сугроба. Боясь усугубить положение, я не стал ее отряхивать, а дал свои двупалые солдатские рукавицы. Мы снова молча пошли. И меня снова и раз, и другой пронзила та первая стыдная мысль о том, как бы у нас все вышло. Совершенно независимо от меня мне приплыла женщина-солдатка в лугах над Белой в пору моего юнкерства, сделавшая меня мужчиной. То есть совершенно независимо от меня я охватился чувством власти над моей спутницей, какую власть надо мной, вернее, над моим организмом получила та солдатка. «Нет, я русский офицер!» — не веря себе, то есть не преодолевая чувства, сказал я. И я стал молить, чтобы скорее мы вышли к нашему дому, чтобы Иван Филиппович не спал.

Увидев нас вдвоем, Иван Филиппович в третий раз явил своей фигурой герб Российской империи.

— Ваше высокоблагородие! А с двумя вы прийти не могли? — в оскорбленном целомудрии спросил он.

— Для вас, ваше превосходительство? — спросил я.

Он молча и сухо сплюнул.

— Иван Филиппович, а не забываешься ли ты? — разозлился я.

— Не забываюсь! — резко ответствовал он. — Далеко не забываюсь! Где уж нам забываться! А вот только покойные ваши родители почтения-то к Ивану Филипповичу испытывали больше!

— А вот почтенный Иван Филиппович покойным моим родителям характера своего выказывал меньше! — парировал я.

Иван Филиппович скривил брови, собрал губы в пучок, всторчал сталью щетины на щеках. Однако ответа при всем этом не нашел, а только опять сухо сплюнул.

— Тьфу на тебя, оллояра несметного! — сказал он и тотчас сменил роль, видно, засовестился. — Пожалуйте, барышня! — состряпал он любезную физиономию.

— И ты бы нам всем, Иван Филиппович, соорудил чайкю! — вспомнил я

незабвенного моего друга есаула Василия Даниловича Гамалия, командира Георгиевской сотни, получившей это почетное наименование за подвиг в мае шестнадцатого года.

— Пойду я от тебя, Борис Алексеевич, в пролетарии. Может, против тебя мне в совето какую должность дадут. Тогда ты у меня… — начал собирать самовар и заворчал Иван Филиппович. Заворчал и остановился, забежав взглядом мне за спину.

Я оглянулся. Моя новая знакомая, присев на краешек стула, спала.

— Замерзающую подобрал! — прошептал я.

— Вижу! — тоже прошептал Иван Филиппович.

Мы сели за стол друг против друга и долго, слушая зашумевший самовар, то смотрели на пламя лампы, из-за экономии керосина вкрученное в горелку до предела, то оглядывались на новую мою знакомую. Будить ее никто из нас не решался.

— Кто она? Каких будет? — наконец спросил Иван Филиппович.

— Не знаю! — сказал я.

— А если воровка да ночью подельникам дверь откроет? — посуровел Иван Филиппович.

— Тогда я буду нападать с фронта, а ты зайдешь во фланг! — сказал я диспозицию на этот случай.

— Только бы скалился, как нищий на полушку! — обиделся Иван Филиппович.

— Ну какая воровка! Она во дворе своей хозяйки замерзала! Та ее на определенный промысел выгнала! — возразил я Ивану Филипповичу.

— А если подосланная? — сказал Иван Филиппович и, увидев мою усмешку, обиделся еще больше. — Вот ты, Борис Алексеевич, пришел в солдатской шинелишке и с худым сидорком за плечишком. А дом-то, а добро-то в доме твои родители да твоя сестра с мужем наживали. И я к этому всему приставлен. Так что мне загодя и наперед смотреть ох как надо! — сказал он.

— Хорошо, Иван Филиппович, прости! — устыдился я.

— Оно, конечно, видно, что из порядочных, но хоть бы имя спросил, — тоже уступил Иван Филиппович.

Поспел самовар, а моя новая знакомая не просыпалась. Пришлось ее будить. Она встрепенулась, но даже со сна посмотрела на нас устало и тотчас схватилась было с места к двери.

— Барышня! Да что же вы… — загородил я дверь и хотел сказать о ней как о набитой дуре, но сдержался и приказал мыть руки, садиться за стол. — Кстати! — вспомнил я. — Кстати, я вам представился еще по дороге сюда, а вы не ответили!

— Простите! Я ничего не запомнила! — призналась она.

— А нас, барышня, бояться нечего! Мы потомственно служим Отечеству! А

Борис Алексеевич так всех на сем поприще превзошли! В Персиях воевали! В самый что ни есть Багдад со своими пушками хаживали! Переранены, переморожены в боях-то! Страсти натерпелись! А домой прийти — вон как обошлось! — сурово выговорил моей новой знакомой Иван Филиппович.

И с этого сурового выговора все выровнялось. Моя новая знакомая наконец успокоилась, назвала себя. Звали ее Анна Ивановна Тонн. Происходила она из обрусевших немцев, служила в Дерптском, по случаю войны переименованном в Юрьевский, университете библиотекарем и была вместе с университетом эвакуирована в Пермь. Муж ее ехать отказался, а ребеночек умер от скарлатины еще перед войной. В Перми при новой, временной власти ей от места отказали. В Екатеринбурге она думала получить место в открывшейся осенью позапрошлого шестнадцатого года городской библиотеке.

— Простите, но вы, Борис Алексеевич, правильно часом назад назвали меня дурой. Я на самом деле такая. Я узнала, что открывается библиотека, и поехала. А ведь просто следовало подумать, что и здешних библиотекарей достаточно хватает! — стала рассказывать моя новая знакомая Анна Ивановна. — Еще что послужило: в Перми про Екатеринбург всегда говорят с таким выражением, будто Екатеринбург злачный городишко, сплошь с грубыми и пьяными мастеровыми, что если и есть кто интеллигентный, так тот боится в сюртуке из дома выйти и одевается не иначе, как в лабазную поддевку. Я вместе с ними тоже так стала считать. Я подумала: «Ах, вот!» — и покатила. А оказалось, что библиотека уже открылась год назад, и, конечно, мест нет!

— Уж так оно! Известное дело — пермяки! Они уж — это что ж такое, если не поскалятся! — сказал Иван Филиппович.

— Кое-как я смогла устроиться в госпиталь на половину жалованья, на семьдесят пять рублей без стола. Но и госпиталь закрыли. Моя новая подруга по госпиталю привела меня туда, ну, вы, Борис Алексеевич, уже сами догадались. Она сказала, дескать, несколько дней поживешь, а за это время что-нибудь определится. Оказалось, это было то самое заведение, и подружка сама в нем участвовала. На четвертый день мне сказали, что я немка и должна им, потому что у них кто-то там на фронте. Меня стали заставлять… — Анна Ивановна пресеклась голосом.

— Это уж так! — закивал Иван Филиппович.

— Вот что, Анна Ивановна! Вы останетесь у нас, пока мы вам не найдем работу! — сказал я в надежде на возможности Миши Злоказова.

— Нет! Это невозможно! — вскричала она.

— Если не хотите вновь быть выгнанной на… — Я хотел сказать «на соответствующий промысел», но не сказал ничего. — Если не хотите, останетесь у нас. И без всяких с вашей стороны курбетов. Дайте нам слово!

Она задохнулась в слезах и только смогла утвердительно кивнуть.

После чая я отвел ей комнату сестры Маши, а сам устроился в гостевой, тоже, как и комната сестры Маши, заставленной со всего дома мебелью. Я долго не мог уснуть. И не новая моя знакомая Анна Ивановна с ее случаем была тому причиной.

Меня снова стал мучить проклятый вопрос, почему все так у нас случилось, и зачем нужны были все наши жертвы. То есть вопросов выходило два. Однако я этого не замечал. «Россия стала единственной по-настоящему свободной страной!» — вспоминался мне восторг всякой комитетской сволочи. И тотчас вспоминалось военное законодательство Британской империи, по которому забастовавшие, как у нас, во время войны заводы без промедления окружались войсками со всеми вытекающими последствиями. У нас же заводские бунты были объявлены подлинной свободой. И одновременно с этими двумя соединенными воспоминаниями мне чередой вспышек пошли самые неожиданные и самые подробные подробности нашей войны, вплоть до останавливающих сердце взглядов упавших от изнеможения и ждущих выстрела в ухо лошадей. В этой череде всплыл и батарейный вахмистр Касьян Романович, не преодолевший соблазна содержать за батарейный счет взятого с боя у курдов жеребца. Прежнего хозяина жеребца я ссадил шашкой. Жеребец по праву должен был принадлежать мне. Но я не мог его присвоить и велел сдать для продажи в общем числе захваченных лошадей. «Ну и пусть, что он взял его себе! Зачем же мне было отбирать его! — запоздало стал я раскаиваться. — Ну, продали бы мы! А его или загнали да пристрелили бы, или замучили бы, как замучили парковых лошадей!» И на это раскаяние легло новое воспоминание — бои на перевале Кара-Серез в Курдистане летом прошлого, семнадцатого года, когда Россия была уже «самой свободной страной», с бунтами и нежеланием воевать. Наша пехота-туркестанцы, то есть уральские и вятские мужики, призываемые на военную службу в Туркестан, малорослые и молчаливые по нашему суровому климату, упорно и молча под убийственным пулеметным и орудийным огнем поднимались на перевал, будто упорно и молча работали, — или, как сами они выражались, робили — на заводе или худой пашне. И командир отряда полковник Абашкин Петр Степанович, наблюдавший их «работу», только крутил крупной стриженой головой. «Ни разу, Борис Алексеевич, не было так, чтобы мы противника били не солдатской кровушкой, а огнем! Никогда мы противника ничем, кроме своего духа, не превосходили! А так хочется повоевать за счет стратегии!» — примерно так запомнил я его слова.

— Вот зачем все это было? — спросил я, и в это время я не помнил своих собственных тягот, своих боев на Диал-Су, под Рабат-Кяримом, под Исфаханью, на Бехистунге, Ассад-Абаде, в Миантаге. Я не помнил нашего рейда на спасение оказавшегося в осаде и оказавшегося, страшно сказать, без утреннего горячего какао и мармелада многотысячного британского войска в Кут-Эль-Амаре. Нас по всей Персии было едва десять тысяч казачьих шашек при двух батареях. Их в Кут-Эль-Амаре влипло едва не вдвое больше, с едва не вдвое большим числом орудий. Но они запросили нашей помощи. Всего этого я не помнил. Это мне казалось чем-то несущественным против упорно и молча поднимающихся на перевал туркестанцев и против молчаливого ожидания выстрела в ухо загнанных лошадей. Они, и туркестанцы, и лошади, по молчаливому их терпению и приятию судьбы мне казались чем-то единым. — Вот зачем все это было? Зачем все это нужно было устроить, если теперь все вот так? — спросил я.

Сквозь эти переживания я услышал скрип двери из комнаты сестры Маши. «Все-таки собралась уйти! — в неприязни подумал я про Анну Ивановну и, будто

она могла меня видеть, демонстративно отвернулся к стене. — Идите! Черт с вами! — Но она вышла и остановилась. — Обдумывает, как ловчее пройти к выходу!» — усмехнулся я.

Расположение комнат в нашем доме, прямо сказать, было несуразным. Комнаты, кабинет батюшки, столовая, кухня располагались как бы вкруг гостиной, но только именно как бы, потому что круга они с левой стороны дома не замыкали, походя в этом отношении на наш городской пруд, если на него смотреть с Тарасовской набережной. Кабинет батюшки, родительская спальная комната, комната сестры Маши и моя комната были как бы на той стороне пруда, где стояли гимназия, дома главного горного начальника и главного горного лесничего. Столовая и кухня были со стороны дачи Базилевского и Мельковских улиц, а гостевая комната была как бы на Тарасовской набережной, на самом ее углу с Главным, где стоит дом Севастьянова в его мавританском стиле. А гостиная выходила проходной и выходила, получается, на заводскую плотину, называемую с каких-то пор просто Плотинкой. И теперь в гостевой комнате я оказывался на пути Анны Ивановны. И когда она медленно пошла, пошла именно в сторону выхода, я не выдержал и сел в постели, готовый выйти ей навстречу. Она довольно уверенно прошла гостиную, освещенную заоконным светом от снега, и остановилась перед прихожей. Я хотел ревниво понудить ее пойти дальше. Она же вдруг пошла в мою сторону — и я почувствовал, как медная пружинная ручка моей комнаты медленно повернулась. Анна Ивановна вошла.

— Вас что-то беспокоит? — спросил я.

— Это невозможно, Борис Алексеевич! — прошептала она.

— Что невозможно? — спросил я.

— Я не смогу быть у вас в иждивении! Я сегодня воспользуюсь вашим гостеприимством и утром уйду! — сделала она шаг в мою сторону.

— Ну, это как вам будет угодно, сударыня! — вспылил я.

— Вы поймите! Я вижу, вы сердитесь! Вам неприятна моя неблагодарность! Но это не так! Я вам безмерно благодарна! Но поймите! Я не приживалка! Я не смогу! Утром я должна буду уйти! Но идти мне некуда. И я вернусь туда! Но я бы просила вас! Воспользуйтесь мной! Вы понимаете, о чем я! Вы мне поможете еще раз, как уже помогли! Мне будет потом легче! Иначе я не смогу! — опустилась она на колени и потянула с плеч свою шаль.

— Да вы мелете вздор, сударыня! Как это вы не сможете, то есть как это вы себе представляете, чтобы я воспользовался! Как это вы приживалка! Вы еще… — легкие мои стали задыхаться, и сквозь них я сумел только сказать что-то этакое, де, все вздор, все глупо и как-то не так.

Она обхватила мои колени, потащила мою руку к себе.

— Вы не можете отказать! Иначе я не смогу, и меня выгонят на улицу! Это бессердечно с вашей стороны! — заплакала она.

Я обнял ее и, как маленькую девочку, стал ее успокаивать, понимая, что она

действительно не сможет, но и понимая, отчего она собралась уйти. Я стал ее успокаивать совершенно неожиданно, то есть неожиданными словами.

— Весной пятнадцатого года… — стал я говорить про ночной мой плен в ауле Хракере. — Весной пятнадцатого года утром и днем я был самым счастливым человеком. Жила девочка Ражита, которая через несколько лет должна была стать моей судьбой. А ночью ее и всю ее семью зарезали четники. Весной семнадцатого года я встретил свою судьбу во второй раз. И тоже мое счастье длилось только один день! — так я стал говорить.

— Если хотите, я стану вашей судьбой! Я, конечно, была замужем, я не девица! Но я из хорошей семьи! Но я еще молода! Я привлекательна! Я образована! Я умею работать! Вы ни о чем никогда не пожалеете! — поняла она меня по-своему.

Я ей не стал отвечать. Я молча ее обнимал и думал, что моя судьба, мое счастье были в службе. В службе у меня все было хорошо, даже если было плохо. В службе у меня все было легко, даже если было чрезвычайно тяжело. В службе я все понимал и ни от кого не зависел, кроме чести офицера русской армии, кроме долга перед Отечеством и государем императором. Я отказался выполнить приказ по расстрелу возмутившихся в нашем тылу аджарских селений. Я был арестован. Меня ждал военно-полевой суд. Но мне так сделать было должно. Расстреливать не было делом русского офицера. Это я в службе понимал. И служба это понимала. Но я, не колеблясь, расстрелял бы из орудий любого, кто встал бы поперек во время нашего пути из Казвина в Энзели во исполнение приказа о выводе части нашего корпусного имущества в Россию. Меня бы ждал самосуд революционного сброда. Но это мне так сделать было должно. Это было делом русского офицера. Это я в службе понимал. И это служба во мне понимала. Не то выходило в иной судьбе, в ином счастье. Иное счастье мне давалось только на один день. И иная судьба тотчас его отбирала. И уже никто — я это натвердо знал, — уже никто мне счастья принести не мог, никто моей судьбой стать, кроме службы, не мог.

Я не стал об этом говорить Анне Ивановне. Да и сказать этого было невозможно.

Прошло так сколько-то времени. Анна Ивановна успокоилась. Я проводил ее в комнату сестры Маши и взял слово, что она останется. Утром я пожалел, что не воспользовался ее, в общем-то, осознанным порывом, — так мне захотелось женской ласки, женского участия. Я знал, что ни за что бы не воспользовался. Но все утро думал, что воспользоваться было надо. Было в этом что-то от простой жизни обывателя — воспользоваться. Иная судьба, выходило, пыталась меня ввергнуть в иную жизнь. Я находил в этом своеобразную, то есть декадентскую, красоту, совершенно все опрощающую и тем разрушающую нечто основное в жизни. Я не знал, каково придется встретиться взглядами с Анной Ивановной, каково придется заговорить с ней о пустяках, каково придется рядом сидеть за чаем и, может быть, ощущать ее волнение, ее трепет, ее невозможность встретиться со мной взглядом, невозможность сказать что-то о пустяках, невозможность пить чай и невозможность не ощущать всего моего состояния. Вот это незнание было моим, прежним, по моему мнению, единственно необходимым для жизни.

Я вышел во двор делать гимнастические упражнения. За ними меня застал чернявый мой жилец. Он вышел по утренней надобности, но смутился меня, буркнул приветствие и повернул обратно в дом. Мне пришла мысль спросить его о месте для Анны Ивановны в горпродкоме. И сама мысль спросить тоже оказывалась из того же ряда обывательских отношений. Я запоздало раскаялся в ней. Но уже на мой оклик чернявый жилец обернулся. Мы познакомились. Он оказался по фамилии Кацнельсон и, конечно, был иудейского вероисповедания, которое тотчас же отверг, сказав себя членом партии большевиков.

— Вы как военнослужащий добейтесь выселения этих! — сказал он про двух своих соплеменников. — Их платформа — завладеть домом. Я слышал, они имели какое-то жульничество по поставкам и бдительно попались у товарища Селянина. Я и сам служил по военному ведомству, отчего вас и вашу культуру уважаю, хотя вы из бывших. Партия меня направила в горпродком. Я вам скажу, как военный военному: не интересуйтесь горпродкомом, если даже имеете вид. Я ничего из этого горпродкома не имею. Я пью свой кипяток и ем свою черную краюшку.

— Хорошо, я не буду иметь вида! — едва я сдержал улыбку, как-то вдруг забыв об обывательности, то есть декадентскости разговора.

А через несколько времени он постучал к нам с Иваном Филипповичем.

— Товарищ Норин! В военном ведомстве мне выдали сапоги, и я честно поехал на фронт против Дутова. Но что теперь имеет в виду горпродком! Он совсем не имеет в виду мое нахождение на должности справочного стола, когда стол на самом сквозняке! Как военнослужащий, вы в дальнейшем можете подтвердить невозможность мне посещать службу в отсутствии сапог? — обратился он ко мне и протянул листок бумаги. — Как два фронтовика, прочтите! Они не могут мне отпустить со склада пару сапог!

— Но вы получили сапоги в военном ведомстве, сколько я помню! — снова едва я сдержал улыбку.

— Вы как фронтовик знаете, что есть наступления и есть отступления. Те сапоги я фронтовым образом не успел обуть в период их наступления, когда я был в теплой хате! — чистосердечно признался товарищ Кацнельсон. — И теперь я взял сапоги напрокат, но от них вышли только одни голенища. И за эти голенища я вынужден платить все мое жалованье. Я написал товарищу Попенченко заявление. Но вот уже снова три дня я обязан ходить на службу без удовлетворения мне пары сапог! Товарищ Норин, прочтите как фронтовик!

Мне ничего не оставалось делать. Я взял бумагу. В ней значилось: «Горпродкомиссару от сотрудника горпродкома Кацнельсона заявление, второе в виду отсутствия на первое. Настоящим снова прошу дать мне разрешение откомандировать меня на Дутова, хотя бы он затаился, так как в горпродкоме ничего не добьешься, кроме ареста с вашей стороны. И мое дело в таком виде быть на фронте, но не в горпродкоме».

— Что вы скажете, товарищ Норин? Это когда кто-то жульничает и имеет платформу частного собственного интереса, некоторые партийные делопроизводители-фронтовики не имеют пары сапог, хотя стоят на платформе

рабочего пролетариата! Разве за это боролась наша революция? — спросил он.

— Нет, не за это она боролась! — с улыбкой сказал я, а в уме совершенно серьезно перевел, что очень хорошо, когда революцию стали осуждать ее творящие. И еще я сказал, что заявление вследствие его стиля надо было бы переписать.

Кацнельсон замахал руками.

— Никогда, ни в коем случае! Товарищ Попенченко за грамотность будет иметь подозрение в моем сношении с буржуазией! — сказал он.

Я ушел на службу, а Анна Ивановна так и не вышла к завтраку. Я шел к себе в парк артиллерийского дивизиона, а думал только об Анне Ивановне, думал тревожно, трепетно и с какой-то непонятной робостью, будто она надо мной довлела. Я слушал себя и ловил, что думать об Анне Ивановне было приятно, что думать о ней хотелось. Не останавливало даже то, что желание думать о ней вторгалось в мою судьбу, которую мне Господь определил только в службе. «Так уже было! — вспомнил я о своем коротком, но мучительном чувстве к Наталье Александровне осенью четырнадцатого года, чувства, от которого меня спасла война. — Так что ж, что было! — ответил я воспоминанию с тем смыслом, что за одного битого двух небитых дают, то есть совершенно равнодушно. — Вот ведь хорошо, что я не умею любить!» — с удовольствием еще сказал я. Только-то всего и сказал, а меня здесь же и кольнула в сердце Элспет. Но приятность от мысли об Анне Ивановне пребыла и тут.

— Ну, вздор! — сказал я и почувствовал, что сказал совершенно попусту, что никуда Анна Ивановна не делась.

С тем я пришел в парк. Встретил меня подполковник Раздорский, прошу прощения — военнослужащий из бывших подполковников Раздорский.

— Что это вы сегодня, будто у вашей бабушки именины! — сказал он. Я попытался промолчать. Он, однако, в значении посмотрел на меня и вдруг сказал: — А ведь никакой вы не учитель и не прапор военного времени, а, Норин! От вас же еще вон с того перекрестка, как я вас увидел, несет штаб-офицером, причем того, — он скосил глаза по сторонам, — того, нашего довоенного, выпуска!

Я зацепился за слово «несет».

— А вам, Раздорский, не кажется, что от вашего предположения несет чем-то специфическим? — спросил я с намеком на сыскных агентов охранки.

— Это вы русскому штаб-офицеру? — бледнея и теряя голос, спросил Раздорский.

— Это я — человеку, который не следит за своей речью! — сказал я.

Все это было неумно. Да ведь я не однажды говорил — меня только почитали за умного, а на деле я таковым не был.

— А стреляться, шпак? — по-французски и с удушливым хрипом спросил Раздорский.

— Как прапорщик военного времени, то есть шпак, не имею чести! — по-

французски же сказал я и твердо решил сегодня же объясниться с Мишей Злоказовым, почему я должен скрывать себя.

— Я это запомню, Норин! — сказал Раздорский.

— И я почту за честь запомнить! — сказал я.

С тем мы разошлись, два подполковника императорской русской армии с совершенным понятием о чести, но далеко без нее, то есть кто-то вроде цирковых затейников-скоморохов. Я попросил Лебедева сходить за вещами Анны Ивановны. Помня вчерашнее, он услужливо откликнулся. Я спросил о лошадях у командира парка Широкова.

— Где я тебе возьму фуражу! — невпопад закричал Широков.

— Но ведь я по вашей просьбе договорился на их счет с конским запасом! — напомнил я.

— Прапор! Как тебя, Норин! У тебя что? У тебя мортиры с бомбометами или лошади в обязанности? — снова закричал Широков.

Это стало нормой — кричать. Я к такой норме привыкнуть не мог.

— А еще поврежденный уравновешивающий механизм системы Бофорса! — вспомнил я орудийную деталь из ведомости учета паркового имущества, переданного мне.

— Как? — смутился Широков и вдруг совсем мирно сказал: — И что вам, старым офицерям, все надо! С вас спрос за мортирки, а вы — еще и за лошадки! Да и за мортирки-то нынче никто не спросит, хоть их в прах разбей, хоть где пропей или утопи! — И вдруг широко повел рукой. — А вот садись-ка, товарищ Норин. А вот выпьем-ка мы с тобой чайку с пряниками!

Я вспомнил моего друга есаула Василия Даниловича Гамалия.

— Мой сослуживец и друг говорил: «Чайкю»! — решил я пойти Широкову навстречу.

Он согласно кивнул.

— Тебе как, с блюдца любишь пить или по-господски? — спросил он.

Я ответил, что меня вполне устроит жестяная или медная кружка. Он опять согласно кивнул.

За чаем с анисовыми пряниками, которые Широков поставил на стол с явным удовольствием человека, имеющего то, чего другие, по его мнению, иметь не могли, он попытался меня разговорить. Он поддвигал мне пряники, с артистическим равнодушием говорил брать их без стеснения и спрашивал меня про прежнюю мою службу. Я знаю много людей, способных сидеть за чаем, за закусками, за пустой болтовней едва ли не каждый час и уж точно что каждый предложенный случай. Такие люди меня всегда удивляли способностью не столько вместить в себя без счета чая и закусок, сколько способностью пусто провести время. Я у Широкова через силу посидел с десять минут и собрался встать. Широков же снова повел рукой остаться.

— Пей, дорогой товарищ! Чаю много! Никуда от тебя твои мортирки не сбегут! Да и айда оно все прахом! Никому ничего не надо. Всем одно — домой и домой! — сказал он. Я снова вспомнил оставшихся в Персии моих товарищей. А Широков вдруг пригнулся к своей кружке. — А тебе, по случаю, револьвер не надо? — зашептал он. — Револьвер, патроны, ручные гранаты? Ведь все прахом пойдет!

Я, посчитав вопрос за нечто из проверки, от предложения отказался.

— Зря! — снова зашептал Широков. — Многие из бывших офицеров не сдают. Приказ о сдаче вышел еще в декабре. А дураков сдать особо не отыскивается. За него тебе от казны семьдесят рублей. А что семьдесят рублей против револьвера! Так что если надо…

— Никак нет, не надо! — снова отказал я.

— Ну, смотри! — в разочаровании отлип от кружки Широков.

— А что с лошадьми? — еще раз спросил я.

— И лошадь можешь взять, а то и две! Как у вас, у казаков, одна под тобой, одна заводная! — с непонятной усмешкой сказал Широков.

— Спасибо! — сказал я, понимая, что ничего во спасение лошадей не делается.

7

Вечером я снова пришел к Мише.

— Миша, два вопроса! — сказал я с порога.

— Без Фельштинского хоть десять. Решим все! — артистически высокопарно сказал Миша.

Но на первый вопрос — долго ли мне изображать прапорщика военного времени — он внятно ответить не мог, а только сказал, чтобы я потерпел до какого-нибудь удобного случая.

— Лучше бы тебе вообще прикинуться солдатиком-недоумком — целее будешь! — сказал он.

— Да что за игрушки! Офицеров убивают без разбора — прапорщик он или полковник! Так хоть подохну самим собой, а не каким-то шпаком! — сказал я в раздражении.

— Давай по порядку! — не принял моего тона Миша. — Что впереди, нам с тобой неизвестно, но вернее всего, ничего хорошего, только тьма и мрак. Я по тебе смотрю, вы у себя там, в Персии, не особо что и видели. И Туркестан тебя ничему не научил. А здесь все по-другому.

— Ардашева, как Серега наш говорит, кокнули и объявили, что пытался бежать. Это по-другому? — перебил я.

— Отнюдь! — в превосходстве и артистическом спокойствии, какие испытывает недалекий учитель перед учениками, ответил Миша. — Отнюдь, Борис! Дело в другом. Ты помнишь, мы в пятом году все вышли приветствовать свободу! Не знаю, как ты, а я всю эту свободу пронаблюдал до сего дня, до несчастного этого Ардашева, если уж ты его вспомнил. И вышла вот какая картина!

— Миша, давай попроще! — попросил я.

— Я и так проще некуда! — остановил он меня. Он стал ходить по комнате, несколько присутулясь и скрестив руки на груди. Я этого в Мише ранее не видел. И я предположил, не заделался ли Миша деятелем какой-нибудь партии. — Так вот, — сказал Миша. — Я хорошо помню твои чувства по отношению к императору, ныне гражданину Романову, и касаться его не буду, хотя то, что он слетел, исключительно его личная заслуга. Он довел страну до такого вот состояния! — Миша показал за окно и снова скрестил на груди руки. — И он бросил страну. Но сейчас не о нем. Он уже никому не интересен и может выращивать капусту где-нибудь у себя на огороде, как ее выращивал, правда по другой причине, римский император Диоклетиан.

Такой Миша, Миша-вещатель, Миша — вожак какой-то партии, мне не нравился. И еще я в удивлении обнаружил в себе некое равнодушие. Во мне не оказывалось чего-то того, что было во мне раньше. Миша мне напомнил мой юношеский трепет перед именем государя императора. А я прежнего трепета не

ощутил. Я как бы при этом смотрел не на себя, а на кого-то другого на моем месте и с досадой думал, ну, зачем мне это. Или же тиф лишил меня сил чувствовать глубоко, или же во мне поселилось какое-то отчуждение по отношению к государю императору за то, что он, как говорили все, бросил нас. Определенней сказать было трудно. Но то, что я подумал о государе императоре, как все, мне больно черкнуло. Чтобы утишить боль, я вступил в разговор.

— Диоклетиан не был оригинален со своей капустой. Более того, он явно играл! Первым был Маний Курий! — сказал я о римском полководце, изгнавшем из Италии Пирра и после многочисленных других побед и триумфов удалившемся в свое скромное поместье. Когда к нему пришли послы с просьбой вернуться и предложили хорошее содержание, он отказал, сказав, что тому, кто обедает вареной репой, выращенной самим, золота не нужно, что он сам предпочитает владеть не золотом, а умами тех, кто золотом владеет, ибо это и есть подлинное богатство.

— Ну, ты всегда был в фаворе у нашего Васи! — в явном неудовольствии на мое замечание, хмыкнул Миша, называя Васей нашего учителя истории и географии Василия Ивановича Будрина.

— И у Вильгельмушки! — в тон ему назвал я преподавателя немецкого языка Орведа Вильгельмовича Томсона, а потом присовокупил преподавателя латыни Петра Михайловича Лешника, естественно, по гимназическому прозвищу Петя Лишний, преподавателя греческого языка Виктора Моисеевича Тимофеева, то есть, по-нашему, Грека Иудеевича Через-реку, и преподавателя русского языка Александра Ивановича Истомина, кажется, единственного оставленного без клички.

— Да уж известно! — не скрывая ревности, но ревности ребячьей, легкой, сказал Миша и с обидой спросил: — Так ты будешь меня слушать?

— Буду, — сказал я.

— Эх, Борька! Куда все делось? И какими дураками мы были! Что надо было дуракам? Что мы понимали? А полезли туда же! Свобода, равенство, братство! Вот где они все, эти свободы, равенства, братства! — завернул Миша свой уже много раз упоминаемый маленький, но выразительно крепкий кукиш.

— Миша, попроще! — напомнил я.

— Кому на руку эти свободы — только сволочам из Госдумы да есерам-бомбистам вышли! — сказал Миша, назвав эсеров через начальное «е», и осекся. — А говорить-то, Борис, собственно, и не о чем! — вдруг сказал он, пристально поглядел на меня и прибавил: — Взглянешь на тебя, на твою постную рожу, и тут же себе скажешь: «Молчит, холера. А ведь все знает лучше меня!» И чего ты молчишь? И чего я перед тобой мелким бисером сыплюсь? Как это было у нашего Пети Лишнего: «Сыпать Маргариту перед кем?»

— Margalitas ante porcos! Жемчуг перед свиньями! — с артистическим назиданием сказал я.

— Вот именно: «Маргариту перед поркой!» — вспомнил Миша детские наши издевательства над нелюбимыми предметами — для них, для большинства класса, нелюбимыми, но мне достающимися без труда. — И это! — пошел в воспоминания

Миша. — Как ты там Пете Лишнему сказал это выражение, которое «против ветра»? Как там по-латыни «сделать против ветра»? Как он тебя? А ты ему? Скажи, Боря!

При том что я вышел из гимназии в числе первых учеников, я был не лучше своих товарищей-одноклассников и тоже давал волю различного рода пакостям по отношению к нашим преподавателям, правда, другого рода пакостям, нежели сотворяли их мои товарищи. Я не хрюкал на уроках, не возился под партами, не пулял жеваной бумагой, не играл в подкидного, не рисовал преподавателей уродцами или за приписываемыми им нашим воображением гнусными занятиями. Я пакостил по-своему. Одну из таких пакостей сейчас и вспомнил Миша. Состояла она в том, что как-то наш латинист Петр Михайлович Лешник никак не мог добиться от класса ответа на домашнее задание выучить несколько крылатых фраз. Спрашивать, к своему горю, он начал с самых нерадивых, сидящих на задних партах, на так называемой «камчатке». Естественно, он не получил ответа и перешел к середнячкам, к числу которых принадлежал и Миша. Именно Мишу он спросил первым из середнячков. Мише же попала шлея под хвост. Он сказал, что ответить не готов. Следом, почуяв развлечение, о своей неготовности стал отвечать весь класс. Петр Михайлович поднимал одного за другим и спрашивал, как будет звучать на благословенной латыни та или иная из домашнего задания фраза, по мере отрицательных ответов остановившись на одной, которая в данной ситуации оказывалась как нельзя более логичной.

— Ну-с, как будет звучать на латыни «С человеком, отрицающим основы, спорить невозможно»? — спрашивал Петр Михайлович, и ему никто не отвечал.

Дошло дело до меня, всегдашнего выручателя в подобных случаях. Я, конечно, урок приготовил, и фраза эта по латыни звучала так: «Contra principia negantem disputari non potest». Труда выучить ее не составляло. Я выучил. Но я, обуреваемый мальчишечьим бесом, подумал и нашел, что не лишне будет сему напыщенному изречению перевести на латынь своеобразную русскую народную идиому о вреде, прошу прощения, справлять малую нужду против ветра. «Это-то покрылатей будет!» — решил я.

— Ну-с, и наконец Борис Алексеевич! — по своей привычке выделять меня обращением по имени и отчеству, произнес Петр Михайлович. — Скажите же наконец этим олухам царя небесного фразу о бесполезности спорить с заносчивым и недалеким человеком!

Я сказал.

Бедный Петр Михайлович всему классу в журнале поставил точки. Мне же, когда до него дошел смысл моего ответа, он трясущейся рукой и в дрожании губ вкатил размашистый «кол».

Вот этот эпизод сейчас вспомнил Миша.

— Ну-ка, как там было «против ветра»! — в удовольствии расхохотавшись, стал просить сказать Миша.

— Так, против ветра! — отмахнулся я.

— Нет, ты скажи. Как сказал тогда! — потребовал Миша.

— Ты что-то хотел мне сказать без Сереги! — уклонился я от ответа.

— Ну и что ты за человек, Борис Алексеевич! В жуткой тьме торжества хама тебя просит друг посветить лучиком радости, а ты не хочешь! — недовольно, но стараясь в шутку, выговорил он мне.

— Не дам я тебе лучика радости. Ты мне что-то собирался сказать! — напомнил я.

— Да вот пропала охота! — сел Миша за свой письменный стол, посидел и вдруг предложил выпить. — Давай выпьем. У меня есть старый шустовский коньяк, то есть коньяк из твоих Персий-Армений. Тебе будет приятно. Смотри, вот! — он открыл секретер. — Вот, непочатая бутылка. Закуски я сейчас принесу!

— Миша, ты все-таки кто, кроме того, что писарь при адъютанте начальника гарнизона? — спросил я.

— Писарь при адъютанте председателя военного отдела исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов! — ернически поправил он.

— И кто еще, кроме этого? — снова спросил я.

— Ладно, ваше высокоблагородие. Выпьем, расскажу по порядку! — пообещал Миша и ушел за закусками.

Мы быстро захмелели и говорили много, но говорили без всякого порядка, пьяно полагая, что говорим исключительно в соответствии с логически выверенным порядком. Из того, что говорил я, вспоминать нет нужды — естественно, я говорил о Персии, о моих товарищах, о дороге через Туркестан, о казаках-бутаковцах, полегших на Олтинской позиции, но не пропустивших турок и тем способствовавших неуспеху турецкой операции по окружению нас под Сарыкамышем и Карсом. Когда я сказал об Элспет, Миша назвал меня дураком — это за мой отказ от предложения служить в британской армии. Он почему-то вспомнил местных англичан Ятесов, инженеров и владельцев заводов, мне по детству более известных как владельцев писчебумажных магазинов, в которые я всегда входил с редкостным трепетом и абсолютной завороженностью обилием письменных принадлежностей. С этим трепетом мог соревноваться только мой трепет перед воинской казармой в ожидании, когда откроются ворота казарменного двора и на миг мне покажут, как я полагал, воинскую службу — не шагистику солдат-новобранцев на плацу Сенной площади, а саму службу, сам окутанный военной тайной и оттого необычайно иной, чем во всем городе, порядок жизни военных людей.

— Ведь приехали сюда и живут здесь дольше, чем мы с тобой живем, и не считают себя по отношению к Англии сволочью! — сказал Миша о семействе Ятесов.

— Они обыватели. Они заводчики. Капиталу нет нигде границ, потому что капитал наживается без чести, а я русский офицер! — возразил я и даже сквозь пьяную дурь почувствовал стыд за спесь, с которой я это сказал.

— Ты, Боря, прежде всего истинный русский дурак! Поехал бы, и ничуть бы

твоей невинности это не повредило! — сказа Миша.

— Моей невинности не повредило бы. А чести русского офицера — да! — сказал я.

— Возражение в два параграфа! Параграф первый. Такой, как ты, всей британской чести дал бы фору в сто очков! Параграф второй. Никакой чести вообще нет, а есть миф, сотрясение воздуха! — сказал Миша.

— Как нет чести? — взвился я.

— Так нет. Это выдумка умных людей, чтобы таких дураков, как ты, заставлять бесплатно служить их интересам и добровольно подставлять башку, нет, добровольно и с наслаждением подставлять башку под топор или чего там за их капиталы! — сказал Миша.

— То есть и за твои капиталы? — спросил я.

— И за мои тоже! — сказал Миша.

— В таком случае не имею чести продолжать дружбу с вами, господин умный заводчик! — встал я.

— А ты имей честь продолжать! Ты не это, как ты нашему Петруше Лишнему ответил, ты не делай против ветра! Дружба — это закон природы! Я тебя люблю. И я имею право сказать тебе правду! А то подставишь башку по дурости, а будешь думать, что подставил за Россию, за государя императора! А мне потом с кем оставаться? Нельзя против ветра это делать. Ну, скажи ты это слово по-латыни! — загородил мне дорогу Миша.

— У нас разные с тобой России, господин заводчик! У тебя Россия — капитал. А у меня Россия — честь! — зло сказал я.

— Ты, Борис, не просто дурак! Ты законченный дурак! А я тебя люблю, и я тебе говорю: нельзя против ветра. Дунула тебе судьба в задницу. Так ты расправь галифе парусом да и лети, куда она дует! — стал увещевать меня Миша.

— Судьба дует в задницу! — напомнил я.

— С чего она туда дует? — возразил Миша, видно, тотчас же и забыв сказанное. — Она дует по направлению! Тебе дунула по направлению. И ты скажи ей спасибо, ты в задницу ее расцелуй за это! Ты бы там у них стал первым лордом! В крайнем случае получил бы за беспорочную службу поместье и жил бы остаток жизни в окружении своей Элспет с вашими совместными элспетятами русско-британского происхождения! Да ты бы им судьбу сделал, Боря!

— Смердит от тебя, Миша! — с прежним злом сказал я.

— А хочешь, я выведу тебя на британского посла, и мы это предложение тебе восстановим? — вдруг предложил Миша.

— Сделай меня абиссинским королем! — сказал я.

— А ты не умеешь любить, господин хороший! Ты себя только любишь и честью прикрываешься! — тоже зло засверлил меня взглядом Миша.

— Ну уж славно, что не капиталом! — сказал я, вдруг почувствовав утреннюю приятность от воспоминания об Анне Ивановне. «Верно, так волнуется, ждет моего возвращения!» — подумал я.

— Как бы ты прикрылся тем, чего у тебя нет! — горделиво и, кажется, вместе глумливо констатировал Миша.

— А все-таки ты кто, а, Миша? — спросил я.

— Да никто! Я просто удачно подставил задницу под дуновение судьбы и, в отличие от тебя, этому не стал препятствовать. Но обо мне потом, обо мне как-нибудь потом! — опять ушел от ответа Миша.

— Ну и как бы ты вышел на британского посла? — спросил я.

— На самом деле выйти? — подхватился он, принимая мой праздный и пьяный вопрос за подлинный интерес.

— Никак нет! — резко сказал я.

Мы помолчали. Я подумал об Элспет и об Анне Ивановне. Как, с каким чувством я подумал об Элспет, сказать было трудно — коньяк стирал боль. А об Анне Ивановне я снова подумал с утренней приятностью — ждет и волнуется.

— Ну а второй вопрос, с каким ты пришел? — вдруг вспомнил Миша.

Ни второго моего, ни какого-либо из десяти обещанных Мишей мне вспоминать не хотелось. Я промолчал. Заговорил сам Миша.

— Небось про лошадей спросить хотел? — с усмешкой посмотрел он на меня.

— Нет! — сказал я, хотя именно о них-то и было моим вторым вопросом.

— Какие там лошади! Падаль, а не лошади! Помнишь, у Бодлера есть стихотворение «Падаль»? Вот именно то и есть твои лошади! — сказал Миша.

— И что? — спросил я.

— Да судить надо твоих парковых! — снова усмехнулся Миша и как-то темно блеснул глазами. — Падаль, Борька! Кругом одна падаль, сплошь одна склизкая, вонючая падаль от самого верха до самого низа! И ведь не с этой поганой революцией она пришла, Борька! Она еще там расцвела, в наше время! Ты за своей серой шинелью, за своим мундирным сукном ничего не видел. А я повидал! Ах, как пахуча она была, эта падаль, Борька! Все эти властители наших умов и сердец, а вернее, властители нашей прямой кишки, все эти, эти… — Миша кинулся искать слово, а я почему-то подумал, что он назовет какого-нибудь политического лидера из тех, кто витийствовал перед войной, совсем, кстати, нас, военных, не задевая. Он же сказал иное. — Все эти Зиночки Гиппиусы, Таньки Щепкины-Куперник, Аньки Ахматовы! — кривясь и со злобой сказал он. — Ты помнишь, Борис? Хотя где тебе помнить! Ты небось в окопе сидел и зад пальцем вытирал, потому что больше нечем было, и у тебя ничего больше не было, кроме своего пальца, ни винтовки, ни снарядов! Так вот надо было вытирать вот этой всей падалью! — Миша открыл дверцу книжного шкафа и смахнул пачку книг. — Вот этой падалью! На, смотри, что они понаписали, пока ты искал, чем задницу подтереть! Смотри! Хотя стой! Не

замарайся! Я сам тебе покажу! Вот! — Миша в остервенении, будто хотел порвать надвое, открыл томик в черном корешке, столь же остервенело стал его листать. — Вот! Да где же она, тварь рыжая Зиночка!.. Черт! Не могу найти! Зато вот, пожалте вам, Михаил Кузмин, известнейшее на весь Питер педро, ты, надеюсь, понимаешь, о чем я говорю? Вот он: «Испепеляйте, грабьте, жгите! Презренье вам в ответ — не страх! С небес невидимые нити Восстановляют падший прах!» Каков суконец, а! Восстановляют ему прах, педре! А дальше какие имена! Ты только послушай: Садовский, Мазуркевич, Бальмонт, Мейснер, Зарин-Несвицкий, Тэффи! — сплошь посконно русские имена, такие посконные, что какому-нибудь Мишке Злоказову остается только обозвать себя Майклом! Все взялись в ресторанах у Кюба сострадать и утешать! А вот еще Блок! Хочешь Блока — о войне? Изволь! «Но все — притворство, все — обман! Взгляни наверх! В клочке лазури, Мелькающем через туман, Увидишь ты предвестье бури — Кружащийся аэроплан!» А? Как тебе? Видел ты там у себя, на фронте, в клочке лазури предвестье бури?.. И это всё, — Миша швырнул томик, — это всё называется «Современная война в русской поэзии». — Он томик швырнул, но тотчас поднял его. — А где же все-таки тут была Зиночка Гиппиус! Ты помнишь ее это: «Вся ваша хваленая германская мощь русскому солдату навысморк!» Не помнишь? Ну да. Ты же в окопе сидел и эту мощь на себе терпел, пока она тут занималась лесбийской любовью! Повидал я их всех! Все — падаль! Как у Бодлера, «Полусгнившая, она, вверх брюхом, как продажная девка, раздвинув ноги, лежала! И источала на округу гной!» — кажется, так! — он говорил с таким бешенством, что я увидел у него в углу губ белую накипь.

— Всё, Миша, хватит! — попытался я его остановить.

— Бури в лазури им подавай! — не слушал меня Миша. — С небес нитки им прах восстановляют! — в бешенстве говорил он и в бешенстве листал томик. — А! Вот! Нашел я Зиночку! — ударил он маленьким и крепким кулачком в страницу. — Вот! «Но сочтены часы томления. Господь страданий не забудет. Голгофа — ради воскресенья, И веруем — да будет!» Дни ее томления сочтены! Да несть числа дням твоих томлений, сволочь старая! Только не тех томлений, о каких ты тут ноготками своими скребешь, а тех томлений, которые грызут тебя по блуду! И туда же: «Веруем — да будет!» Будет вам, будет! И из-за вас всем нам будет!

— Хватит, Миша! Ты о лошадях вспомнил. Скажи яснее, что? — спросил я.

— Кому — бурю в лазури, кому — часы томлений, а ему — дохлые лошади! — глумливо рассмеялся Миша и спросил, надо ли мне еще коньяку. Я отказал. — Вот что! — неожиданно сказал он. — Вот что! Я дам тебе браунинг. Но ты должен о нем молчать. Хорошая штука браунинг. Лежит он у тебя в кармане. Заходишь, куда тебе надо, например, к тому же Паше Хохрякову или к Яше Юровскому и: «Здравствуйте, господа хорошие! Я ваша тетя от…» Тут если к Паше, то говоришь, от Яши. Если к Яше, то говоришь, от Паши. И бабах пару пулечек ему в хайло. А при этом — чик-чик, на две позиции патрончики в обойме подвинулись! Чудо!

Я встал уйти. Взгляд его, только что темный, бессмысленный, замерцал искренней просьбой.

— Боря, не уходи! Побудь еще! Одиноко мне! — стал он просить.

— Ну, поздно же, Миша, и ты пьян! — стал я отговариваться.

— Тогда я пойду с тобой! — сказал он.

И пошел, и потащился за мной, так что мне пришлось смириться и притащить его к себе.

Дома свет мерцал только в окне Ивана Филипповича. Я встревожился, не ушла ли Анна Ивановна. Но встревожился я напрасно. Едва мы загремели в дверь, она с Иваном Филипповичем вышла встречать. Она держала свечу, и я, хоть и был пьян, увидел, сколько приятно было ей мое возвращение. Увидев ее, преобразился и Миша. Он отстранился от меня и пустился целовать ей руки. Она от неожиданности попятилась. Миша, в попытке схватить ее за руку, ткнулся лицом в свечу. Анна Ивановна вскрикнула. А Миша нашел в случившемся только смешное. И потом, пока его наконец не прибрал сон, он, в попытке ухаживать за Анной Ивановной, время от времени вспоминал свой ожог. Тогда он начинал смеяться, говоря, что встреча его с Анной Ивановной была освящена огнем, что он теперь огнепоклонник в самом прямом смысле, а я, потому что я был в Персии, в древней стране огнепоклонников, стал ему братом. Анна Ивановна его чуждалась и всякий раз взглядывала на меня в растерянности, в которой я читал просьбу простить ее за поведение Миши, за то, что она, по ее мнению, становилась причиной его поведения. Я в ответ улыбался уголками губ. И была ли в полумраке комнаты видна моя улыбка, сказать было трудно. Но кажется, ей она была видна, или она ее чувствовала, потому что я видел, она на какое-то время успокаивалась. Иван Филиппович, в полной уважительности к родителям Миши, все пытался Мишу расспросить об их жизни, их нынешнем положении. Миша начинал отвечать, но тотчас же отвлекался на Анну Ивановну, и она снова смотрела на меня растерянно. Я снова отвечал ей короткой улыбкой. Миша не спрашивал Анну Ивановну, кто она, почему она в нашем доме. Он принимал ее за поселенную к нам эвакуированную. Мне надоело видеть Мишу таким, и я потащил его к себе в гостевую комнату. Будто поджидал нас, вышел навстречу Ворзоновский.

— Товарищ высокий военнослужащий! Мне неприятно вас отвлекать в таком важном для военнослужащего деле, как приятный отдых. Однако есть очень странные слухи, которые уже ставят меня в щекотное положение, будто я имею претендовать на ваш дом. Это столько же не имеет ко мне ничего, как ваша военная шапка к нашему ребе! — начал он свое обращение ко мне.

Я в пьяном снисхождении оборвал его.

— Докладывайте ясно и кратко! — приказал я.

— Та ж мы уважаем военнослужащих, как невозможность без них пребывать ни такому маленькому человеку, как ваш покорный слуга, так и такому большому человеку, как Совет народных комиссаров! — сказал Ворзоновский.

— Кратко и ясно! — снова приказал я.

В приоткрытую дверь их комнаты высунулась его жена.

— Зяма! Да скажи уже прямо господам офицерам! Они расположены слушать! А то они тебе дадут совет, которым не воспользовалась бы даже твоя покойная

мамочка! — сказала она.

— Совсем смешная подсказка! — в сторону жены сказал Ворзоновский, нам же стал опять говорить что-то невнятное про некий дубликат и некую крупу, про неких его компаньонов по какому-то делу, про некий приказ по гарнизону.

При словах о приказе Миша встрепенулся.

— Приказ о дубликате на крупу? — уставился он на Ворзоновского. — Этот приказ? Так что же вы, господа хорошие, с огнем играете? — Миша обернулся ко мне и потер обожженное лицо. — Я писал этот приказ, — и снова отвернулся к Ворзоновскому. — А ты знаешь, что там должно было значиться? Нет? Там было должно значиться: «Передать в руки чрезвычайного уполномоченного по борьбе с контрреволюцией товарища Хохрякова для определения дальнейшей судьбы». Вот что там должно было стоять. А что написано в приказе? Там написано: «Заменить содержание под стражей на внесение залоговых сумм». Так?

Может быть, в связи с пьяным моим состоянием, может быть, сказалось плохое освещение, но я не увидел, как жена Ворзоновского оказалась возле него и как они вместе принялись хватать Мишу за руки.

— Господин официр! — вскричали они.

— Да вы что! — от неожиданности вскричал Миша.

— Пан официр! — вскричали они.

— Да вы что, а? — вскричал Миша.

— Пан, пан! Молим Бога! — вскричали они.

— А ну выписку из приказа сюда! — опомнился Миша.

И опять — каким образом оказалась требуемая выписка у Миши в руках, я не увидел. Миша, отстраняясь от хватающих рук Ворзоновских, стал читать.

— Так! — стал читать он. — «Члену военного совета Зиновьеву поручается на виновных в спекулятивной продаже дубликата Любек, Равве, Гольдберг, Ковнер, Ворзоновский возложить возвращение полку суммы в двадцать девять тысяч пятьсот рублей, дубликат не возвращать». Что вам не ясно? Что вы пристаете к товарищу военнослужащему Норину? Вы вернули полку суммы?

— Пан официр! Таки там еще написано другое! Там написано такое, что исполнить невозможно! — вскричала жена Ворзоновского.

— Что написано? — Миша стал читать дальше. — Написано: «Предлагается заменить содержание указанных лиц под стражей на внесение залоговых сумм». Заменили вам?

— Таки заменили, молим Бога! Но там еще написано невозможное! Там написано внесение залоговых сумм: Гольдберг — двадцать одна тысяча пятьсот рублей! Это имеет быть революционно справедливо. Там написано: Ковнер внести десять тысяч, Равве пять тысяч! И это неописуемо справедливо. Но там написано: внести Ворзоновский три тысячи, а Любек только пятьсот рублей! Это, как вы можете догадаться, совсем несправедливо. Но это не вызывает спора. Может, дядя

Любека делал революцию, и теперь Любек имеет от революции уважение, хотя поверить в то никак не имеет смысла. Но там еще написано за немедленную доставку крупы. Там написано за возвращение всей суммы дубликата в полк. Там написано за сумму залога. Но это тройная оплата! — простонала жена Ворзоновского.

— А вы бы хотели четверную? — съязвил Миша.

— Но Зяма имеет сказать про Любека и всех других такое, что будет революции полезнее, чем три тысячи! — сказала жена Ворзоновского.

— Пусть скажет в письменном виде. Утром я заберу! — распорядился Миша.

— Но будет ли Зяме?.. — начала выговаривать условие жена Ворзоновского.

— В размере революционной пользы! — пообещал Миша.

— Это непременно? — спросила жена Ворзоновского.

— Революция не отвечает. Революция спрашивает! — оборвал Миша.

Вся сцена причиной имела то, что, по дальнейшему рассказу Миши, группа указанных лиц сумела продать начальнику хозяйственной части сто восьмого запасного полка фальшивый дубликат на покупку крупы. По их взятии все они признались и согласились на уже сказанные условия освобождения их из-под стражи. Полковые деньги и залог они внесли, но на покупку крупы у них якобы средств не осталось, или они, сказать по-революционному, решили покупку саботировать в надежде, что удастся выкрутиться. Я спросил Мишу, правда ли, что он изменил текст приказа. Миша только рассмеялся:

— Вот подожди. Утром они принесут свой донос — и я им скажу, чтобы они выметались из твоего дома, иначе, скажу, я их определю на место жительства к Паше Хохрякову. И они знают, что у Паши этим местом жительства часто является не тюрьма, а, по его любимой присказке, поля Елисейские, в которых сейчас пребывает и несчастный Ардашев. Они ловко с Яшей, переводи, Янкелем Юровским, дело поставили. Паша отправляет арестованного к Яше и конвою говорит, чтобы после Яши — на Елисейские поля. И потом оба вешают вину за убийство на самого арестованного, мол, сам на пулю напросился. Да скоро ты сам на себе это почувствуешь. Как начнут формировать свою, так сказать, революционную армию, да как погонят туда вашего брата офицера, да как вы начнете отказываться, вот тогда ты, может, оценишь свою прапорщицкую шинель против полковничьей. А формировать начнут со дня на день. Прапорщик-то, может, у Паши с Яшей еще как-то от Елисейских полей отвертится, а уж полковник-то — охочий, как говорится, Паша до вашего брата полковника, шибко охочий. Да и Яша не лучше. Так что утром напомни мне про браунинг. Я тебе оставлю.

— Чтобы застрелиться? — хмыкнул я.

— Там увидишь. А браунинг не помешает! — в каком-то снисхождении или, вернее, превосходстве надо мной сказал Миша и вдруг сменил разговор: — А хороша твоя жиличка. Займусь я ею! — и уснул.

— Займись! — с ревностью сказал я, а мне уже плыла Элспет, и мифический

пароход из Индии готовил пары на Англию.

Мечтать, однако, долго не пришлось. Взвинченный коньяком организм потребовал действий. Мне плеснулась моя Персия. Я почувствовал, что мне не хватает ее тягот. Они выходили против всего нынешнего счастьем. Разделить этого счастья мне было не с кем. Здесь его разделить мог бы, наверно, только Саша. Я пошел к Ивану Филипповичу. Он на коленях молился.

— Иван Филиппович! — позвал я. Он замер. — Иван Филиппович! — еще позвал я.

Он, кряхтя, поднялся с колен, насупленно зыркнул на меня.

— А эта жиличка-то, Анна-то, она как тебе будет, зазноба сердечная или просто так? — спросил он.

— Просто жалко ее! — сказал я.

— Жалко, так век она у нас жить будет или только полвека? — в недовольстве спросил он.

— Ну, поживет. А потом куда-нибудь устроим ее в службу. Миша вон поможет устроить! — сказал я.

— Ты, Борис Алексеевич, вот что! — посуровел он. — Ты это. Это их совето — власть разве что до весны, до тепла. Не дольше. Так ты уж не избалуйся. Придет старая власть, и найдешь себе благородную, из семейства.

— Да будет тебе, Иван Филиппович! — в чувстве сказал я и от чувства вдруг, не зная как, выпалил: — Иван Филиппович! — выпалил я. — А я ведь на войне Сашу встретил!

Я намеренно сказал не «на фронте», как то вошло в обиход, а сказал «на войне», тем как бы приближая себя к Ивану Филипповичу и сглаживая свою вину за то, что не сказал о Саше раньше.

— Так не отпускал бы от себя! Чином-то ты, поди, повыше был! Взял бы его к себе! — вопреки моему ожиданию, спокойно сказал Иван Филиппович.

— Его… — сказал я и замолчал.

Иван Филиппович, как в ожидании удара, замер.

— Он… — сказал я.

И пока Иван Филиппович сказал свое какое-то утробное, какое-то звериное «Ну!», я увидел, сколько мы все любили Сашу. Иван Филиппович, вдруг сжавшись, будто уже получил удар, весь вдруг очертился, будто вырезался из тьмы каморки. Я увидел, сколько он стар, сколько ему в его старости не надо моих слов.

— Ну! — прорычал он.

— Убили в голову. Он пошел спасать своих охотников. В перестрелке его убили! В голову! — сказал я не слово «погиб» и не слово «разведчики», как то уже прижилось, а говоря невоенное слово «убили» и старое слово «охотники».

Через долгое молчание, в которое я успел много раз покаяться в том, что сказал, он спросил когда. Он спросил одним словом. Я сказал. Он в себе что-то сосчитал, сел на постель, вдруг потрогал себя, начиная с колен, обмахнулся крестом.

— Не говори больше никому! — сказал он.

— Не скажу! — как в детстве, тотчас согласился я.

— Сколько у тебя орденов? — спросил он.

Я сказал. Я сказал, что у меня орден Святого Георгия и еще три ордена.

— У Саши тоже Святой Егорий! — сказал он.

У Саши не было такого ордена. Но я с радостью сказал, что видел у него такой орден.

— А ведь убьют тебя, Бориска! — сказал он.

Я отчего-то тотчас единой картинкой представил пароход из Индии в Англию.

— Убьют! — сам себе сказал Иван Филиппович и сам себе сказал: — А я бы вам и не служил, если бы вы не были… — он поискал слова. — Если бы вы не были у меня этаки!

На его слова я хотел пренебрежительно хмыкнуть, но только подумал, что раньше не убили, то с чего же убьют сейчас.

— Никому, Бориска, ни Маше, ни Иван Михайловичу, никому! — сказал Иван Филиппович.

8

Все эти дни Екатеринбург бурлил различного рода съездами различных солдатских, рабочих, следом крестьянских, следом же еще каких-то экзотических, навроде коопeраторских, ученических, провизорских, квартальных и прочая, и прочая, и прочая депутатов, на мое мнение, ни черта не понимающих, о чем депутатствуют, о чем бурлят, — лишь бы депутатствовать, лишь бы бурлить. В бурлении приняли декрет — теперь в ход пошли не законы, а декреты, — приняли декрет об отделении церкви от государства и школы, будто были и государство, и школа. В бурлении походя упразднили городское самоуправление, то есть городскую и земскую управы, объединили Вятскую, Пермскую губернии и часть области Оренбургского казачьего войска в Уральскую область с переносом столицы в Екатеринбург. Не замедлили учредить свои трибуналы и чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией, учредили свои так называемые народные суды с обязательным верховенством там революционных комиссаров, а отнюдь не судей. Кто-то ушлый и тороватый успел подсунуть в это бурление давнюю программу правописания без «ять, еры, ижицы», объявив ее революционно новой. Было объявлено о введении с первого февраля европейского летоисчисления, то есть первое февраля объявили тринадцатым. Уфимская губерния назвалась Башкирской автономией с запрещением отпускать продовольствие за пределы автономии. Военнопленные получили право беспрепятственного хождения по городу и участия в собраниях. Одновременно было объявлено об отсутствии в городе муки и выдаче по карточкам галош. В доме Телегина на углу улиц Успенской и Симоновской открыли яичную торговлю, но повсеместно закрыли торговлю керосином. На станции Баженово — это, наверно, сотник Томлин! — разграбили двенадцать вагонов с зерном, шедших в Екатеринбург. Каменский завод прогнал управу и растащил из цейхгауза, по словам Ивана Филипповича, на удивление знающего все городские новости, две тысячи пудов сахара. Грабеж остановила только команда солдат из Екатеринбурга. Подобная же ситуация была в Нижнем Тагиле. И тоже были посланы туда солдаты с матросами. Их, матросов, в Екатеринбурге, верно, в ожидании схода льда на пруду скопилось немалое количество.

А само положение Екатеринбурга было таково. Во всем его уезде оказывались только восемь волостей, в которых случился урожай. Из них взято хлеба только едва триста тысяч пудов, отчего возникла надобность ввезти в уезд более трех миллионов. Но Уфа показывала кукиш. Из Сибири по расстройству железной дороги, которая двигала поезда со скоростью не более двухсот верст в сутки, и по ушкуйничкам вроде баженовских поступала едва пара вагонов. Шадринский, Камышловский и Ирбитский уезды уперлись, что по твердым советовским ценам хлеба продавать не будут. Привезли клюквы и брусники по двадцать два рубля и варенья паточного по восемьдесят рублей за пуд — ну, хоть этим обеспечили сладкую жизнь.

Все это бурление представляло мне мало интереса. Оно было уже как бы узаконенным, по-нынешнему — удекреченным, творилось по всей России и

становилось нормой жизни. А вот разделение казачьего войска задело и меня.

— Миша, а они подумали о том, как отрезанные от войска казаки жить будут? — спросил я.

— А потому и отрезали, чтобы разделить и властвовать. Учил тебя твой Лешник, учил, а ты, кроме как ветры пускать против ветра ничему не научился. Древнеримский принцип: разделяй и властвуй! — хмыкнул Миша.

Я пропустил его ёрничество по поводу уже рассказанного случая на уроке латыни.

— Ну, разделяй. А как они жить будут? Их войсковое начальство на службу призовет, а они поедут спрашиваться в Екатеринбург. Так, что ли? — спросил я.

— Боря, забудь ты все свое старое! Нет больше старого! Нет тебе казаков! Не читал, что ли, декрет об уничтожении сословий? Все сословия — к одной хорошей матери под юбку, в том числе и твое столбовое, в том числе и их казачье! О том, что ты не офицер, а некое создание в виде военнослужащего, усвой как можно скорей, для твоей же пользы! Не офицер ты, а кто-то вроде вот этого! — Миша вывернул свой характерный кукиш.

— Уже усвоил! — рассердился я.

— Вот и твои казаки, и все мы есмь этот же кукиш! До поры до времени прими это как данное! — в удовлетворении от образности сказал Миша.

— Уже принял! — снова сердито сказал я.

А в парке вдруг был объявлен приказ Совета о неприсутственном дне в среду тридцать первого января. В этот день в Екатеринбург прибывал поезд с погибшими под Оренбургом. Их было решено торжественно похоронить на Кафедральной площади.

— Неприсутственный — это там для всякой шушеры типа торговли! Торговать запрещено! Ходить в школы и всякие там учреждения в этот день будет запрещено! А нам служить советской власти никто не запретит! — сказал после приказа председатель комитета Чернавских. — Нам в этот день общее построение в одиннадцать часов дня на Арсеньевском проспекте в составе гарнизона. Командовать построением личного состава парка будет военнослужащий Раздорский!

— А почему не бывший прапорщик Норин? Он как бывший прапорщик всю шагистику должен знать превосходно! — огрызнулся Раздорский.

Чернавских, стараясь значительно, поглядел в сторону Раздорского, видно, хотел сказать что-то такое же значительное, как и взгляд, но не сказал, а заглянул в приказ и сказал, что военнослужащий Норин направляется в распоряжение коменданта гарнизона, утвердительно кивнул в мою сторону, потом оглядел всех и прибавил, что парк должен выйти при оружии.

— Это как же, когда вышел приказ всем сдать оружие! — снова и с издевкой спросил Раздорский.

— А так! Военнослужащий Раздорский, если он на самом деле сдал оружие, а не прячет его в сарайке с дровами, то он будет при деревянной сабле, которую до завтра успеет выстругать. А весь личный состав получит у заведующего хозяйством положенное уставное оружие, то есть винтовки с примкнутыми штыками! — повысил голос Чернавских. — Или, может, военнослужащего Раздорского тоже отправить к гарнизонному начальству, но только уже с моим приказом, как контру? Как выберете, ваше бывшее благородие? К Хохрякову еще не ходили?

После полудня я пошел в военный отдел. Миша меня огорошил.

— Вот, почитай! — протянул он телеграмму.

И я, как год назад в Месопотамии читал телеграмму об отречении государя императора, дважды прочел ее, с первого раза ничего не понимая. Телеграмма гласила следующее: «Петроград. Срочная. 29.01.18. 16 часов. Именем СНК правительство Российской федеративной республики настоящим доводит до сведения правительств и народов воюющих с нами, союзных и нейтральных стран, что, отказываясь от подписания аннексионистского договора, Россия объявляет со своей стороны состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным. Российским войскам отдан приказ о полной демобилизации по всем линиям фронта. Председатель мирной делегации нарком Троцкий, члены Бищенко, Карелин, Иоффе, Покровский. Председатель Всеукраинского ЦИК Медведев, нарком по военным делам Украинской республики Шахрай. Секретарь делегации Карахан. Брест-Литовск. 10 февраля (нов. ст.) 1918 года». Именно дата заставила меня читать во второй раз, ибо пять букв и две точки в скобках, обозначавших слова «новый стиль», я с первого раза не принял и хотел было сказать про телеграмму как про фальшивое письмо, а потом только усмехнулся в том смысле, что нами, Россией, война давно уже закончена и «российские войска» давно уже разбежались, в чем можно натвердо убедиться хотя бы по причине моего пребывания не на фронте, а здесь, в грязной писарской комнате военного отдела самозванного Совета оглохшего от бурления городишки в середине слепоглухонемой и немощной России.

— Ну, что? — в возбуждении спросил Миша. — Что? Дождались? Да сейчас эти все, — он пальцем потыкал в телеграмму, — эти Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария по всем линиям фронта перейдут эти линии и оттяпают пол-России вместе с их Петроградом! Кто думать-то намерен? А?

Я лишь подумал об атамане Дутове Александре Ильиче, и подумал без ставшего обретать привычку парохода из Индии в Англию.

С этим же обращением — кто думать будет! — Миша с шустовским коньяком притащился вечером ко мне.

Полагая, что он пришел по общей нашей договоренности, Иван Филиппович набычился.

— Вам что это запогумесило? Вы что же это за охотку взяли? Или новыми господами себя започувствовали? Отечество прокукукали, так теперь и стыд прокукукать взялись! Вы во храм-от Божий, вот ты, Борис, пришел домой, а в храм-от Божий захаживал ли? Лоб-то перед Заступницей своей ко полу приложил ли? —

начал он нас стыдить.

Анна Ивановна, с удовольствием мывшая после вечернего чая посуду и встретившая меня светлой застенчивой улыбкой, поспешила уйти к себе.

— Здравствуйте, барышня! — крикнул ей в спину Миша.

Анна Ивановна, не оглядываясь, кивнула.

— Во-во! Честны-то девушки вас, оллояров несметных и антихристов, бояться стали! — не преминул воспользоваться случаем Иван Филиппович.

— Иван Филиппович! Да сам-то ты антихриста видел? А я видел! — сказал Миша.

— С вас сбудется! — стал креститься Иван Филиппович. — Он-то вас поперед ущупал, так с вас сбудется! А вот я кочергой-то как погоню его по вашим спинам, айда как заповыгибывается! Охотку взяли вином бельма заливать! Стыдно смотреть на то, что натворили, так вином заливаетесь! Это он-от вас и подучивает! А вам и радёхонько пуще того! — сухо сплюнул Иван Филиппович.

Приход Миши с коньяком мне тоже не особо был к сердцу. Без какого-либо успеха я попытался успокоить старика и унес самовар к себе в комнату. Мне очень хотелось пригласить Анну Ивановну, однако я помнил вчерашнее обещание Миши ухаживать за ней. Да и показалось мне, она бы приглашения не приняла. «Вот, испортил всем вечер!» — подумал я о Мише.

— Где, какого антихриста ты видел? — просто для завязки разговора спросил я.

— Да сколько угодно их перед войной расплодилось. Я тебе вчера говорил! — сказал Миша.

И через четверть часа, подхмелев, он вернулся к вчерашнему разговору. Я пил с неохотой и опять, как ни странно, после моих мытарств не пьянел. Я слушал новости от Миши, а сам думал об Анне Ивановне. Я думал, как бы хорошо нам сиделось в каморке Ивана Филипповича до самого позднего вечера, как бы я любовался ею и тем смущал, ловил бы ее смущение и ждал ее невольного мимолетного взгляда на меня, взгляда мимолетного, трепетного, как вздрагивание пламени в лампе, но взгляда, несущего мне очень большое и хорошее, глубокое, заставляющее сладко чувствовать сбои в сердечном ритме. Бог давал мне счастье служить. Но, отлученный от государства, и этого он теперь мне не мог дать. Оставалась маленькая радость любоваться смущением Анны Ивановны. С этим любованием, с воображаемым мной крохотным чувством Анны Ивановны ко мне исчезало все, что было вне этого. Я слушал Мишу, а представлял себя с Анной Ивановной и Иваном Филипповичем за чаем в его каморке.

— Ты слышал об антропософии Штайнера? — спросил Миша.

Я, нехотя отрываясь от своей маленькой воображаемой радости, пожал плечами.

— И ты вчера про меня думал как про идиота, когда я этих Блоко-Кузминых и Зиночек вспоминал! В конечном счете, я достаточно имею на это оснований.

Нюхнул я их падали. Смердели они и теперь где-то смердят. Он кто, Штайнер? А никто! А просто возомнивший о себе обычный немецкий колбасник. Он объявил себя богом, накукарекал какую-то теорийку, якобы может привести к первоначальному христианству и показать путь в вечность и бесконечность. Они все поверили и заблеяли ему осанну. Он им — какие-то танцы, якобы открывающие другие миры. Они ему — слюни умиления. И я тоже заскакал. Я и за блаженненьким Николаем Федоровым скакал. Он вообще изобретал бессмертие, только по-русски изобретал, иррационально. Он всех воскресить хотел. А тот, немчура, решил танцульками обойтись. Мы, говорит, приводим в движение само человеческое тело, прежде всего конечности. Именно они продолжают жизнь в следующей земной жизни. То бишь они и конечности, они и бесконечности или без конечности! Как, кстати, по-немецки конечности и бесконечности?

Русская игра слов в конечности, без конечности и бесконечности для немецкого языка была абсолютно неприменима. И что уж, по словам Миши, говорил некий мистик или шарлатан, некий псевдопророк про конечности и бесконечности или без конечности, русского мистицизма в его немецких словах никак не выходило. Мне не хотелось поддерживать разговор. Я промолчал. Он спросил меня снова. Я махнул рукой, мол, никак.

— Так как, господин хороший? — спросил он в третий раз.

Я нехотя объяснил и сказал, что танцами или чем-то подобным ищут единения с Богом наши хлысты. Миша даже пригнулся от моего объяснения.

— Ох, Борька! — как-то затаенно, будто успевая решать что-то в себе самом, сказал он. — А ведь я догадывался, что только у нас, русских, конечности выходили бесконечностями! Только русские дураки могли сами себя дурачить и получать от этого наслаждение не хуже твоих хлыстов! Это ведь как коровы. Они слышат хозяйку, а слова ее принимают за мычание. Смысла они не понимают. Так и мы, русские, — слышим немецкое… как ты сказал: у них конечности и бесконечности?.. Слышат они немецкий бред, а переводят его себе по-своему и бесятся от своего понимания! Напиться хочется от такого, Борька! Ведь не немец и не еврей Ульянов в пломбированном вагоне привез нам революцию. Мы сами ее… она сама из нас поносом вышла, из нас самих, потому что все тамошнее мы себе переводили на свой лад. Он талдычит то, что ему в башку взбредет. Потому что он знает, что никто из тамошних за ним не потащится. А не потащится, потому что ему там колбасу надо делать. Кто не умеет ее делать, тот и несет всякий бред. И у них там всем хорошо, все при деле. А мы хватаем этот бред и переводим так, что тут же в свой перевод верим. Вот она тебе и революция! Когда такое поймешь, то моей русской душе так заколдобит, что надраться, как мастеровому, захочется! Ну, нашкрябали они там свой «Манифест»: «призрак бродит по Европе!» — и знают, что, во-первых, никакого призрака не бродит, а, во-вторых, если и бродит, так пусть себе бродит, они под него себе заделье нашли, всякие интернационалы придумали и тем кормятся. А как только этот «Манифест» к русскому на стол попал, так русский его не вилочкой откушать, не по кусочку, не по зернышку, как курочка клюет и тем сыта бывает, а русский тут же хвать его целиком в свою пасть. И пошло-поехало. И пошли «Земля и Воля». И пошли «Черный передел». И пошли Плехановы-Ульяновы, Аксельроды-

Кропоткины, Троцкие-Заруцкие! Или Заруцкие — это из польской смуты? Ну, да того же поля ягода! И всем этим, включая Заруцкого, надо непременно русскую империю свалить! Всем надо свою, неизвестно какую, власть поставить!

— Так и что, ты тоже с этим Штайнером менуэты выплясывал? — едва сдерживая зевок, спросил я.

— А как не выплясывать! Я и кокаин в ноздри толкал. А как не толкать, — снова пригнулся Миша. — Как не выплясывать и не толкать, если это же делает Марго Сабашникова, эта красавица бурятка, художница, танцовщица, литераторка, мистик и еще семьдесят семь разного ее разврата, а я в нее по самые свои уши втюрился! Как гимназистик втюрился! А как не гимназистик, когда мы с тобой еще только гимназию заканчивали, а она уже сочеталась браком с этим своим Максом Волошиным, с этим эстетом, который на римский манер в простыне и без штанов ходит! А что делать? Это ты счастливый человек! А я… — Миша хватил коньяку прямо из горлышка, не морщась, заскрипел зубами, да так заскрипел, будто ломал их, и смолк, верно, уйдя в себя, в воспоминание, а потом в задумье, холодно и протяжно, из самого своего нутра вытягивая, сказал: — Как же я завидую тебе, Борька! — тяжело помолчал и снова сказал: — Как же я тебе завидую! И как я тебя ненавижу! Черно завидую и черно ненавижу! Самой черной завистью завидую и самой черной ненавистью ненавижу! С каким бы наслаждением я сдал тебя Паше Хохрякову или Яше Юродскому! — он так и сказал: «Юродскому» — и не поправился.

— Миша! — сказал я, принимая его слова, конечно, за пьяный бред. — Давай спать будем. А то Иван Филиппович за керосин нас кочергой по хребту! Нет ведь в городе керосина!

А Миша не слышал меня.

— Забегал-заскакал я перед Маргушей. Она — к этому неудачному колбаснику Штайнеру. И я за ней. Она ему храм строить. И я с ней. Да в немецком я — ни дум-дум. Как ни слеп был от своей страсти, а быстро расчухал, что мне с моими языковыми конечностями не постичь их бесконечности! А как я ее боготворил! И как я ее боялся! Я вообще всю жизнь с детства женщин боялся. Да ведь и ты, Борька, тоже их стороной обходил. Откуда теперь у тебя они — косяком? Откуда они к тебе, как к магниту, летят? Почему ко мне-то не летят? Даже эта твоя жиличка. Вчера с вами сидела-жеманилась, а как меня завидела, так губу поджала и ускакала к себе.

— Миша, давай спать! — вспыхнул я при упоминании Анны Ивановны.

— А она тебя ждет. Пойдешь к ней. Я усну, а ты пойдешь к ней! — снова взялся ломать зубы Миша.

— Не мели вздор! Она не жиличка. Я ее привел сам! И прошу об Анне Ивановне говорить в ином тоне! — сказал я, полагая, что этим прекращу разговор.

— Он привел! — зло и артистически меня обличая, захохотал Миша. — Он мне говорит, что он ее привел! О санкта симплицитас, о святая простота ты, Миша! Он хочет тебя в чем-то порядочном убедить! Он хочет тебя убедить, что он человек чести! Нет, господин хороший! Привел, воспользовался, бросил — вот твое кредо,

Цезарь ты наш!

— Всё, Миша! Домой! — схватил я его с кресла и повернул к двери.

— Назад! Руки! — в бешенстве закричал Миша.

И я увидел наставленный мне в лицо маленький, так называемый жилетный браунинг.

— Оставь, Миша! — обсыпаясь холодом от сдерживаемого желания ударить, сказал я.

И тут же меня бросила назад, на баррикаду нашей мебели, всё разрывающая, слепящая и обжигающая вспышка. Миг спустя, я слепо увидел синее, огромное, перекошенное лицо комитетчика Ульянова, застрелившего комитетчика Кодолбенко в виду скал Бехистунга в заснеженный ноябрьский день моего отъезда из Керманшаха.

— Застрелю! Как собаку, застрелю, если еще раз ты прикоснешься ко мне! — прокричал Ульянов.

Дверь нашей гостевой комнаты хлопнула, а следом, через несколько моих судорожных глотков воздуха, хлопнула входная дверь. Со двора Миша еще что-то прокричал. И я увидел Анну Ивановну. И я увидел гербом Российской империи влетающего в комнату Ивана Филипповича.

9

Накаркал Миша мне Пашу.

Впрочем, это случилось несколькими днями позже.

А в ту ночь мы сидели в каморке у Ивана Филипповича, сидели втроем.

— Говорили люди, что он из этих, — сказал Иван Филиппович. — Из этих, не то бомбистов, не то этих, не знаю, как и сказать, а я не верил!

Из каких — из эсеров, анархистов, декадентов или еще из кого, по словам Ивана Филипповича, выходил Миша, — я не стал гадать. Было совершенно не до этого. Меня донимал вопрос, промахнулся Миша или намеренно выстрелил мимо. Не случись этой революции, не случись мне повидать и на себе испытать всю человеческую гниль и падаль, не случись увидеть, как все превратилось в сволочь, я бы не гадал, я бы не додумался гадать. Я был бы совершенно уверен, что Миша стрелял мимо. Теперь же я слушал взволнованный разговор Ивана Филипповича с Анной Ивановной и гадал. И еще я думал, как же мне завтра придется встретиться с ним, с моим другом Мишей.

А Господь сподобил никак его в этот день не встретить. Я явился к начальнику гарнизона, то есть в военный отдел исполкома Совета. Уже на лестнице меня сжало сильным напряжением. И я, пока поднимался, молил только о том, чтобы не напомнили о себе, как уже стало мучительно привычным, рубцы. Адъютант и бывший поручик Крашенинников, зная нашу с Мишей дружбу, приветственно махнул мне рукой.

— А ваш amis cordiale, друг сердечный, просил за вас по известной вам причине! — с улыбкой сказал он.

— Простите, не понимаю вас! — остановился я.

— Да я отпускаю вас домой или к нему, куда вам будет угодно. Вы сегодня свободны от службы, так сказать, для вас сегодня неприсутственный день! — сказал он и со значением понизил голос: — Сам он решительно в разобранном состоянии. Но за вас похлопотал. Я вам сейчас увольнение подпишу!

Как решительно Миша оказался в разобранном состоянии, так же решительно я отказался от предложения Крашенинникова, хотя вздрогнула мне перспектива побыть весь день дома. Крашенинников взялся меня уговаривать. Я взялся отказываться. Нашу дуэль прервал начальник гарнизона Селянин. Он вошел с лестницы, протащив за собой клуб стужи. Я представился ему.

— В мое распоряжение? Ну, так это — начальником патруля на Арсеньевский проспект, а потом замыкать всю эту панихиду! У вас будут два солдата, тьфу, военнослужащих сто двадцать шестого запасного полка! Кстати, вы сами в каком полку служили? — сказал он.

— В войну — Девятый Сибирский казачий полк, корпус генерала Баратова в

Персии! — привычно солгал я насчет моей казачьей принадлежности.

— Не знаю такого! — признался Селянин и повторил мне сегодняшнюю задачу.

Крашенинников хотел ему возразить, но я замахал рукой. Он в сожалении пожал плечами. «Вот как славно!» — сказал я себе, хотя славного было в том невесть сколько, и пошел получать оружие. В оружейной комнате заведующий, в гимнастерке без пояса и шапки мужик, по виду мой ровесник, достал из-под стола шашку в затрапезных ножнах и некую черную, с зеленоватым отливом бесформенную кожаную сумку, отдаленно смахивающую на кобуру. Я не утерпел спросить, что это.

— Что? — тоже спросил заведующий.

— Вот это что? — показал я на сумку.

— Это-то? — посмотрел на меня заведующий и, полагая, что я никогда не видел оружия, развеселился: — Это пистолет! Эх ты, дядя с племянницей!

— Разве? — перехватил я его веселость, открыл сумку и вынул оттуда подлинного монстра, то есть, конечно, пистолет, но пистолет, в котором я сразу узнал пистолет образца, кажется, тысяча девятисотого года австрийской фирмы братьев Биттнеров — некое ужасное их творение, представляющее собой нечто среднее между револьвером, садовыми ножницами и мелким динозавром, кроме этого еще отличающееся сложной системой работы.

Я сунул пистолет обратно в сумку и подвинул ее заведующему.

— Что так, дядя? — спросил заведующий.

— Нет, товарищ! Я лучше пойду с одним тесаком! — взял я шашку.

— А ты уросливый! Уважаю! — не теряя веселости, хмыкнул заведующий и пошел отпирать обитый жестью шкап. — Тогда вот этот! — подал он пистолет австрийской же фирмы Штайера.

Пистолет Штайера, или Repetierpistole M12, с магазином в восемь патронов, заряжающийся сверху, был красив какой-то особенной красотой обточенной, плоской серой морской гальки. Я подержал его в руке, погладил, ощущая обточенность и обтекаемость форм. Чем-то он навевал картины австрийского художника Климта с его текучими плоскостями объемов. Вспоминая академический урок, я отвел затвор, опустил рычажок задержки патронов и тем открыл магазин, оказавшийся пустым. Потом, отделив ствол от рамки, я посмотрел его на просвет. Застаревший пороховой нагар поведал мне о некогда бурной жизни пистолета и вероятной гибели его владельца. Заведующий с интересом наблюдал за мной. Я молча показал ему нагар.

— Патроны? — сделал он вид, что не понял меня.

— Да нет, товарищ военнослужащий! В такие сталактиты патрон молотком не вгонишь! — сказал я.

— А кто стрелял, тот пусть и чистит! — сказал заведующий.

— А кто стрелял? — спросил я.

— При мне никто! Я и не давал его никому. Все вот этой клюшкой обходились! — показал он биттнеровского монстра в сумке и вдруг предложил: — Ты, дядя, я вижу, толк понимаешь! Ты возьми его да почисти сам! Вот польза будет!

— А отдай его мне совсем! — неожиданно и весело сказал я.

— А бери! Если так понимаешь, не жалко! А здесь все равно никто ничего не понимает! — тоже весело сказал заведующий.

Я, не понимая ни себя, ни заведующего, глядя ему прямо в глаза и улыбаясь, медленно собрал пистолет и медленно положил его в карман, подождал, решил, что он меня не разыгрывает, застыдился своей выходки и медленно положил пистолет на стол. Заведующий проследил за моими движениями, помолчал, явно справляясь с горлом.

— А я так тыкался с ним, и так тыкался, и этак. А у тебя ловко получилось! — скрипуче сказал он.

Я кивнул, взял сумку с монстром, шашку, расписался в журнале и пошел.

— Так что, почистишь? — спросил заведующий.

— Непременно! — кивнул я.

— Ловко у тебя! — сказал он.

«Ловко!» — подумал я обо всем враз.

Я дождался солдат, то есть военнослужащих сто двадцать шестого запасного полка, и мы пошли на вокзал, на площадь перед старым прянично-теремочным его зданием, оказавшимся клубом красной дружины ближнего участка. Новый вокзал, кажется, еще не достроенный, но уже работающий, гляделся каким-то безлико-сумрачным, будто обидевшимся.

Стало светать, и стали прибывать, так сказать, войска гарнизона, местные красногвардейские команды вперемешку с толпами демонстрантов. К началу церемонии и прибытию командующего церемонией прапорщика Браницкого площадь и весь проспект были напрочь запружены.

О сем событии через несколько дней я прочитал в газете известий Советов. Газетное описание я и помещу сюда, как, бывало, я помещал в прежнее повествование некоторые документы, присылаемые мне в Персию моим однокашником Жоржем Хуциевым, так сказать, для истории. Тем более что я мог наблюдать только начало церемонии, вынос гробов из вокзала, а потом, следуя в самом хвосте процессии, даже позади двух грузовых автомобилей с пулеметами в кузовах, с Вознесенской горки увидел, что весь Вознесенский проспект занят этой процессией, и говорили, что голова ее прошла Каменный мост на Покровском. И потом, когда начался на Кафедральной площади митинг, масса демонстрантов толклась на Уктусской улице, пулеметы смотрели на нее, а мы продолжали, согласно определенной нам задаче, быть позади всех, всё еще на Покровском. Таким образом, я мало что видел. Но все-таки я позволю себе не воздерживаться от своего мнения.

Прежде всего, меня смутило то обстоятельство, что церемония была объявлена

довольно поздно по отношению к концу самих оренбургских событий. Мы с сотником Томлиным прибыли в Оренбург, уже покинутый Александром Ильичом Дутовым. Революция ликовала. Ее ликование, слава Богу, миновало нас. Опять помогла моя, как выразился сотник Томлин, справочка. До револьвера к виску было стыдно пользоваться ею, но иного выхода у нас не было. Так сказать, шлепнуть нас могли и по приговору революции, и без ее приговора, так как, кроме нее самой, то есть кроме ее вершителей, этой сволочи, спрятавшейся за революционными штыками, город был отдан на поругание. В нем правил тот, кто хотел. Вся уголовня, весь уголовный элемент повыполз и пустился в пляс, пустился грабить, убивать, насиловать. Ну так вот, в ожидании разрешения выезда мы провели в городе несколько дней. И здесь, в Екатеринбурге, я пребывал уже десятый день. Участник боев, наш жилец Кацнельсон вернулся еще раньше меня и успел даже потребовать себе сапоги взамен тех, что остались в хате при спешном ее оставлении. А этих погибших привезли только что. Притом их оказалось всего четверо. По-христиански — так лучше бы вообще не было ни одного. Но четверо погибших никак не вписывались в то напряжение, каким отличались бои за город. На основании, так сказать, изложенного я беру смелость заметить, что похороны этих несчастных стали революционным спектаклем, а сами они, несчастные жертвы, оказались первыми попавшимися или, наоборот, последними незахороненными на месте боев.

И позволю себе еще одно характерное сообщение. Когда мы проходили мимо женской гимназии, в толпе наблюдающих процессию с крыльца гимназии я увидел нашего учителя истории и географии Василия Ивановича Будрина. Он тоже увидел меня, обрадованно выбежал ко мне, обнял, уже старенький и, по революционному времени, стершийся, растерянный в нынешнем старании быть без лица. Много говорить с ним я не мог. Мы условились, что я приду к нему на дом. Я спросил, не перешел ли он преподавать в женскую гимназию. Он поведал мне, что оказался здесь по случаю. Случай же был таким, что гимназистки приказ Совета о неприсутственном дне сочли за неподлежащее исполнению.

— Вы только подумайте! — зашептал он. — Они вчера собрали общее собрание и выступили против отмены занятий, заявив, что казаки в Оренбурге сражались за Родину, а эти поехали их убивать и свое получили! Никакие увещевания педагогов на них не подействовали! Во избежание худшего, педагоги решили занятия не проводить, но на службу выйти. Вот теперь мы смотрим с крыльца, не смея покинуть гимназию. А они, — он махнул по окнам здания, — а они так никто к окнам не подходят. Вон поглядите! Они игнорируют!

Я кивнул, сам не зная, то ли я поддержал гимназисток, то ли просто принял слова моего учителя к сведению. Мне надлежало быть патрулем. Мне надлежало тащиться позадь всей процессии, позадь всего этого спектакля. А впереди меня громыхали два грузовика с пулеметами в кузове. И я думал: а ведь они, то есть власть, очень серьезно взялись за дело. При государе императоре грузовиков бы не было. И я сам тоже не догадался бы в спектакль вставить грузовики с пулеметами.

Одним словом, я, иззябший и голодный, вернулся домой.

А, нет, я забыл в ощущении своего того ничтожества, которое я терпел, следуя за двумя грузовиками с пулеметами, я забыл, что я собрался поместить текст газеты

известий. А он, текст, был написан так. Ими это было названо светлыми похоронами. И вот он, документ.

«Светлые похороны.

От подъезда вокзала к Арсеньевскому проспекту протянулись шпалеры революционных войск с оружием: справа — местный гарнизон, слева — красногвардейцы всех районов с винтовками к ноге. (Прошу прощения за стиль документа, за мое вмешательство в текст. Но читать ложь о том, что войска революционные, — это уж ладно, это уж примета времени. А отношение слов «винтовками к ноге» только к красногвардейцам — это неточность. Все были «винтовками к ноге».) В общий строй войск вливается отряд оренбуржцев. Видны коренастые фигуры матросов с «Гангута». (Они правда были видны, хотя их была горстка.) В проходы между рядами войск строятся со знаменами демократические организации, рабочие союзы, делегации съездов партий. Всюду реют красные и многочисленные на этот раз черные знамена. Перед входом в вокзал — транспарант «Вечная память павшим борцам!» Та же надпись на многих знаменах. «Горе и проклятье убийцам!», «Вы жертвою пали…» (Еще раз вмешаюсь: гимназистки были правы — убийцами были не казаки Александра Ильича Дутова, убийцами были именно те, кого нам в Екатеринбург привезли. И далее по тексту.) «Да здравствует царство рабочего класса!» «Единая власть советов!» Анархисты: «Долой власть и капитал. Да здравствует анархизм!» Милиция: «Вперед на защиту граждан!»

Вынос гробов в 12 часов.

Одна за другой перестраиваются шеренги войск и красногвардейцев и с винтовками на плечах вступают в процессию. (Это надо было видеть, их перестроения «с винтовками на плечах». Хотя мне от крыльца вокзала и не было видно, но часть сумятицы их перестроения я все-таки видел. Печальное зрелище. Я даже подумал, а, черт, возьми, не взяться ли мне их поучить, так называемых запасных и так называемых красногвардейцев!) Два оркестра попеременно играют. (Один оркестр был возле крыльца, а другого я не видел, но слышал его.) Процессию замыкают два грузовика с пулеметами (Вот это правда, оба тихо гремели впереди нас. Я полагаю, излишне объяснять их задачу в сем спектакле.)

Голова колонны у «Лоранжа», а хвост на мосту через Мельковку. (Я не видел того, кто бы шел с нами и писал или брал на память, чтобы потом написать. Ну, да Бог с ними. Итак: хвост там, а мы еще здесь.) Далее по Покровскому, по Уктусской к площади, к братской могиле около бывшего памятника Александру Второму

Стрелка равняется двенадцать двадцать. Похоронный марш. В дверях вокзала показывается первый красный гроб — несут на винтовках. (Пусть это враги, но я взял по команде «на караул».) По команде войска берут «на караул». (Я взял ровно через столько секунд или наших вздохов, которые положены уставом. Войска, пока услышали команду, взяли чуть позже.) Знамена склоняются. Шапки — долой…»

А далее из другого номера газеты — уже о том, чего я не видел, ибо торчал на перекрестке Покровского и Уктусской, ближе к Каменному мосту и со взглядом в сторону нашего дома, где Иван Филиппович явно в сороковой раз в ожидании меня грел самовар, а Анна Ивановна обо мне думала.

Далее вот так.

«Пьедестал памятника в черном коленкоре. Фонари по углам памятника обвиты красным ситцем. Могилы между Кафедральным собором и памятником.

В начале третьего часа голова колонны показалась на Уктусской. Впереди черное траурное знамя. За ним красные гробы и лес черных и красных знамен. Смолкают оркестры. Команда на салют. Выстрелы. Пороховой дым поднимается к небу.

И, глядя на величественно приближающуюся процессию, глубоко верилось, что нет той силы, которая победит восставший народ. И жалки, и смешны казались судорожные попытки темных контрреволюционных сил встать поперек его дороги к царству Свободы и Братства. И скорбь похорон сплеталась с чувством радости за будущее освобожденных братьев».

Потом были выступления нынешней власти. Голощекин заявил: «Их гробы — это величайший символ победы восставшего народа!» Некто Демьянюк пошел во лжи еще дальше. «Мы пойдем против буржуазии, не жалея жизни!» — объявил он. Еще: «Мы построим им, здесь лежащим в гробу, памятник. Но настоящий памятник воздвигнем тогда, когда дойдем до торжества социализма!» Некая дама от лица властвующей партии стала говорить об отсутствии большей любви, нежели отдать жизнь «за други своя», — вероятно, хотела приплести слова Николая Васильевича Гоголя из «Тараса Бульбы». «Мы еще будем пользоваться жизнью, — заявила она, — а они уже отдали ее за нас. Кровь их будет на нас, на наших детях, если мы изменим делу революции!» Выступала потом некая Юровская, то ли жена, то ли дочь Мойши или как его там, Янкеля Юровского. Она понесла бред про какие-то знамена, которые якобы не донесли эти несчастные четыре жертвы. Выступил, судя по газете, и Паша Хохряков. Его слов газета не поместила — видимо, такие были слова. А некий с фамилией Украинцев вообще заявил, что там, под Оренбургом, «трудовой народ встречал их хлебом-солью, а разряженные барышни расчищали снег перед ранеными контрреволюционерами». Куда брели сии раненые контрреволюционеры и откуда там взялись разряженные барышни, чтобы расчищать снег перед ними, — сей оратор этого не сказал. В общем, несли все то, что в «трудовом народе» называется бредом сивой кобылы.

Я бы не стал связывать себя со всем этим кощунством, если бы не видел в нем какой-то нечеловеческой злобы против вымышленных ими контрреволюционеров, то есть против меня, против моих товарищей, полегших под Сарыкамышем, в Персии — да где угодно, полегших, защищая наше Отечество. Я ругал себя. Я говорил себе, черт-де дернул тебя подчиниться корпусному комитету, по сути, настоящим контрреволюционерам, взявшимся уничтожать Россию, черт-де дернул тебя не уйти к Василию Даниловичу Гамалию в его Георгиевскую сотню, не уйти к партизану Бичерахову, где меня не достал бы никакой комитет. А коли дернул, то и тащись за всей этой комедией с гробами, за всем этим революционным бредом, настолько революционным, что посчиталось победившей революцией держать позади своих сынов два грузовика с пулеметами.

Иззябшийся и голодный, я шел домой. Раньше служба была для меня радостью,

она была для меня службой. Раньше я ее любил. А теперь я шел к себе домой и спрашивал себя: «Что? За что? Что это? За что мне, подполковнику русской армии?» — и я не хотел знать, что нет ее, русской армии, что нет России, а есть только Паши Хохряковы, есть только Мойши или как их там, Яши-Янкели Юровские. От их существования, от их службы я не мог уже любить службы, я не мог уже… А что уже, что я не мог, было невозможно сказать.

А дома меня встретила своя контрреволюция. Дома жильцы мои Ворзоновские съезжали. Причиной тому стал выстрел Миши.

— В таком щекотном положении, когда война уже пошла по комнатам, мы быть не желаем! Вы вот тут стреляете, вы вот приказы пишете на гонимых вами же простых несчастных обывателей, — а вот посмотрите таки, кого надо выселять! — дал мне газету известий Ворзоновский.

Я удержался от вопроса, приготовлен ли донос на какого-то их собрата для Миши. Я взял газету и отдал Ивану Филипповичу.

— Айда, айда с Богом! — молился он по поводу Ворзоновских и настороженно смотрел, не взяли ли они чего-либо из нашего имущества, хотя как они могли что-то взять. Они были обыкновенными, как сказал сам Ворзоновский, обывателями. Если их что и заставило смошенничать, так та же революция, обыкновенная безысходность и обыкновенный инстинкт выжить. Вероятно, это понял и Селянин, отчего заставил их только оплатить расходы и штраф, а не отдал их Паше Хохрякову.

Анна Ивановна была в каморке Ивана Филипповича. Она было кинулась развязать мне мерзлый башлык, но смутилась своего порыва. Я же вспомнил брата Сашу после Маньчжурии — так он являлся домой, а матушка и нянюшка выходили его встречать, развязать башлык, повесить шинель, выходили и ждали, когда он снимет портупею, расстегнется, а он целовал им руки и, бывало, плакал от стыда за бездарное, по его мнению, возвращение с войны. Я в это время обычно стоял в глубине гостиной комнаты и видел его героем. Если он меня замечал, то говорил кем-то злобным придуманную про них, воевавших в Маньчжурии, фразу. «Что, Бориска? — говорил он. — Проиграли макакам коекаки!» И я был готов того, кто эту фразу придумал, самого отправить в Маньчжурию, самого заставить понести все тяготы войны и не пускать его домой, пока он не взвоет и не придумает что-то подлинно достойное нашей армии.

— Борис Алексеевич! — остановила свой порыв Анна Ивановна. — Вы раздевайтесь и мойте руки! Сейчас мы будем ужинать! У нас чудесный ужин! А там, — она показала в сторону комнат, — там я все приберу! Вы не думайте! Я все умею!

Я не стал ей говорить, что убирать за кем-то я ей не позволю, что убрать там Иван Филиппович позовет кого-нибудь из соседней прислуги. Я только посмотрел на нее чуть дольше, чем того следует при простом взгляде благодарности.

— Что? — обрывисто спросила она.

Я мотнул головой, мол, ничего, а по мне горячей волной прошло воспоминание вчерашнего — того, как мне было стыдно и радостно думать о ней.

За ужином Иван Филиппович показал на краюху хлеба и сказал, что она

последняя, что муки снова не выдавали. Я вспомнил про Кацнельсона. У нас были на ужин картофель, селедка, чай со сгущенным молоком. У него, как я увидел, были только кипяток и сухари. Я пошел позвать его. И мы стали ужинать вчетвером, совсем тесно, так тесно, что я невольно задевал то локоть, а то вовсе колено Анны Ивановны и затаенно вспыхивал. И только приходилось предполагать, каково было при этом ей. Ужинать было немного. Но ужинали мы долго. Кацнельсон церемонно молчал. Я спросил его о сапогах, имея в мыслях дать ему что-то из нашей обуви.

— Сапоги, — сказал он, не отрываясь от кусочка селедки. — Я так думаю. Я снова буду проситься на Дутова. Вы, как военный человек, знаете, там могут убить пулей или шашкой. Но там-таки сначала обуют, оденут и накормят. А что делает горпродком? Он ничего не делает. Он только ставит справочный стол на самый сквозняк!

— То есть ваше заявление осталось без удовлетворения? — удивился я.

— Его можете прочесть сами. Я вам сейчас его принесу! — сказал Кацнельсон и засадил обе руки в свои кудри, таким образом вытирая их от селедки.

Анна Ивановна запоздало кинулась к нему с салфеткой.

— Что вы, барышня! Этакий салфет следует поместить в рамочку для эстетического развития, а не обтирать об него селедку совсем никому не нужного еврея! — отстранился от салфетки Кацнельсон.

— Ты тут с нами — так это не у вас в совето! Тут шутки не шути, а соблюдай! А то вместо царства социализма напустишь по дому царство вшей, так весь ваш социализм-то того!.. Вошь-то, она!.. — одернул его Иван Филиппович и не удержался выговорить за прошлое: — Без Бориса Алексеевича-то развели тут, что с крыльца начали ходить да валить мимо дыры!

— А мы не тысячи получаем, чтоб мылов-то покупать! — огрызнулся Кацнельсон и, пока Иван Филиппович, пораженный дерзостью, искал сухими губами ответ, успел исправиться: — Мы, сударь, в нашей черте жили так, что все эти чертовские привычки еще долго понесем в социализм! Уж прощу прощения!

— А бедность — не порок! — только и сказал Иван Филиппович.

Кацнельсон ушел. Я спросил Ивана Филипповича, есть ли у нас что из обуви. Бедного старика едва не взяли корчи.

— Да что это, Борис! Может, мне еще его в нашей ванной обмывывать! — зашипел он.

Мне спорить не хотелось. Я решил, что найду обувь сам.

— И дрова, почитай, кончились! — заодно выговорил Иван Филиппович.

Как я уже сказал, прежние прибавки к жалованью на дрова, квартиру, фураж для коня новой властью были отменены. А цены на все росли так, что моя радость от полученного вперед жалованья улетучилась через несколько дней. Денег на дрова у нас не было. И Иван Филиппович это знал. Он посмотрел на меня с победой, будто говорил: «А ведь предупреждал! А вы, барин, то приживалочку приведете, то

советского прощелыгу кормить возьметесь!»

— Хорошо, я подумаю! — сказал я о дровах, лукаво надеясь, что Иван Филиппович обо всем позаботится сам.

Пришел Кацнельсон и сказал, что правильно сделали, выселив Ворзоновских, что они, Ворзоновские и их подруга каторжанка Новикова, «имели платформу частного собственного интереса на наш дом». Я его слова пустил мимо. А на его заявлении в горпродком о выдаче сапог стояла, как ныне стали выражаться, резолюция какого-то из начальников с отсылом заявления к другому начальнику. «Он никуда не годится, к делу относится спустя рукава, а ему сапоги. Его надо дисциплинировать, а не сапоги ему!» — написал начальник.

— Я дам тебе во временное пользование какую-нибудь обувь, а то ходить на службу в одних голенищах действительно нельзя! — сказал я специально для Ивана Филипповича, указав о выдаче обуви во временное пользование. Ясно, что мои маневры не имели успеха. Иван Филиппович сурово поджал губы. Кацнельсон же отчаянно замахал руками.

— Нет, никак нельзя дать мне обуви! Все сразу будут иметь подозрение меня в качестве мошенника! — вскричал он.

— Как знаете! — пожал я плечами, никак не привыкнув к новым правилам подозревать всех и во всем.

После ужина мы не удержались посмотреть на оставленные Ворзоновскими комнаты, то есть кабинет и спальню моих батюшки с матушкой. В описание их состояния пришлось бы вспомнить и поправить место из «Полтавы» Пушкина, где он говорит о Петре Первом. «Вид их был ужасен!» — только и можно было сказать о состоянии комнат.

— Я завтра же все устрою! — сказала Анна Ивановна.

Я запрещающе махнул рукой и повернулся к Ивану Филипповичу:

— Найди, Иван Филиппович, кого-нибудь из соседских!

— А чем платить? — спросил он.

— Тогда — сами! — решил я

И мы вчетвером в веселом азарте до позднего вечера вычистили кабинет, спальню, гостиную, вынесли мебель, вычистили комнату Маши, покамест отданную мной Анне Ивановне, и гостевую.

— Ну, вы, ваше высокоблагородие! — снова крякал на меня Иван Филиппович, видно, полагая, что офицер русской армии и столбовой дворянин обязан был быть бездельником и белоручкой. И потом он крякал мне об Анне Ивановне. — А она-то, Анна Ивановна-то! Вот и барышня! — в одобрительном удивлении крякал он, но в какой-то миг спохватился и в назидании выговорил: — Все одно, Борис, совето — до весны. Найдешь себе из семьи. А то опять служить утрясешься. А ее куда?

Остатком дров Иван Филиппович натопил ванную. Вслед за Анной Ивановной помылись и мы, а потом долго пили чай с сухарями Кацнельсона. Пили чай, брали

лампу и выходили смотреть на будто новые наши комнаты. Было хорошее в нашем доме, и было хорошее во всех нас. В этом хорошем настроении мы наткнулись на газету известий, оставленную с каким-то пожеланием на что-то посмотреть Ворзоновскими, взялись ее смотреть, отыскивая, что они могли иметь в виду. Высмотрели объявление об открытии в доме номер двенадцать на Пушкинской народного детского сада для детей бедных родителей. Иван Филиппович на это, разумеется, не удержался от сентенции.

— Открывают, народ булгачат, а сами весной сбегут! — проворчал он.

Еще нашли рассуждения некоего Ларина о несправедливости прежних, еще времени сволочи Керенского, налогах. «Мы правим уже два месяца, — рассуждал Ларин, — а все еще действуют несправедливые старые налоги на сахар, чай, хлеб, платье и так далее. Отчасти поэтому в стране такая дороговизна. Например, производство сахара в прошлом, семнадцатом году обошлось по гривеннику за фунт, и его можно было бы продавать по пятиалтынному. А мы платим семьдесят пять копеек, то есть в пять раз дороже. И существующий подоходный налог несправедлив. А вот если бы за первые сто рублей дохода брать его пять процентов. За вторые сто рублей — десять процентов, а за тысячу и свыше — сто процентов, тогда бы капиталист, получающий двадцать тысяч, заплатил бы девятнадцать тысяч четыреста рублей. И ему бы осталось шестьсот рублей, как члену правительства, который получает пятьсот рублей оклада и сто рублей квартирных. Вот где была бы социалистическая революционная справедливость».

— Это они нам хотели рекомендовать? — спросил я о Ворзоновских.

— Как же, — сказал свое Иван Филиппович. — Шиш вам капиталист что отдаст! Он фабрику спалит, товар на складу спалит, монопольки нажрется да помрет. А ничего не отдаст.

— Не отдаст. И наша платформа большевиков — все у них взять! — поддержал его Кацнельсон.

Иван Филиппович, в совместной работе было подобревший к нему, посуровел снова.

— У них-то взять. Да вы больше у других, которые Отечеству беспорочно служат, взять норовите да с крыльца, прямо того, ладите! — не удержался напомнить Кацнельсону об его этических изъянах Иван Филиппович.

— Что ж. Это ошибки революции. Она не делается в перчатках! — сказал Кацнельсон.

— Может быть, вот что они имели в виду? — показала Анна Ивановна на заголовок «Ведомость № 1 реквизированных товаров и продуктов».

Мы вперились в эту ведомость. Она перечисляла фамилии горожан, у которых были обнаружены и реквизированы как спекулятивные кое-какие запасы различного товара. Всего интереса в этой ведомости было, что среди пары десятков горожан значилось пять азиатов — четыре китайца и один кореец. Из общего нашего настроения мы стали читать, что же такое прятали сии несчастные азиаты. Значилось реквизированным: «У китайца Ца-цун-фа гильз к папиросам 250 штук,

смятых гильз 25 штук, папирос третьего сорта 180 штук. У китайца Ван-тун-вана рубах летних 97 штук, кальсон летних 62 штук, носков меховых 246 штук, шапок меховых 190 штук, ватных рубах 62 штук. У китайца Цой-мен-хвана (которого в китайцы из корейцев зачислили по ошибке или незнанию) было изъято кальсон теплых 26 штук, молочных консервов 20 банок, горчицы 3 фунта, чаю 5 фунтов, перца 1 фунт, ботинок мужских 60 пар, табаку листового сигарного 23 фунта. У корейца Та-у-ца папирос третьего сорта 325 штук».

— А фронтовику на Дутова и члену партии большевиков нет возможности выдать сапоги! — горько заметил Кацнельсон.

— А ты не ходи ни на кого, сапоги-то да и живот-то сохраннее будут! — ответствовал Иван Филиппович.

— Может быть, именно это они имели в виду? — снова спросила Анна Ивановна.

— Может быть! Да ведь только эти несчастные тем и кормились, что торговали! — сказал я.

— Да уж не капиталисты! — пожалел бедняг и Иван Филиппович.

— Все должно быть социалистическим! — сказал Кацнельсон.

— Вот ты и ходишь в социалистических сапогах, у которых одни голенища! — не преминул отметить изъяны социализма Иван Филиппович.

— Это временные ошибки! — не разменял Кацнельсон свою политическую платформу на сапоги, но как-то неловко тут же ее смял, сказав, что наступит время, и сам Иван Филиппович вдруг может остаться без сапог.

— Отберете — так наступит! — вздернулся Иван Филиппович. — А только, на мой згад, ты и в прежнем режиме без них был!

— В прежнем режиме всей бедноте жилось плохо, не только еврейской! — снова вернулся на свою платформу Кацнельсон.

— А вот я кто, по-твоему? Я трудящий человек или как? — спросил Иван Филиппович.

— Вы трудящийся, хотя и не пролетарий! — сказал Кацнельсон.

— Это как же? Пролетарий лучше всех, что ли? — спросил Иван Филиппович.

Они так затеялись спорить, а я и Анна Ивановна смолкли и ушли как бы в себя, хотя я чувствовал, что мы были полностью снаружи себя, мы чутко ловили не только случайное прикосновение, не только дыхание друг друга, но и ток крови, но и невымолвленные, а вернее, упрятываемые мысли друг к другу. Я могу взять на себя ответственность сказать, что мы оба метались в самих себе, гулко бухали сердцем, когда вдруг теряли общее наше метание или общий наш ток крови, и в потаенном, но сразу же ощущаемом обоими облегчении или даже в обоюдной благодарности замирали, когда его находили. Наверно, было и у нее что-то, что она не могла мне передать. У меня же таковым были молниеносные вспышки всего мной прожитого, к которому я готов был вернуться в любой предстоящий миг, в любую предстоящую

минуту, которой, как следовало понимать, у меня не было. В этих вспышках я был там, со всеми моими, которых разделить или обозначить не мог, — так коротки были вспышки, и так спаянны были они во вспышках. Их невозможно было передать ни словами, ни мыслями. Они были только моими. Их можно было только чувствовать и рисовать себе так, как выходило рисовать сообразно своей чуткости. Я говорю, там было все мое, конечно, не исключая женщин. И у Анны Ивановны, думаю, было так же. Мы были одинаковы.

— Хе-хе! — вдруг в азарте вскочил Иван Филиппович. — Это что ж за совето такое, что все поделить для всех! А если он всю жизнь дырка свисть прожил, а я всю жизнь экономию блюл! А если твои азиатцы тоже на черный день копили, пусть шестьдесят кальсон! Так как же я должен их отдать, когда он дырка свисть, когда он только и знал всего-то одну дороженьку — в монопольку!

— Но вы же не копили их себе шестьдесят штук! — оппонировал Кацнельсон.

— Ладно, кальсон у меня всего пара! Барышня, не смею вас смущать! А чего другого разве у меня нету! Да если бы у меня не было, да при вашей-то совето мы бы все еще до Рождества сдохли! Нет, шиш вам, чтобы Иван Филиппович, который вот их батюшке, — он показал на меня, — верой-правдой восемнадцатый год служит, память его сберегает, да у него чтобы ничего в загание не было! Хе-хе! А видит Бог, маленько-то все есть: и спичек, и мыла, и свечей, и чаю, и крупки, и сольцы, и масла постного! И николаевских рублишек еще при нем самом я скопил! Селедочку сегодня откуда кушать изволили? А оттуда, с базара! А головки-то я вам на стол не выложил — почему? А потому, что завтра мы из них ушицу сварим! Вот и опять день проживем! А ты мне: «Всё — на всех». «Всё — на всех» — это всем с голоду сдохнуть! Да и не будет никогда всё — на всех!

Его вдохновенная речь перебила нас с Анной Ивановной. Я той же молнией отметил: «Ну, старик!» — а Анна Ивановна встрепенулась ладить самовар.

Ночью, не зная как, я пошел к Анне Ивановне. «Если не она, — было во мне об Элспет, — то — она! — было во мне об Анне Ивановне. И во мне же было: а если Элспет, то куда же потом Анна Ивановна?» Видимо, мне вечно было то, что я не умел любить.

Я шел к ней через гостиную комнату и думал, что она, Анна Ивановна, так же слышит меня, как я слышал ее в первую ее ночь у нас. Было всё это с моей стороны пошло, было нечестно, было, проще сказать, подло. Но я шел и ничего не видел, кроме того, как это всё сейчас будет. Я уже взялся за ручку, чтобы отворить дверь. И только медь ручки меня охладила. Кровь сильно ударила в голову и тотчас скатилась. Я вышел на крыльцо и стоял, упершись взглядом в стену двухэтажного соседнего дома, в пустое после спиленных лип место, пока совсем не замерз.

Утром я ушел на службу, а Анна Ивановна к завтраку так и не вышла.

10

А на службе меня ждал Паша Хохряков — не сам, разумеется, а бумага, предписывающая явиться в его ведомство.

— Натворить успел? — неприязненно уставились на меня командир парка Широков и ревком Чернавских.

— Если не под конвоем, а по вызову, значит, ничего не натворил! — вступился подполковник Раздорский.

— Вы не натворили — так уже натворили! — огрызнулся Широков.

Я, видимо, не совсем постиг время, то есть революцию. Я не испугался бумаги, как то, видимо, следовало. «Ворзоновские с их каторжанкой Новиковой!» — только-то я перевел умом. Перевел, усмехнулся да тут же и отбросил. Я не чувствовал за собой никакой вины ни перед кем. Этого мне вполне хватило быть спокойным. Я коротко дернул краешком губ, долженствующим выказать мое отношение к враз случившейся неприязни Широкова, спросил разрешения идти.

— Иди, иди! — ухмыльнулся Широков.

Я вспомнил его анисовые пряники и гнусное — как теперь оказывалось — гнусное предложение взять с оружейного склада револьвер. Раздорский вышел вслед за мной на крыльцо.

— Они вдогонку сказали про то, что я пошел за вами: «Паруются. А недолго!» — сказал он.

Я смолчал.

— Жаль, что мы с вами не сошлись поближе! — сказал он.

— Даст Бог! — пожал я его руку и спокойно, но с вдруг наплывающей пустотой пошел.

«Меня не за что! — было в этой пустоте, будто не пришлось мне испытать всего на дороге от Бехистунга до нашей Второй Набережной. — Меня не за что!» — говорил я себе. И эти слова довлели надо мной. Я не мог допустить, что над ними, над Пашами и Янкелями, довлело другое. «Есть за что, если даже не за что!» — довлело над ними, и это следовало мне понять. Но мой неумный характер мне не давал понять. «Меня не за что!» — говорил я.

Шикарный, может быть, второй в городе после харитоновского дворца особняк винных королей Урала Поклевских-Козеллов, в котором разместился «совето», от этого «совето», кажется, присел, как приседает барышня, прошу прощения, при вспузырившемся от порыва ветра подоле. Он, кажется, даже и вытаращился на город в непонимании того, что с ним случилось, кажется, немо стал спрашивать, за что-де ему такое.

Я обстукал от снега сапоги, показал часовому в рабочей сермяге бумагу.

Он хмуро мотнул головой на двери. Я прошел. Я знал, что пол в передней и лестница на второй этаж в особняке были выложены чугунными с узорчатым барельефом плитами, как водилось стлать пол во всех богатых особняках полвека назад. Но, войдя в особняк, я ни узорочья, ни самих плит под слоем грязи и подсолнуховой шелухи не увидел. Особняк нарочно и с вызовом был загажен. Меж оцепеневшими — верно, от одной мысли, что они вызваны в этот особняк, — меж оцепеневшими бедолагами-обывателями, меж многочисленными конвойными в рабочих тужурках и матросских бушлатах, парами толкающими перед собой несчастных арестованных, я пробился в кабинет, в котором сквозь толпу, окружающую стол, мелькнула матросская форменка. «Паша!» — сказал себе я. Бугристый от мышечной массы, выпирающей через форменку, матрос взял у меня бумагу.

— Вы Хохряков? — спросил я.

— А тебе к товарищу Хохрякову не терпится? — спросил он.

— Да нет. Я думаю, мы друг по другу не скучаем! — сказал я.

— Это верно! Товарищ Хохряков не заскучает! — весело сказал он и позвал сидевшего у печки другого матроса: — Петруха! Проводи-ка господина контрика к Павлу Даниловичу! Очень просится!

«Сволочь!» — село мне на язык, но я вежливо спросил объяснить, по какому делу я вызван.

— Ох, люблю эту офицерскую сволочь! Даже перед эшафотом не вздрогнет! — весело сказал матросу у печки бугристый матрос.

— У Павла Даниловича вздрогнет! — лениво откликнулся матрос от печки.

«Стрелять в лицо будете — не вздрогну!» — сцепил я зубы и отчего-то на миг вспомнил нашу прошлогоднюю ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое февраля под Бехистунгом и слова сотника Томлина про какого-то матроса с транспорта, везущего нас в Персию, которого он вдруг обозвал революцией. Той ночью сотник Томлин спросил меня, как он выразился, вдарить из винтаря по Бехистунгу. «По ком?» — не понял я. «А по революции этой, по Бехистунке!» — сказал сотник Томлин. Я разрешил. Он выстрелил с темноту. И враз в ответ на его выстрел тьма перед нами вспыхнула сильным ружейным огнем. Нападение мы отбили. Я сказал сотнику Томлину об удачно пришедшем к нему желании. «А между ребер вдруг так защекотало, Лексеич, что дух перехватило! — сказал он и прибавил про того матроса с транспорта: — Морда сковородой, глаза маленькие и подленькие, нас ненавидящие. Ну, чисто революция. Так же защекотало дать ему плетей!» Прозорлив вышел сотник Томлин Григорий Севастьянович насчет матросов и революции.

Паша Хохряков обликом оказался пожиже бугристого матроса, хотя тоже был крупен, красив и, сколько можно было понять по глазам, умен.

— Почему ко мне? — хмуро спросил он сопроводившего меня матроса.

— Алайба сказал, к тебе! — сказал матрос.

— Ну и!.. — взглянул на меня Паша и вдруг взвеселился: — О! Да тут и спрашивать не о чем! Она, белая кость, без примесу! И чьих же вы такие будете?

Я сдержался и сказал.

— Инструктор четырнадцатого парка? — переспросил он и ткнул какой-то бумагой. — А у меня все данные, что ты контрик! Ты революционное имущество в виде парковых лошадей продал?

До этого вопроса я все-таки был, оказывается, жутко напряжен, хотя напряжения не чувствовал. А с этим вопросом я почувствовал, как оно с меня схлынуло.

— Разве я похож на барышника? — неумно съязвил я.

— Умничать вздумал, ваше белокостие! — набычился Паша.

От «белокостия» до его «полей Елисейских», надо полагать, расстояние было самым коротким. Я взял свой характерец, как говаривала моя нянюшка в таких случаях, в горсточку. Она, правда, говорила немного иначе. Она говорила взять в горсточку ту часть туловища, на которой обычно сидят. Она так говорила, конечно, не мне, а в разговоре со своими редкими товарками, давая себе при них большей свободы, нежели при мне. Но, бывало, проговаривалась и при мне. Вот так и я взял свой характерец в горсточку и было хотел спросить, о каких лошадях идет речь. Однако путь до «полей Елисейских» оказался совсем коротким. Паша жестом остановил меня.

— Этого, — он махнул рукой в сторону городского пруда, то есть, надо полагать, в сторону дома Севастьянова, ставшего чем-то вроде здания суда. — Этого знаешь к кому!

— Знаю, Павел Ефимович! — кивнул матрос.

— Всё, ваше белокостие! Адью! — сказал мне Паша.

Я понял, про меня, как про того Ардашева, скажут: «При попытке к бегству!» И я сказал: «Будет она, попытка к бегству, — только не такая, как у того несчастного Ардашева!» С вооруженным матросом, идущим сзади меня, мне, пожалуй, было не справиться. Но я сразу подумал об улочке Первой Набережной, выходящей на Покровский едва не рядом с особняком Поклевских. Она вся была застроена плотно прижатыми друг к другу домишками с множеством подворотен, дворов, сараев, конюшен, сенников, амбаров, дровяников и всего прочего хозяйственного, для чего требовалось в городе триста тридцать золотарей. Меж этим всем было много кривых и замысловатых проходов, в которых затеряться можно было и слепому. Я все это знал с детства. Оставалось мне только найти миг и нырнуть в улочку. При городских колдобинах и в сапогах это сделать было непросто. Я постарался скосить глаза на ноги матроса. Обут он был, конечно же, в свои матросские ботинки. Это уравнивало возможности.

— И все-таки продажу каких лошадей вы мне инкриминируете? — в какой-то отрешенности, но, кажется, с мыслью успеть обдумать другой вариант бегства спросил я.

— Ох, люблю офицерей! Выдержка у них, ну, прямо сказать, революционная. Хоть сейчас красный бант на грудь пришей! — весело сказал Паша.

— Пришьем! — сказал матрос.

Он ткнул меня к выходу. Я понял, что моя отрешенность и мое желанье успеть обдумать другой вариант вышли не чем иным, как только опозореньем мундира русского офицера, как некогда выговаривал мне в Олтинском отряде в декабре четырнадцатого полковник Фадеев.

— Этот суркнется в первую же подворотню! Возьми еще кого-нибудь из караулки! — сказал матросу Паша.

— Этот? Этот никуда не денется. Им на эшафот пойти — в честь! — ощерился матрос.

— Дурак! — сказал Паша.

Однако матрос оказывался далеко не дураком. Он прямо с крыльца повернул меня на середину Покровского. И если бы я решился бежать в Первую Береговую, он смог бы без труда меня застрелить с чистой совестью, если, конечно, у революции в лице его и его подельников таковая была. Влево же бежать было некуда. От угла Госпитальной до Каменного моста через Исеть и после моста до Механической шел высокий кирпичный забор вагоноремонтных мастерских, которые по старинке назывались Монетным двором, располагавшимся здесь с восемнадцатого века. Оставалось прыгнуть с моста в реку — но это уж только с отчаяния и на обывательское посмешище. Что-то революция сотворила с народом — и подобного рода картины, как стрельба по мне в реке, а потом тыканье в меня багром, обыватель стал смотреть не только с удовольствием, но и со смехом. Еще в Оренбурге, так сказать, освобожденном от Александра Ильича Дутова, мы познакомились с пожилым казачьим полковником Георгием Максимовичем Нагаевым, прямо на улице едва не упавшим от сердечного приступа. Мы привели его домой, где он предоставил нам ночлег, то есть попросту сказал располагать его квартирой, пока мы не получим проездные документы на поезд. С переворотом, то есть с революцией, Георгий Максимович, разумеется, был отставлен от должности и вообще оставлен без средств. А за сердце он схватился после того, как ему пришлось быть невольным свидетелем расправы рабочих-боевиков из чьего-то отряда, бравшего Оренбург, над четырьмя «буржуями», то есть обыкновенными горожанами. Их раздели донага, связали им руки, выстроили в шеренгу и стали бить штыками в живот. Собралась толпа обывателей и со смехом это наблюдала. Особый смех вызвало то, как один из несчастных, сумевший развязать руки, в момент удара невольно схватился за штык и некоторое время, пока его не оглушили прикладом, не давал себя убить, вернее, даже не убить, а нанести рану, обрекающую на обязательно долгую и обязательно мучительную смерть.

Чему научила революция — так это способам изощренного издевательства, глумления и убийства.

Матрос вывел меня на середину Покровского. Бежать здесь было бессмысленно. Я подумал, что к дому Севастьянова он поведет меня кратчайшим путем по Механической, то есть мимо военного отдела, где вечно толчется масса

бездельной, ленивой, потерявшей, кажется, все навыки службы солдатни. Ею-то и можно будет воспользоваться и дворами убежать на Пушкинскую, потом на Колобовскую и укрыться где-нибудь, а даст Бог, так и у кого-нибудь.

Мы прошли мост. С Механической нам навстречу вышли двое — солдат и матрос, внешне повторяющие нас. Солдат, как и я, был ниже матроса, и, естественно, матрос, как и мой конвойный, был выше солдата. Отличием их от нас было лишь то, что они шли рядом и хотя горячо, но мирно о чем-то беседовали.

Не доходя нас, солдат вдруг споткнулся, тронул матроса за рукав и уставился на меня.

— Стой, полундра! Так это же!.. — показал он своему матросу на меня.

И я узнал в солдате Григория Буркова, того, с кем мы ехали из Оренбурга и потом ночевали в кладовке на нашем вокзале.

— Стой! Тебя за что? — шагнул он ко мне, подавая знак моему матросу остановиться. — Стой! Фамилию твою сразу не вспомню! Да стой ты! — прикрикнул он на моего матроса. — Я член областного Совета, вот мой мандат! — И опять спросил меня, за что я арестован.

— А контра. За то и арестован! — сказал мой матрос.

— Когда успел! — удивился Бурков.

— И успевать не надо! Будто сам не знаешь, как это нынче водится! — сказал я.

— Слушай, Паша, это наш человек, мы воевали вместе, и у него бумага есть, что он оказал содействие революции, он сильно изранен, но наш человек! — стал говорить своему матросу Бурков, снова спрашивая меня, за что я арестован.

— Мне, как конвоируемому, разговаривать не положено! — занесся я.

— А вот сейчас расконвоируем! — сказал Бурков и опять обернулся к своему матросу: — Паша. Товарищ Хохряков, твой же этот мамонт, — показал он на моего матроса. — Прикажи ему!

— Отставить конвой. Куда и за что его? — хмуро и в явном неудовольствии спросил моего матроса новоявленный Паша Хохряков.

— Да Фома водевилю играет. Сел вместо тебя, пока тебя нет, сказал, что ты его за себя посадил, а этого Алайба к тебе послал. Фома, будто ты, отправил его куда обычно! — тоже хмуро и с неудовольствием сказал мой матрос.

— Товарищ Хохряков, пойдем разберемся. Я ручаюсь за него! — стал просить Бурков.

— Полный назад! — сказал моему матросу Паша Хохряков.

Уже в который раз мои заступники Пресвятая Богородица, моя матушка и моя нянюшка вступились за меня.

В кабинете Паши Хохрякова за столом сидел все тот же матрос.

— А, Павел Данилович! А я подумал, пока ты ходишь, зачем буржуям тебя

ждать и мучаться! Все равно к полям Елисейским курс определишь! Так я, это, за тебя его определить сумею! — сказал он.

— Ну-ну, Фома! — хмыкнул Паша Хохряков.

— А что, Павел Данилович! — несколько обиделся матрос. — Ты же сам сказал, когда мы пришли суд разгонять: «Я ни хрена не смыслю в вашей этой… но суд править буду я!»

— Ладно. Дай задний ход! — попросил освободить стол Паша Хохряков.

По разбирательству дела вышло следующее, совершенно для меня неожиданное. Как помнится, я рассказал о парковых лошадях Мише Злоказову, и он посоветовал сдать их в конский запас — посоветовал и даже посодействовал телефонным разговором. Начальник конского запаса некий Майоранов взял лошадей, но, выражаясь языков юристов, вступил в сговор с Широковым. И они сдали лошадей частью на бойню, частью стали продавать обывателям и крестьянам, деля барыш пополам. Кто сделал заявление в ведомство Паши Хохрякова, Бог весть. Обоих незадачливых барышников вызвали для объяснения. Какое объяснение дал Майоранов, мне не сказали. А Широков объяснил, что «никаких лошадей не знает, а всем этим занимался бывший прапорщик Норин, как казачий офицер, явно для лошадей и их дел интересный».

Паша Хохряков хмуро сказал: «Разберемся».

— Вот видишь! Хорошего человека спасли! — хлопнул меня по плечу Бурков.

Паша Хохряков, не глядя на меня, буркнул что-то навроде того, де, и так бы с хорошим человеком ничего не случилось. Было непонятно, был ли он зол на меня или злился на того своего подручного Фому.

— Разводят всякие буруны с форштевня на полубак, наматывают всякий фал на винт! — зло и, кажется, нарочно корабельными терминами заговорил он. Я подумал, что он этак стал ругать своих подручных. Ан нет. Вышло, что я ошибся. Он стал говорить другое. — А хлебнули бы нашей матросской юшки! — стал говорить он. — Адмирал Вирен, кричат, адмирала Вирена матросы растерзали! А о том, как он нас терзал, о том, что его задачей было сделать из матроса скота, о том никто ни-ни! А вот, например, кроме прочих издевательств, у него любимым было в городе при всяких фифистых барышнях с матроса штаны снимать, — этого никто не помнит! «А ну-ка, толокно, яви исподнее на поверку!» — прикажет, и там исподнее хоть белей архангелов будет, клейма на нем хоть клейменей каторжанина будут, прикажет весь устав назубок ему сказать, да чтоб нигде не сбился! А потом отправит в карцер. Толокном нас, вятских, называли, и никаких фамилий у нас не было. Кто «богомазы», кто «толокно», кто еще как-нибудь. И вечно — по мордасам. И вечно — мы скотина, особенно мы, кочегары. А братишка матрос, вам скажу, — это всегда фигура, это всегда Стенька Разин!..

Я, несколько таясь, разглядывал его. Таился я не из страха, а по стеснительному характеру и воспитанию. Все в Паше было как у всех флотских, все было обычно, если за флотскую обычность принимать крепость конституции, то есть крепость телосложения. Не очень хороши были глаза, для крупного лица мелковатые,

загнанные под самые брови и холодные, безжалостные, хотя, может быть, эту последнюю характеристику я говорю под впечатлением рассказов о нем.

— …И этого Стеньку он ставит вот так, столбиком, и приказывает обнажаться! — продолжал Паша. — Лютой ненавистью пылал весь флот к этому собаке! Говорили: «В увольнение на берег отпустили — становись во фронт Виреновой кобыле, то бишь жене, и самому Вирену, старому мерину, а также будь готов потешить свору всех остальных дураков!» — вот так. Он и его приспешники до черной гробовой доски привили нам ненависть к старому режиму! А привили — пожинай! Как говорит наша партия большевиков, мы теперь не ведем войну против отдельных лиц, мы истребляем буржуазию как класс! А ты, Гриша, — он посмотрел на Буркова и потом на меня, — ты говоришь, хорошего человека спасли! Нет, товарищ дорогой! Мы не должны заглядывать ему в душу. Мы должны только спросить его классовую принадлежность и из этого, как из основы, исходить в определении, хороший он или нет!

Бурков невольно взглянул на меня. Минута для меня была — не знаю, как точно определить, — она была обыкновенно оскорбительной. Я сдержаться с ответом не смог.

— Вы общее выводите из частного! — сказал я.

— Общее? Из частного? — с расстановкой и, как бы даже ошеломленный моей дуростью вступить с ним в пререкания, спросил Паша. — А где же частное? — спросил он далее, но спросил уже только в ораторском приеме для собственного ответа. — Вековое глумление над нашим братишкой матросом — частное? Вековое глумление над рабочим и крестьянином — частное? Я, кстати, еще не спросил твою классовую принадлежность, хотя без секстанта и буссоли могу с точностью до секунды градуса определить ее!

— Паша, перестань! Перестань, товарищ Хохряков! — вступился Бурков.

— Ладно! — успокоился Паша. — Ладно. Давай по порядку. Давай так. Нашу матросскую службу откинем по причине ее тобой незнания! Давай возьмем армию! Я в апреле прошлого года целый месяц провел на Северном фронте, прошел его от Двинска до Ревеля! И каждый миг я наблюдал картины того же превращения солдата в скота, что и на флоте. Всем, от генералов до полковых попов, — солдат не кто иной, как только предмет для издевательства. Бессловесная скотина или, как говорили в рабовладельческом строе, говорящее орудие труда, только здесь не труда, а убийства, и не говорящее, а бессловесное!

— А я три года на войне и каждый миг видел картины беззаветного служения Отечеству как рядовых солдат, так и их командиров! — сказал я.

— Мы с разных классовых позиций смотрели! — оборвал меня Паша.

— Пуля или чемодан, — чемоданами, как то было принято на фронте, я назвал снаряды тяжелой артиллерии, — пуля или чемодан не спрашивают классовой позиции! — сказал я.

— Пуля или чемодан, одинаковые для всех, — чистейшей воды буржуазная, то есть классово враждебная, демагогия! А там, где классы, там нет мира! Солдат

слушается классово чуждого командира, пока он слеп, как мокрая кутька, когда он оболванен буржуазной галиматьей о защите Отечества. Нет у угнетенного класса Отечества! Отечество для угнетенного класса — враг номер один! — сказал Паша.

— Товарищ Хохряков! Давай подруливай к делу! — несколько повысил голос Бурков и показал мне взглядом на стол: — А ты давай выкладывай все по порядку: кто, где, как, — а то тебя точно за классового врага запишут, что и сам товарищ Троцкий не поможет! Где революционно отличился, говори, как на духу!

Нигде и никак я революционно не отличался. Я и отчислен был из корпуса за отказ революционно отличиться, то есть за отказ войти в корпусной ревком. Было непонятно, за что я был награжден тем же ревкомом знаком отличия ордена Святого Георгия, то есть солдатским Георгиевским крестом. Сам я это награждение принял как мою заслугу перед ними, моими подчиненными. А что имел в виду ревком, допытываться у меня не было возможности, тем более что в мой последний день перед отбытием из корпуса я в этом ревкоме едва не был поднят на штыки. Такое у меня было отношение с революцией. Моя же бумага с обозначением заслуг перед революцией, о которой вспомнил Бурков и о которой он знал от сотника Томлина, была фальшивой.

— Говори как на духу! — приказал Бурков.

И я единым дыханием словчил и здесь.

— По приказу корпусного ревкома я вывел из Персии для революции шестиорудийную батарею в порт Энзели с последующей отправкой ее на Баку! — сказал я.

— Вот! Вот, Паша! А ты ему шьешь врага номер один! Не враг он, Паша, а пока что не совсем классово зрячий балласт, из которого может выйти хороший революционный кирпич в стене революции! — хлопнул ладонью по столу Бурков и опять повернулся ко мне: — Давай дальше! Как здесь оказался и кем сейчас служишь, говори!

Я ответить не успел. Явно недовольный таким оборотом дела и, надо полагать, ничуть мне не поверивший, а более того, не привыкший оставлять последнее слово не за собой, Паша, перекатив челюстными мышцами, коротко бросил мне слово «Проверим!» и, будто не мне, а Буркову, и, будто не обо мне, стал снова говорить о вреде Отечества для угнетенного класса, о скором охвате революцией всего земного шара.

— Вот наша задача, товарищ Бурков! И если в тебе это не укладывается, то я тебя лично сведу к другу моему Якову Михайловичу, от которого мы сейчас с тобой шли. А чем это заканчивается для тех, кто не с нами, ты знаешь! — сказал он.

— Сведешь! — засмеялся Бурков. — Сведешь и вместе с Яковом Михайловичем шлепнешь! А пока не свел, напои-ка нас чаем! Да давай все-таки с моим товарищем определим!

— Пусть пока служит под твое поручительство. Ответишь вместе с ним головой! Если все так, как он сказал, — милости просим к нам! Нам спецы во как нужны! А если все не так, как сказал, — разговор короток. Вот бумага, — подвинул

Паша мне листок. — Вот, пиши всю свою подноготную!

Чуть забегая вперед, скажу, что с парковыми лошадьми он действительно разобрался. Наши парковые Широков с Чернавских и начальник конского запаса Майоранов были арестованы, а начальником парка неожиданно был назначен подполковник Раздорский.

Вышли мы от Паши вместе с Бурковым. Узнав, что он живет с караульной командой Сто двадцать шестого полка в здании реального училища, я пригласил его к себе.

— Ты написал Хохрякову все, как есть? — спросил он.

И снова — в бою плохое решение выходило лучшим, чем потеря времени в поисках решения хорошего.

— Нет! — сказал я.

11

Мы сходили за вещами Буркова и принесли их к нам. Разговора не получалось. О чем думал он, я не скажу. Я же ни о чем думать не мог. Он оглядел наш дом, церемонно поздоровался с встревоженными Иваном Филипповичем и Анной Ивановной. Я ему показал батюшкин кабинет, спросил, годится ли. Он кивнул, бросил сидор на диван, вздохнул.

— Ладно. Думаю, не дознается! — сказал он о Паше Хохрякове.

Мы пошли каждый в свою сторону. Я увидел, Анна Ивановна посмотрела мне вслед. Возможно, свет играл в окне — увидеть мельком было едва ли, но мне показалось, глаза ее трепетали. «А я не умею любить!» — подумал я. Бурков меня окликнул.

— Вечером расскажешь, как есть! — сказал он.

Я кивнул.

Некогда, еще в академии, нам был зачитан короткий курс об агентурной деятельности армейских офицеров, то есть нас. Этот курс мы не приняли, нашли его для офицера русской армии неприемлемым. Мы пришли к мнению, что офицер русской армии имеет свои вполне определенные функции защиты Отечества. Потому у него должны быть свой определенный строй характера, духовных воззрений и этики. Рекомендуемые курсом методы агентурной деятельности мы сочли возможными только для чинов жандармерии, полиции и пограничной стражи. Мы не ставили себя выше их. Мы признавали за ними специфику их службы и признавали за ними их определенные функции в защите Отечества, которые с их строем характера, духовных воззрений и этики были сочетаемы. Повторяю, мы не ставили себя выше их. Мы не считали себя белоручками. Мы знали, что служить Отечеству и не замарать перчаток невозможно. Но нельзя было замарать — да что там замарать! — нельзя было допустить даже намека на тень, которая бы упала на честь русского офицера в служении Отечеству. Как я послужил ему — судить не мне. Но когда я согласно кивнул Буркову, я вдруг ощутил непередаваемое облегчение. Оказалось, тень какого-то прапорщика военного времени с моей фамилией висела на мне непомерным грузом. Я, по сути, являлся агентом. Я, по сути, скрывал себя, я манкировал своим подлинным чином и именем, я манкировал служением Отечеству. Я кивнул — и будто скинул с себя чье-то тяжелое и грязное тряпье. Я не думаю, что это было моей беспросветной дуростью, порой отличающей мой характер, или усталостью, той солдатской усталостью, о которой я уже, кажется, говорил, усталостью, предчувствием, а скорее, способом накликать на себя смерть и тем закончить мучения, мучения более душевные, непременно превращающиеся в душевную болезнь.

Своим кивком пусть поздно, но я вернулся в службу, в служение если не государю императору, то Отечеству, вернулся в то, что я единственно мог делать — служить.

Я не оговорился, когда употребил в отношении государя императора словосочетание «если не». Все время, начиная с телеграммы об его отречении, подписанной неким князем Львовым, я непрестанно думал о государе, об его отречении. Я думал и вместе с ним, уже сделавшим шаг. Я думал за него, как бы шага еще не сделавшего. Я искал иное решение, которого, собственно, искать-то было нечего. Он не имел права отречься от престола, то есть от всех нас. Он обязан был понять, что оставлял нас, что он бросал нас. Он сам делал своим отречением революцию. Искать иного решения было нечего. Но как влюбленный человек ежеминутно переживает свою любовь, будь она счастлива или несчастна, так я непрестанно искал государю его иное решение. За все время от его отречения и до сего дня я наслушался о нем всякого. Это всякое было мерзостным. И мерзостными были те, кто эти мерзости говорил. А говорили едва не все. Говорили с непонятной злой радостью и злым восторгом, будто бросая его в пучину гибели, не понимали, что в ту же пучину падают сами. Говорили едва ли не все. Все считали своим долгом говорить, вероятно, считая это единственным долгом перед Отечеством. За все время я не сказал о государе ни слова — ни в защиту его, ни в осуждение, хотя я умом постиг, что нынешняя действительность была порождена его отречением, этим его трусливым шагом, а возможно, вообще всем его трусливым или еще каким-то, но ненадлежащим правлением. Но что было с того, что я это постигал умом! Сердце-то этого постижения не вмещало! Более того, я понимал, что каждый, кто говорил о нем мерзостное, говорил ненавистную, но правду. Но я понимал и то, что, так говоря, он начинал сходить с ума. Он душевно заболевал. Произнесенная эта ненавистная правда обращалась против него самого, превращала его подлинную или мнимую ненависть в душевную болезнь. Все в России стали душевнобольными. Покарал ли Бог, вмешался ли Сатана — различия в том не было. Но истребить своих сограждан, назвать их чуждым классом — это было душевной болезнью. И эта душевная болезнь была одинаковой с той солдатской усталостью, которая вызывала душевную болезнь и которая следствием имела смерть. Мое служение смерть остановить не могло. Мне оставалось умереть вместе со всеми.

И впервые сказанное словосочетание «если не» по отношению к государю императору имело смыслом только то, что я, что мы, русские офицеры, не в полной мере отслужили Отечеству — не заставили государя сказать душевнобольному народу в момент его требования отречься от него же, от народа, резкое и решительное «нет».

Кивнув Буркову, я стал самим собой. Бурков мог обо мне сказать Паше и Яше. «И черт с ним!» — сказал я. Это было подло — так думать о человеке, которого я не знал, но которому доверился. Однако же не всегда мы кристаллизуем свои мысли и чувства, даже если того хотим. Я так сказал, но следом отчего-то сказал, что он никому ничего обо мне не скажет.

В парке я застал смятение. Оказалось, командира парка Широкова и ревкома Чернавских вызвали туда же, куда они меня с ухмылкой выпроводили несколько времени назад.

— Что? Как? Говорите! — выразил общий немой вопрос подполковник Раздорский.

— Ich melde gehorsam, Herren, der Militar Norin erklart sich zum weiteren Dienst bereit! (Я имею честь доложить, господа, военнослужащий Норин к дальнейшей службе готов!) — съёрничал я.

— Что? Да бросьте нас дурачить, Норин! Что? Говорите же скорей! — вскричал подполковник Раздорский.

— А что, собственно, вы желаете услышать? — продолжил я дурачиться, чувствуя, что, кроме того, что меня вместе с моим классом служивых собрались уничтожить, мне сказать нечего.

— Ну, как же? Все обошлось? Почему вызывали? — в нетерпении дернул щекой подполковник Раздорский.

— Вопрос о наших парковых лошадях! Взяли объяснение и отпустили! — сказал я.

— Так ведь же их в конский запас взяли! Я два дня с передачей возился! — вскричал заведующий хозяйством Лебедев.

Я пожал плечами.

— Разъедрит ее, ерёму! Ведь и меня потащат! — запереживал заведующий хозяйством Лебедев и, как бы спрашивая у меня поддержки, ожидая от меня слов, что его не потащат, едва не с мольбой стал говорить мне: — Вы же помните! Мы же вместе были! Вы еще меня обругали, сказали: «Нет на вас казаков!» — а я вспомнил, как в японскую войну казаки эскадроном полк вырубили!

Я помнил все. И сейчас я вспомнил, как со станции, от лошадей, я пошел к Мише Злоказову в военный отдел, и как у него от моих слов об этих лошадях в глазах замелькала искра потомственного заводчика. «Неужели и он замешан?» — пронеслось по мне, но тотчас исчезло. Миша был дураком. Миша, возможно, был кокаинистом. Но вором я его представить не мог.

— Вот же четырка! Вот четырка! Неужели что натворил? — продолжал свое переживание и говорил о Широкове заведующий хозяйством Лебедев.

— Вам спасибо за ваше участие… утром! — поблагодарил я подполковника Раздорского и, чтобы смягчить мое прошлое неприязненное к нему отношение, спросил, нет ли у него в родственниках полковника Раздорского, начальника тыла нашего корпуса в Персии, человека, много сделавшего для тыла.

Оказалось, нет, они были только однофамильцами.

— А как там? Что? Вы не могли бы рассказать подробнее? — снова спросил он.

— Кажется, только — чудом! — сказал я о своем освобождении.

— А вам Широков не предлагал револьвер? — в волнении спросил он.

Я вспомнил, что обещал заведующему ружейной комнатой военного отдела почистить пистолет «Штайер». «А вот я… — подумал я о том, что пистолет возьму и не верну. — Вы нас как класс… И мы вас как класс!» — сказал я Паше Хохрякову и Яше Юровскому и вообще всем, кто с ними. А Раздорскому я сказал, что Широков мне не предлагал ничего, разве что только чай с анисовыми пряниками. Я не знал

Раздорского и, уже наученный, довериться ему не мог. Но, кажется, я покраснел, солгав. Он со вниманием посмотрел на меня и сказал, что Широков револьвер предлагал и ему.

— Надеюсь, вы не взяли? — спросил я.

— И не взял, и сказал об этом только вам, да и то только в связи с этими обстоятельствами! — сказал он.

— И все же как вы лошадей привели к такому состоянию? Ведь вы же офицер! — сказал я.

— Вы будто не видите ничего вокруг! Да меня бы с поезда на ходу сбросили да вдогон из винтовок пальнули! — усмехнулся он, оглянулся на заведующего хозяйством Лебедева, секретаря ревкома Брюшкова, приклонился ко мне: — А в целом, это теперь их имущество. И вредить им надо везде! — прошептал он.

— Да лошади-то при чем! — едва не вскричал я.

И всплыла на миг картинка боев на Бехистунге. Я выдвинулся корректировать огонь на саму скалу. Обзор был превосходен. Но я увидел совсем близко, в полуверсте расстояния, закрытую от моих орудий лощину и втягивающуюся нам во фланг партию курдов. Бинокль приблизил их так, что можно было тронуть их рукой. Кони были прекрасны, сухоноги. Их несколько свислые крупы казались мне сверху маленькими столешницами, на которые, казалось, можно было поставить прибор с супницей. А курды втянулись в лощину. Я сказал в телефон их место. Через несколько минут партия была рассеяна. Я не взял греха на душу определять, сколько их осталось лежать в лощине.

— Да лошади-то при чем? — спросил я, а он, кажется, меня не понял.

Ближе к вечеру я пошел в оружейную комнату военного отдела. Заведующий меня узнал, подал мне «Штайер», масленку, ветошь и ведро с патронами, сказав, что там, вероятно, отыщутся патроны и к «Штайеру». Я перебрал все ведро. Нужных патронов не нашлось. Я сказал заведующему сходить на гарнизонный арсенал в Оровайские казармы.

— Да что ж такое-то! Нету — и нету! — отмахнулся он.

— Жалко! Интересно было бы пристрелять его! — совершенно искренне пожалел я.

— Наплевать на все! Домой бы скорее! — сказал он.

— Когда же домой? — спросил я.

— А вот шиш домой, дядя! Кому на двадцать пятое января исполнилось тридцать один год, этих приказом увольняют! А мне тридцать один — двадцать шестого января! И теперь мне — шиш. Мне теперь — до морковкиного заговенья! А то еще в эту сицилист… черт ее, в Красную армию к Хохрякову заберут! — заругался заведующий, потом с надеждой посмотрел на меня. — А ты, дядя, ведь из начальников! А помоги мне, а! Может, можно меня, а? А я тебе его отдам! Я же вижу. Он тебе нравится, ты же толк понимаешь! — он подвинул мне «Штайер». — Я

и в Оровайку сбегаю за патронами. Я и из описи его изыму. Тут в описях сам Керенский заскучает! Страну под кобылью трещину подвел, а тут самоваром запыхтит — а шиш ему! Тут в описях он не справится. Бери, дядя! Чего там! На день позже родился, а теперь как та мандрагора, сладкая-то сладкая, да с ее задуришь!

— Из поповичей? — определил я его сословие по его знанию мандрагоры, растения библейского.

— Здешние мы, с-под Быньгов! — признался он. — Я под деревенского фуфыря строю, чтобы не прознали, что из поповичей! Я и какой харч могу — вам. Родитель привезет! — смотрел он на меня с надеждой.

Я же мог ему помочь, если мог, то только через Мишу Злоказова. А Мишу Злоказову, друга моего, видеть мне совсем не хотелось.

— Не знаю, братец! — сказал я, а он принял это как надежду.

— Я вам патроны принесу, тогда и возьмете! Да, может, когда и укрыться вам припадет, так у нас на заимке куда как укроетесь! — обрадованно обещал он.

— Не знаю! — еще раз сказал я и спросил его фамилию.

— А Камдацкие мы, Григорий Семенович! — назвался заведующий.

— Ну, вот опять Григорий! — вспомнил я сотника Томлина и Буркова.

Домой Бурков задерживался. Мы ужинали без него и опять вчетвером. Мне было стыдно перед Анной Ивановной за свой ночной полувизит. Я не нее не смотрел. Кажется, не во гневе или обиде, а только в ответ она тоже не смотрела на меня, но не смотрела так, что умудрялась не смотреть и одновременно смотреть. Я это почувствовал и попытался сделать по ее. У меня получилось. Глядя этаким образом, я увидел, что она смущена моим смущением, а не моей ночной выходкой. По крайней мере, я так определил. Это мне придало храбрости. «Какова!» — сказал я как бы в осуждение. Но ах, женская природа! Анна Ивановна меня тут же раскусила и тотчас — полагаю, что артистически, — замкнулась. Собственно, она, как барышня, и должна была это сделать. Но я рассердился. «Вертушка!» — назвал я ее.

— Что с сапогами? — спросил я Кацнельсона.

— Скажу, что мне-таки остается сделать заявление в Красную гвардию! — сказал Кацнельсон.

— И против кого же будет твоя гвардия? — ехидно спросил Иван Филиппович.

— Там, дедушка, как прикажут, так против того и будет! Бесплатные сапоги и харч не начертал на своих скрижалях даже сам Моисей! — сказал Кацнельсон.

— Так хотя бы наши старые валенки возьми! — предложил я.

— Это мне зачтут за выговор. Начальник горпродкома и в ячейке объявят про Кацнельсона как про пархатого жида, имеющего вполне товарные валенки, а таки претендующего на общественные революционные сапоги! — опять отказался Кацнельсон.

Бурков пришел очень поздно с кирпичом черного хлеба под мышкой, скинул шинель и из кармана брюк, как ручную гранату, вынул бутылку подсолнечного масла. Иван Филиппович было хотел возликовать, но вспомнил, что все от «совето».

— Ну, Иван Филиппович, кто же у нас будет Борис Алексеевич? — подмигнув мне, спросил Бурков за супом из вчерашних селедочных голов.

— А то и будет, что первый защитник Отечеству! А как уж у вас ныне, так я того не знаю! Поди, сморкаетесь да об него пальцы вытираете! А таких-то, как наш Борис Алексеевич, надо для будущих народов в фотографической карточке в пантеон представлять! — сказал Иван Филиппович, конечно, обоих нас с Бурковым поразив знанием слова «пантеон».

— Это хорошо. Защитники всем очень нужны! — сказал Бурков.

— Не очень-то вы соблюдаете их! Раненый, контуженный, перемороженный на защите Отечества, да такого надо на аэроплане с почестями привезти, а он пришел в солдатской шинелишке с пустым сидорком! Очень он вам нужен! — огрызнулся Иван Филиппович.

— Ничего. Все перемелется. Все примет стройный порядок! — сказал Бурков.

И потом, устроившись в кабинете моего батюшки, Бурков выслушал меня, так сказать, подлинного. Я не скрыл ничего. Он ни разу не перебил, только спросил еще попотчеваться кипятком. Самовар еще не остыл. Я принес. Иван Филиппович выдал откуда-то, едва не из-под своей постели, два осколка сахара.

— Хоть совето, а с сахаром-то, поди, добрее будет! — пробурчал он.

После долгого молчания Бурков сказал, что мне надо и дальше играть роль прапорщика военного времени.

— Не то сегодня время, чтобы открываться, — сказал он. — Можно вполне заурядно угодить под метлу. Раскрыт офицерский заговор. Я всего не знаю. Но они хотели выступить в момент митинга на Кафедральной площади. Кто-то их выдал. У них сорвалось. Утром Хохряков докладывал Голощекину, откуда мы и шли вам навстречу. Сказал он только, что был взят представитель атамана Дутова здесь, в городе, какой-то подъесаул, имени Хохряков не назвал, ну и еще кое-кто. Обыски идут по всему городу. Так что понимаешь сам. А это твое открытие насчет всеобщей сдурелости, всеобщей душевной болезни — это, брат, визг трясущейся от страха буржуазии. Брось это. Не умствуй. Не все, конечно, так идет, как надо. Но, видно, по-другому пойти не может. Слишком отсталая мы страна.

— Пятое место в мировой экономике на тринадцатый год! — возразил я.

— Отсталая по общему народному богатству! В курных избах да в подвалах народ живет! — сказал Бурков. — А пятое место потому, что шестого нету. Пятое, потому что дальше — огромный разрыв. И от четвертого места тоже огромный разрыв. Вот вроде бы и в передовых, а отсталые. А Маркс… Знаешь такого? Ну вот, Маркс говорил, ну, то есть писал, что революция на упразднение частной собственности и установление собственности общественной, когда фабрики — рабочим, нивы — крестьянам, и вообще старый мир — по шапке, такая революция

может случиться в отсталой стране, но она тащит за собой опасность, что она выродится в простой передел чужого добра, в это «грабь награбленное!». Вот потому и нужна диктатура пролетариата, нужны Хохряков, Юровский и другие. Ты же видишь, что творится вокруг. Как это остановить при том, что революцию начинали не мы, не большевики и даже не эсеры с монархистами, не товарищи Троцкий и Ленин. Ее начал сам эксплуататорский класс. Сначала войну развязал, думал на ней озолотиться, будто и без нее не в золоте жил. А потом, когда увидел, что страна к войне не готова, что все полетело кверху задницей, затеял игрища с властью. Но и на это, как и на войну, толку не хватило. Изжил он себя, эксплуататорский класс. В агонии он. И нечего эту агонию ему продлевать. Прикончить его — наша задача. А он приконченным быть не хочет. Опять, получается, нужны товарищи Хохряковы и Юровские. И тут они нужны, и там они нужны. И против темной массы, которые «грабь награбленное» только понимают, нужны. И против эксплуататорского класса, который грабил и теперь с награбленным расставаться не хочет, хотя в могилу его не возьмет, они нужны. Вот как шуба заворачивается.

Я спорить не умел. Говорить на отвлеченные темы и отвлеченными понятиями, выстраивая их в необходимый логический порядок, я не умел. Вернее, я выразить словесно это не умел. Бурков говорил складно, со своей логикой. Не разбирая ее на составные части, не вдумываясь в нее глубоко, этой логикой можно было увлечься. Бурков хотел иной миропорядок. Это было понятно. Он его собирался строить посредством своей революции против той революции, которую затеял сам, как он выражался, эксплуататорский класс. Его революция должна была воевать, как Германия, на два фронта. Она должна была воевать и против революции эксплуататорского класса, свершенной неизвестно для чего, если не брать во внимание обычные низменные человеческие страсти. И она должна была воевать против «темных масс», то есть против своего народа, представляющего опасность, как он сказал, выродиться в передел собственности, в «грабь награбленное». Для такой войны стала необходима диктатура пролетариата в лице Хохрякова, Юровского и других. В отвлеченных рассуждениях это было понятно, как бывает понятен всякому нижнему чину армии приказ взять такой-то город. Что же тут не понять — взять его, и всё! Непонятным становится совсем простенькое — как и какими силами, чем, с кем и в какие сроки взять. Столько же много непонятного выходило и из логики Буркова, надо полагать, не его личной логики, а логики, ему внушенной. Если диктатура пролетариата, то почему этой диктатурой руководит матрос Хохряков, владелец фотографии Юровский, владелец будки для чистки обуви Брадис, уголовники Цвиллинг и Прокопьев — это, если вспомнить Туркестан. Почему ею руководят все, кроме самих пролетариев, к которым, вероятно, надо причислить и меня, если и не производящего продукт, то оберегающего производителя!

— Гриша, а ты чьих происхождением будешь? — спросил я вопросом некоего матроса Фомы.

— Я-то? — сразу понял меня Бурков. — Я из земских учителей: история, география, русский язык — одним словом, общественные гуманитарные науки. А вот сказал слово «гуманитарные» и почти дословно вспомнил то, как говорил

Маркс. Вот: «Подлинное упразднение частной собственности имеет смысл только тогда, когда оно свершается духовно развитыми, совестливыми людьми, которые уже переболели жаждой богатства. Нет ничего омерзительнее, чем желание люмпена обладать тем, чем обладают другие, расправиться с тем, чем не могут обладать все. Он теряет дар гуманитарного подхода к человеку и истории, когда оказывается во власти своей теории революции и диктатуры пролетариата». Вот так сказал Маркс!

— То есть упразднение частной собственности должно свершаться мной! Я с рождения не болел никакой жаждой богатства! — весело воскликнул я.

— Хы, тобой! — фыркнул Бурков, почувствовав некий изъян в своих, то есть своего кумира, словах.

— А ты его читал в подлиннике? — спросил я.

— Какое! Я и в глаза-то ни его, ни его трудов не видывал, — сказал Бурков.

— А как же берешься цитировать, более того, исповедовать? — спросил я. — Этак в старину наши священники, не видавшие ни разу ни Ветхого, ни Нового заветов, толковали их, как могли! Всех можно было зачислять в еретики да тащить на костер!

— Еретики твои еретиками. Может, они и брехали за здорово живешь. Черт с ними. А только я все взял от людей, прошедших не университеты и академии, а тюрьмы. Вот тебя я еще в поезде отметил, никакой ты не прапор военного времени, ты кадровый и именно штаб-офицер, как оно и оказалось. Но я отметил и другое. Я видел, как с тобой обходился казачий сотник Гриша, фамилия выскочила. Он тебя лелеял и холил не за страх, не за службу, а за что-то такое высокое, что… сказать не могу. Вот это-то во мне отложилось. Потому-то сегодня я за тебя вступился. И в тех, кто меня учил марксизму, тоже было такое высокое, что… сказать не могу. От них я эти слова Маркса знаю. Они мне говорили: «В тюрьму наш брат попадает не страдать и не отдыхать. В тюрьму наш брат попадает учиться». Почти в каждой тюрьме старанием местной политической организации, ты бы знал, была своя библиотека и не только с Ветхим заветом, а такими книгами, которых на воле днем с огнем не сыщешь Там тебе были и Карл Маркс с Карлом Каутским, там тебе были и Кропоткин с Бакуниным. На любой вкус.

— «Записки революционера» князя Кропоткина где-то и у нас в библиотеке есть, еще батюшка мой покупал! — неумно вставился я.

— Что там князь Кропоткин, вождь анархистов, понаписал, я не знаю. А вот его анархисты просто дурят, просто издеваются над революцией. Вот вчера вышел я из редакции «Известий», иду домой к себе в караулку. На углу Покровского и Тихвинской подсовывает мне некий тип бумаженцию. Я взял — все на закрутку сгодится. Дома в караулке читаю — анархисты! Вот послушай, сохранил, сгодится против них же! — Бурков достал из кармана гимнастерки мятый листок. — Вот, «Анархический манифест» называется. Его как раз бы Ивану Филипповичу зачитать. «Угнетенная национальность, освободись! Уничтожь отечество! Уничтожь — и не будет больше ни твоей России, ни его Германии! Отечество есть грабеж и разбой. Твори анархию!.. Женщина! Сбрось с себя цепи воспитания детей.

Уничтожь домашнее хозяйство и домашнее воспитание. Будь человеком!.. Заключенные, кандальники, преступники, воры, убийцы, поножовщики, кинжалорезы, отщепенцы общества, парии свободы, пасынки морали, отвергнутые всеми! На пиру жизни займите первое место!.. Деревня! Пусть деревня станет городом, а город деревней!.. Учащаяся молодежь! Исключите из школы религию и науку, культуру отцов! Создайте вашу культуру, культуру анархии!..» — и в этом духе дальше. Вот это что, революция?

— Ты меня спрашиваешь, товарищ Бурков? — усмехнулся я.

— Темная ты масса, штаб-офицер Норин! Я тебе всю сложность момента показываю, а ты кочевряжишься! — как бы выговорил мне Бурков и, завершая разговор, еще раз посоветовал оставаться в личине прапорщика военного времени и учителя. — Говори, что учительствовал в этом своем Батуме, что ли. Туда теперь никаким стуком не достучаться. Не прознают! И мой совет — не лезть в революцию, раз ты ничего в ней не понимаешь! Можешь в такое вляпаться, что уже никто не поможет. Тонкое это дело, революция, очень с кровью связано!

— Но, Гриша, если твой Маркс говорит, что нет ничего более мерзкого, чем жажда черной массы прихватить чужое, что же вы взялись за это? — спросил я.

— А то, дорогой мой Боря, что ждать, когда эта черная масса посветлеет, только дурак согласится. Это же века надо. И черт знает, что за эти века произойдет. Может, эта масса не только не посветлеет, а и еще в большую тьму ухнет. Ей что, массе-то! — хмыкнул Бурков и снова посоветовал мне не лезть в революцию. — Я знаю, что говорю! Маркс пусть там, в Европах, марксует. А мы тут, в России, ждать ленинмся! Мы мир переустроить тотроцкимся! — сказал он, специально и со смаком выговаривая каждую букву своих неологизмов, произведенных от имен своих вождей.

— Власти хочется? — спросил я.

— Мне-то нет, — сказал он. — Мне и революции не хочется. Учительствовал бы себе. А вихрь захватил.

— А если потороцкпитесь да Россию вообще с карты мира стереть не поленинтесь? — спросил я.

— Не будет такого! — сказал он.

12

Так прошел февраль, и перевалило наконец в март. Перевалило, ухнуло, как в яму, на которую не хватало трехсот золотарей, — и катиться невозможно, и остановиться нельзя.

А март, месяц март, — время беспредельной и беспорочной чистоты неба, такого неба, что впору заинтересоваться им Паше Хохрякову. Божественная по своей чистоте синева, глубина до простоты беспредельная, настолько единая и густая, что мерещится вместо солнца прожженная походным углем дыра. Снег по утрам пылает белым пламенем. Зябко по утрам и хрустко. Но к полудню так пригревает, что одолевает скинуть папаху и присмиреть, будто на кладбище.

Событий февраля и марта было много. Широков и Чернавских из лошадиного дела выпутались, им оно обошлось только отстранением от командования парком. Начальником его совершенно неожиданно был назначен Раздорский, которому Широков только и сказал: «Подсидел, сволочь! Ну-ну. Не надолго сел!» — и не стал сдавать дела, а сразу же ушел в эскадрон связи. А вот начальник управления конского запаса Майоранов, председатель ревкома и делопроизводитель были приказом отправлены на гауптвахту, а потом переданы Паше Хохрякову. Они, оказывается, продавали лошадей на сторону, а наших, парковых, по их дохлости просто сдали на бойню, откуда бдительный комиссар — тот же ревкомовец — сообщил куда следует.

Что я составил себе о положении в стране и в городе за эти два месяца? Могу сказать, что деятельность, борьба за выживание новой власти, пусть и преступной, заслуживает особого внимания. Ее методы деятельности назвать борьбой за выживание можно было только с большой долей условности. Она действовала правильно. Она постоянно атаковала. Она постоянно действовала жестко. Она не останавливалась ни перед чем. Она не сидела сложа руки. Это так же, как командовал Сибирской казачьей бригадой наш генерал Раддац Эрнст Фердинандович. Как-то прибывший к нам в Персию офицер-кубанец сказал про него: «Мы с сибирцами встретились зимой шестнадцатого под Эрзерумом. Э, — сказали они, глядя на нас, — ваша-то служба против нашей просто тыловая. Вы и отдыхать время имеете. А наш командир нас без продыху по турецким тылам водит, все ему надо разведать, все ему надо везде быть первым!» Так и новая власть каждый раз оказывалась против своего противника первой. Вот простое перечисление событий, простое перечисление дел, с которыми ей приходилось сталкиваться и от которых вроде бы должна была у нее пойти голова кругом, и она должна была бы рухнуть или махнуть рукой и впасть в разинщину. Она же все это время действовала целенаправленно, продуманно, методично, конечно, по-разински жестоко и безжалостно, но, в отличие от него, с постоянным заглядыванием вперед.

Вот — некоторые события, которые я привожу без определенного порядка, вразброс, как бы показывая их хаос. Но и в хаотическом беспорядке они тем не менее говорят о продуманности этой новой власти, действующей далеко не на авось.

1. За несколько дней до моего приезда в город она, новая власть, сообщила о заговоре против нее со стороны правых социалистов-революционеров. В сообщении указывается, что партия правых социалистов-революционеров призвала к вооруженному восстанию. Из губернии, то есть из Перми, в Екатеринбург была послана телеграмма в местный комитет этой партии с приказом поднять восстание, и «Екатеринбургский комитет принял меры к распространению погромных воззваний». Власть немедленно произвела аресты. Выступление сорвалось.

2. Об учреждении революционных трибуналов я уже сказал.

3. 30 января 1918 г. Воззвание новой власти по поводу состояния русской армии: «Всем, всем, всем! Немедленная помощь! Армия гибнет от голода! Подвоз продовольствия прекращается. Многие полки совершенно без хлеба. Конский состав без фуража. Делайте все вплоть до трудовой повинности и сокращения пассажирского движения для закупки и подвоза продовольствия для армии!»

4. 7 февраля 1918 г. Боевые действия против польских легионеров в Смоленской губернии, на Дорогобужском, Ельнинском, Рогачевском направлениях.

5. 14 января 1918 г. Приказ областного министерства юстиции И. Голощекина. Что обозначает инициал «И», я до разъяснения Буркова не мог предположить. Оказалось, он обозначает имя «Шая», отчего получилось читать не «Приказ И. Голощекина», а «Приказ ШаИ Голощекина». Относить эту маленькую шараду к числу революционных я, по совету Буркова не лезть в революцию, не стану. Итак, приказ: «За неподчинение Областному комитету увольняю от должности председателя Екатеринбургского окружного суда В.Н. Казембека, товарищей председателя Н.Н. Глассона, П.К. Вознесенского, членов суда (за сокращением времени перечислять их не будем. — Б.Н.), прокурора суда Гордонского и товарища прокурора М.Н. Новикова. Всех с 1 января 1918 года без права на пенсию».

6. 24 января 1918 г. Объявление о переходе с 1 февраля сего года на новое время принято по телеграфу.

7. 17 февраля 1918 г. «Всем местным советам, железнодорожным комитетам вменяется в обязанности самая решительная борьба с мешочничеством, создаются летучие и постоянные отряды на узловых станциях… От конфискации освобождаются личные продовольственные запасы в целом не более полпуда, в том числе: мука и хлеб 10 фунтов, масло 2 фунта, мясо 3 фунта. В случае сопротивления с оружием расстреливаются на месте».

8. 13 февраля (то есть 26 по новому времени) 1918 г. Декларация прав народов России, п. 1. Право на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Ст. 36 Основного закона о социализации земли. В целях борьбы с чересполосицей, тормозящей развитие сельского хозяйства, земли как коллективного, так и единоличного пользования должны отводиться по возможности к одному месту… Примечание 3. Право на пользование землей (недрами, водами, лесами и живыми силами природы) не может никоим образом и ни при каких обстоятельствах приобретаться ни куплей, ни арендой, ни путем дарения и наследства, ни вообще путем какой бы то ни было частной сделки».

9. Сообщение из Петрограда. «В 20-х числах января ЧК по охране Петрограда

получила сведения, что существует организация с целью увезти В.И. Ленина из Петрограда в качестве заложника. Получены сведения, что в Перекупном переулке, дом 8 квартира 17, у проживающей торговки О.В. Саловой (Ивановой), нередко собираются военные, которые обсуждают этот вопрос… В ночь на 22 января были произведены аресты в Перекупном, на Забалканском проспекте дом 21, квартира 43. Арестованы подпоручик Ушаков, военврач Некрасов, капитаны А.М. Зинкевич, П.В. Некрасов, вольноопределяющийся Н.И. Мартьянов. Главное действующее лицо, председатель союза георгиевских кавалеров Осьминин ушел. На следующий день латышские стрелки окружили помещение союза георгиевских кавалеров на Захарьевской улице, дом 14 и арестовали всех там присутствующих. Найдены бомбы, ручные гаранаты, винтовки, шашки. Все доставлены в Смольный, в комнату 75. Выяснилось, что собрались взять Ленина, зная, что он будто бы часто ночью приезжает на квартиру В.Д. Бонч-Бруевича в Херсонскую улицу, дом 5/7… Осьминин был в близкой интимной связи с Саловой…»

10. 6 февраля 1918 г. Сообщение о том, что, например, в Верхотурском уезде собственных жителей только около 90 тысяч, а приехало в последние годы сюда около 500 тысяч, что, естественно, вызвало сильный голод.

11. 28 февраля 1918 г. (нового времени). Согласно решению ЦИК и Петроградского совета, 24 февраля в 4.30 утра СНК постановил условия мира, предлагаемые германским правительством, принять и выслать в Брест-Литовск делегацию. Ленин, Троцкий. Вчера в 10 вечера делегация выехала».

12. Обязательное постановление Екатеринбургского совета. В связи с мобилизацией революционных сил Урала, исполком постановил обложить местных капиталистов на сумму 10 миллионов рублей в трехдневный срок. В случае неповиновения — имущество конфисковать, арестовать и предать суду революционного трибунала наиболее крупных капиталистов.

13. Городское самоуправление распускается.

14. Резолюция областного комитета партии левых эсеров. Партия левых эсеров в связи с условиями мира, предложенными Германией, объявляет всем врагам советской власти, что все выступления против последней, в чем бы они ни выразились, будут караться вплоть до личного террора боевыми силами до полной победы Красного Интернационала».

15. 15 февраля 1918 г. (прежнего времени). Получены сведения, что в различных кафе города устраиваются собрания прапорщиков-контрреволюционеров. Есть в них и прибывшие от Дутова и Каледина. 13 февраля вечером отряды красногвардейцев обошли все кафе с целью ареста. В ночь на 14 февраля арестов не произведено.

16. Педагогический совет мужской гимназии, обсудив вопрос о применении декрета правительства об исключении Закона Божия из учебной программы, постановил известить городское управление, что педсовет преподавание Закона Божия в средней школе находит нужным сохранить. Закон Божий является необходимейшим элементом воспитания…

17. 14 февраля 1918 г. Сообщение об открытии казачьего съезда в Оренбурге. С

речью выступил товарищ Цвиллинг.

18. Городской продовольственный комитет постановил ввести новую карточную систему. Карточки будут на каждое лицо и отдельно на муку, печеный хлеб, сахар. На другие продукты — карточки общие. Мануфактура — по общим карточкам по 6 аршин на человека в 3 месяца. Мясо по 1 фунту на человека по цене 1 рубль 15 копеек.

19. 26 февраля 1918 г. (нового времени). Условия Германского мира. Аннексия Лифляндии, Эстляндии, Курляндии, демобилизация Красной гвардии и армии, вывод войск из Финляндии, прекращение войны с Украинской радой, отказ от агитации против империалистического строя в Германии, беспошлинный вывоз руд из России и другие… Условия приняты. Фракция левых эсеров голосовала против принятия условий.

20. 2 февраля 1918 г. Приказ главковерха от 30 января 1918 г. Передаю для немедленной отдачи армиям следующее: «Мирные переговоры закончены. Мы не можем также вести войну. Наша делегация в полном сознании своей ответственности перед русским народом и угнетенными рабочими 28 января сделала заявление. В связи с этим предписываю немедленно принять все меры для объявления войскам, что война с Германией с этого момента считается прекращенной…»

21. 18 января 1918 г. Организация Рабоче-крестьянской армии. Доступ открыт для всех граждан Российской республики не моложе 18 лет. Для вступления необходима рекомендация войсковых комитетов или общественных демократических организаций, стоящих на платформе советской власти, партийных или профсоюзных организаций. При вступлении целыми частями требуется круговая порука всех и письменное голосование. Военнослужащие обеспечиваются полным государственным довольствием, сверх того выплачивается 50 рублей в месяц, нетрудоспособные члены семьи обеспечиваются необходимым по местным потребительским нормам.

22. 17 февраля 1918 г. (новое время). Донесения командующих войсками, действующими против 1-го польского корпуса легионеров. Бои у Рогачева, Бобруйска. Наши наступают. 300 легионеров перебежали на нашу сторону.

23. Бои за станцию Тихорецкую. На стороне контрреволюции — юнкера, чеченцы, полк черноморских казаков.

24. Председатель Областного комитета Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — Андроников, комиссар производства — Кузьмин, комиссар финансов — Сыромолотов, комиссар труда — Малышев, секретарь — Мутных.

25. 19 февраля 1918 г. Доклад Троцкого на заседании ЦИК.

26. С часу на час ухудшается движение на железной дороге. Пути загромождены больными паровозами и вагонами.

27. Объявление: «Мука будет продаваться во вторник 30 января и в первую очередь тем гражданам, которые не получали первого десятифунтового пайка.

Выдача — по заранее выданным очередным номерам с печатью Екатеринбургского городского продовольственного комитета».

29. Военнопленные обращаются в Совет с тем, что они голодают и хотят создать какое-нибудь кустарно-промысловое дело, не конкурируя с русским трудящимся населением, выделывать те товары, которые ранее поступали из-за рубежа.

30. Декрет о введении нового правописания.

31. Сообщение о том, что из 3 миллиардов государственного расхода 2,6 миллиарда падают на плечи рабочих и крестьян.

32. 19 февраля (нового времени). На металлургическом заводе Злоказова состоялось общее собрание рабочих. Повестка — о переходе завода на мирное производство. Ввиду сильной безработицы постановлено открыть дрожжевой завод.

33. Городская продовольственная управа установила цены на находящиеся на складе управы товары: мыло парфюмерное — 50 копеек кусок, клюква и брусника — 22 рубля за пуд, варенье паточное — 80 рублей за пуд.

34. Военный отдел объявляет, что 1 марта на складе 126-го запасного пехотного полка (Главный проспект, дом 5) начинаются торги негодного имущества. Продажа осуществляется только партиями по 100 пар сапог или ботинок, ремни по 10 штук, лапти (новые) по 60 пар.

35. С 1 по 15 марта нового стиля сахар будет продаваться по талону № 10 по полфунта и сахарный песок по полфунта. Цены соответственно 1,5 и 1,42 рубля за фунт.

36. Борьба с мешочниками. 25 февраля продуправа постановила на станции Екатеринбург-1 и Екатеринбург-2 послать своего представителя для реквизиции хлеба и других продуктов с оплатой реквизированного. С ним на станции направляются члены военно-продовольственных экспедиций и военные при них команды.

37. 3 марта нового стиля. Ассоциация анархистов Урала организует партизанский отряд для защиты и углубления революции. Желающие могут обратиться в бюро ассоциации на Ломаевскую, 18.

38. 1 марта. Телеграмма. Немцы прошли 30 верст от Пскова на Петроград. Движение их приостановлено. Положение остается очень серьезное. Из Бреста до ночи определенных известий не было. Усиленно формируйте в областном масштабе Красную гвардию, присылайте в Петроград для фронта свои отряды.

39. «Отечество в опасности». Обстановка складывается так, что ближайшее будущее для нас пока неясно. Ждет ли нас мир, когда народ, хотя и с истерзанным телом, вернется к мирному труду и к творчеству новых форм жизни, или же нам суждена новая война для защиты своих завоеваний от наглых насильников. Можно рассчитывать на лучшее (хотя и это «лучшее» довольно печально). Но надо готовиться к худшему.

40. 12 часов ночи на 2 марта. Из Бреста получена первая телеграмма. Сделано

предложение немцам прекратить военные действия, но немцы отказались сделать это до подписания мира. Срок подписи мира — 4 марта, 11 часов утра. Только что получено радио, что мирная делегация выехала из Бреста. Думаем, что мир не подписан. Съезд партии — на 6 марта.

41. Телеграмма. Питеру предстоит выдержать долгую осаду, но он не сдается до последней минуты. Для этого ему необходима прежде всего помощь продовольствием. Все Советы хлебных губерний должны незамедлительно, не теряя ни одной секунды, двинуть по направлению к Петрограду на Москву как можно больше хлеба и продовольствия вообще. Не дайте умереть с голоду революционному Петрограду. Не останавливайтесь ни перед чем. Не забывайте также о том, что с организацией отрядов и отправкой их на фронт нельзя терять ни минуты. Все слухи об эвакуации из Петрограда СНК и ЦИК совершенно ложны.

Все факты взяты из газеты новой власти, ежевечерне приносимой Бурковым. Она, по соображениям сохранения реноме, ни разу не упомянула о приносимых слухами кровавых ее злодеяниях, которые были, как и все у этой власти, целенаправленны, продуманны, методичны, безжалостны.

Слухи ходили самого разного толка.

Якобы казаки убили помощника наркома Крыленко или даже самого Крыленко, направлявшегося железной дорогой во Владивосток. На нем нашли чеки на четыре миллиарда рублей — выходило, комиссары принялись покупать себе теплые места за границей.

Якобы ударные батальоны генерала Алексеева, бывшего начальника штаба верховного главнокомандующего, взяли Воронеж. Следом шел слух, что Алексеев оставил не только Воронеж, но и Таганрог. Следом — слух, что на Кубани поднялся генерал Корнилов, у него — полки, сплошь состоящие из офицеров. Прошел слух о каких-то китайских и персидских партизанских отрядах и даже о женских командах.

Приходилось только гадать об их достоверности, хмурить лоб в предположении, уж не головорезы ли того же Кучик-хана, столь много нам гадившего в Персии, пришли теперь нас вызволять. Приходилось вскидывать брови в озарении, что это может быть Персидская казачья бригада, и так далее.

Сплошь были слухи о расправе над церковью и ее служителями.

В Петрограде большевики разгромили Александро-Невскую лавру. Народ вышел на улицы с демонстрациями. Большевики обыкновенно выкатили против них броневтомобили и стреляли с крыш.

В Перми, Вятке, многих других городах и весях в ответ на закон об отделении церкви от государства и школы прошли многочисленные крестные ходы. Они были подавлены с особой жестокостью. Обозвав всех, кто причастен церкви, рясниками, власть их тоже вывела за рамки закона, не постеснявшись выставить против тех же крестных ходов пулеметы. Впрочем, пулеметы были выставлены и против своих же в день похорон так называемых жертв оренбургской контрреволюции, и я об этом уже отмечал. Говорят, в Кунгуре пулемет вдруг в решительный момент отказал. Факт

немедленно был, конечно, приписан Божию знамению. Я не кощунствую и не богохульствую, но почему-то не случилось никакого знамения, когда, по слухам же, в каком-то монастыре иноков Исаакия, Сергия и Павла красногвардейцы утопили в выгребной яме.

В этом тоже была их логика, как бы гнусно это ни звучало. Неправедно взяв власть, ее обладатели вынуждены оказывались держать ее только неслыханной жестокостью, не останавливаясь ни перед чем и возводя эту жестокость в правило, в обычай, в изначальную катехизическую ипостась. Новая власть создала себе свою правду, даже отличную от той, какую говорил ей ее Бог, ее Маркс.

Много было слухов о вооруженных выступлениях в различных местах. В декабре таковые были в уральских городах Ревде, Кушве, Ирбите, Камышлове, Березовском. В январе-марте — в Белорецке, Михайловском и Шемахинском заводах, Златоусте, Кизеле. Все они были подавлены с небывалой жестокостью. Как-то не верилось в вооруженность выступлений. Откуда могли эти города взять оружия? Верно, таковым считались мастеровые инструменты.

Многовековая христианская истина нас учила — Бог в правде, сила в правде. Новая власть не отступила от христианского учения. Она поняла, что надо создать свою правду и при своей правде быть вольной делать все. Вот какую логику, какую последовательность в действиях новой власти я увидел.

Иван Филиппович корил меня за то, что я ни разу со дня возвращения не зашел в храм, не перекрестил лба. А я не мог зайти в храм. Я понимал, что надо зайти, поставить свечу, возблагодарить заступниц моих Пресвятую Богородицу, матушку с нянюшкой, понимал, а не мог. Некий протест отвращал меня, протест не к с заступницам моим, конечно, а вообще протест — к Нему: «За что — такое с Россией? За что — такое с империей? За что — такое с государем? За что отвернулся от нас — за что?» — так спрашивать было богохульством. Но спрашивалось помимо воли. При всем творящемся и не могло не спрашиваться.

Не могло не спрашиваться и с государя. В отношении государя, Божия помазанника, при всем ныне творящемся рождалось глухое неприятие — за что нам такого помазанника, который, как говорится, не моргнув глазом отмахнулся от тысячелетних трудов и жертв народа? Что его на это подвигло? Он весь ушел в любовь к семье, к больному сыну и забыл о предназначении? Он начитался сочинений Достоевского о единой детской слезе, на которой не построить царства Божия? А как же быть с миллионом детских слез, которые уже реками льются по стране благодаря его отречению? Это что за государь, у которого, как рассказал Бурков, преступники в тюрьмах проходили школу антигосударственной борьбы? Мы считали за счастье для величия империи погибнуть. Он же — что? Он не брал нас в расчет? Ему ловчее было плодить обученных преступников?

Стали ходить некие слухи, к сожалению, только слухи, а не подлинные сведения о том, что он ни в чем не был виноват. Виноватыми были другие, виноватыми были министры, военные высокие чины, вся Ставка, промышленники — одним словом, виноваты были все, вплоть до нас, серой скотинки армии, не сумевшей достойно ответить шапками на германские «чемоданы». Я, как и обещал,

был с визитом у нашего учителя истории Василия Ивановича Будрина. Кроме всего прочего, разумеется, разговор зашел и о государе императоре. Василий Иванович тоже был того мнения, что государь не был виноват, и привел в подтверждение чьи-то записки. «Во всем виновата Ставка, — убеждал меня Василий Иванович. — Она, она стала вмешиваться в дела гражданские. И позволило ей это делать одно простое обстоятельство, именуемое Положением о верховном главнокомандующем на случай войны, предполагавшим во главу армии самого государя». — «Так и что?» — спросил я. «А то, что об этом в пылу объявления войны как-то забыли. Верховным был назначен великий князь Николай Николаевич Младший. В Положение же поправка не была внесена. Этим-то воспользовалась Ставка! Она-то и породила ненормальное отношение между нею и верховным правлением государства!» — с всегдашим интеллигентским восторгом по случаю какой-либо неувязки в государстве, но с личным преклонением перед государем сказал мне Василий Иванович.

Пусть так. То есть если это было именно так, то отчего же не виноват государь? Это же, простите, смехотворно! Это что же за власть, которая не может исправить некое упущение? Не так написана бумага? Напишите ее так, как должно! Потеряли чувство реальности подданные, та же Ставка? Верните их в это чувство! Да что говорить об очевиднейшем! На каком-нибудь крестьянском дворе этакое является нормой — тотчас исправить неполадку. А в государстве, именуемом Российской империей, — это невыполнимо! Еще в пятом году, в дни ликования духовной черни, этой русской интеллигенции, вытребовавшей у государя конституцию, дрогнуло мое сердце, подсказало мне мысль о том, что государь не имел права уступить. Но тогда я, полагая чувство товарищества исходящим из служения государю, был вместе с моими товарищами, неизвестно по какой причине, а вернее, просто от детской дурости тоже вдруг возликовавшими. Mea culpa, как говорится, мой грех, грех всего лишь одной стопятидесятимиллионной доли народной души. А и то меня за это гложет совесть. Его же, государя нашего, — что?

Не стал я возражать старому своему учителю. Между нами была огромная и едва ли преодолимая дистанция, нежилое пространство между русским интеллигентом и служащим офицером.

Еще большую логику, прямо логику чистейшего разума кантовской философии, нашел я в событиях вокруг подписания Брестского мира, самими же подписантами, то есть властью, обозванного похабным. Я из этих событий ничего понять не мог. Сама уступка российских территорий, ввержение России в границы времен Ивана Грозного, иного определения не заслуживала. Но укрывалось за нею что-то чрезвычайно умное, иезуитское, идущее не от чувства безысходности, страха за свое обретение власти или еще каких-то чувств. Между мной и Бурковым состоялся следующий разговор.

— Как тебе это? — спросил Бурков.

— Сволочь этот Рихард фон Кюльман! — сказал я о руководителе германской делегации на переговорах. — Его надо судить военно-полевым судом и ранним их прусским утром расстрелять где-нибудь за курятником. Он мог Россию низвести до границ княжества Ивана Калиты, а он не сделал этого, постеснялся или захлебнулся

от куриного восторга, что снес хотя бы такое яичко!

— Так ведь у них бы солдат на оккупацию не хватило! — ошарашился моим заявлением Бурков.

— Только тем мы и спаслись! — сказал я.

— Да где там спаслись! — вскричал в жаре Бурков. — Какое там спаслись! Мы по европейской революции, как тележным колесом по червяку, прошлись! Шиш теперь вместо европейской революции! И нам — шиш!

Он с тем же жаром стал дальше говорить о революционной логике, по которой с часу на час должна была произойти революция в Европе, прежде всего в Германии, где, как он говорил, творился страшенный голод, предвестник всякой революции.

— У нас сколько-то там бабы в Питере постояли в хвостах к булочным — и нате вам, Николашка слетел! И в Германии вот-вот должны были его братца Вильгельмку смахнуть! А теперь… Теперь мы им вместо войны — хлебушка на три миллиарда рублей подкинем! И какая, к черту, революция! — стал говорить Бурков.

Я ни в какую возможность никакой европейской революции не верил. То есть я ее вообще считал придумкой нашей новой власти, так сказать, новым оружием — солгать и тем или обезоружить противника, или поманить его на свою сторону. Потому на жар Буркова я скорчил постную мину. Она Буркову не понравилась.

— Да что с тобой говорить! — в сердцах сказал он.

— Гриша! По логике твоего Маркса, о которой ты мне сказал как-то, Европа в революцию не пойдет. Если она голодна, то она все равно сыта. Твой Маркс определил это с абсолютной точностью! — сказал я.

— Ох ты какой марксист! То-то ты не можешь принять нашей революции! Ты, как правый эсер, а то и вовсе как кадет, самое ее сердце расковырять хочешь! — ощетинился на меня Бурков.

— Ну, хорошо, Гриша! — пересилил я себя на продолжение разговора. — Ты надеешься на революцию в Европе…

— Не я один! Все мы ее ждем! Паша говорит, из Кронштадта сообщают, пары на броненосцах уже разводят, орудия расчехлили — готовы прийти на помощь европейскому пролетариату! — не дал мне спросить о причине такой надежды Бурков. — Ты же читал декрет о праве народов на свободный выход из России. А по каку чуму такой декрет нам нужен? А по таку чуму он нам нужен, товарищ правый эсер или вовсе благополучно слепой кадет, что этим декретом мы Европе сказали нас не бояться, что в революцию можно идти спокойно! Мы размахнем революцию в мировом масштабе, а он, мир, скажет, как здесь, на Урале, говорят: ну-к що! Выйтить-то всегда можно!

— То есть, Гриша, вы собрались весь мир сделать Россией? — спросил я.

— Не собрались, а сделаем! Если даже там, в ЦК и ВЦИКе, умствовать начнут да всякие Брестские миры устраивать, мы найдем на них броненосцы, пусть даже Паша им отбой прокукарекает! — несколько зло сказал Бурков.

— То есть как Паша отбой прокукарекает? Что-то ты про своего друга не теми словами заговорил! — удивился я.

— Да шибко правильный он, Паша! Шибко он в рот питерским смотрит и здесь других к этому гнет! Проголосовали, едри его, за этот мир у нас в Екатеринбурге большинством. Он петухом ходит, он расстарался за такую резолюцию! — хлопнул себя по колену Бурков. — Я ему: «Ты что, Паша! Ты же нашу мировую мечту предаешь!» А он: «Держись Ленина, Гриша! Ленин не подведет! Нам ведь этот мир во как нужен был именно такой! Нам ведь надо было Германию довести до белого каления, чтобы она войска двинула! А теперь весь мир видит, что мы не виноваты, что мы мир подписываем под угрозой, а потому: помогай нам, баушка Европа! Поднимай революционный вихрь!» Да с чего она его поднимет, когда туда хлеб наш потечет! Умники, едри их!.. — заиграл челюстными мышцами Бурков, совсем как некогда корпусной ревком Сухман.

— Да. По-своему, по своей логике они правы! — сказал я.

— Это по какой же логике? — вздернулся Бурков.

— Ну, вы же объявили грабить награбленное, уничтожать классы, религию — вообще весь старый мир. Почему же в таком случае не лгать, не изворачиваться, не добиваться своего любой ценой? По-моему, логично! — сказал я.

— А вот выйду я из такой партии! — вскочил Бурков.

Вот таким совестливым человеком оказался Бурков. Никуда ни из чего он, конечно, не вышел. И с Пашей Хохряковым он не поссорился. Но переживал он так называемую линию своей партии очень болезненно. По мере общения с ним я понял, что в Екатеринбург он был направлен для формирования отрядов против атамана Дутова Александра Ильича, и потому входил в штаб областной Красной гвардии, которым руководил, кроме борьбы с нами, контрреволюцией, Паша Хохряков.

Мне, кстати, тоже пришлось послужить под началом Паши Хохрякова. Теперь, вернее всего, накаркал Пашу мне Гриша. В одну из ночей конца февраля в городе подняли мятеж анархисты. Я не знаю настоящей причины их мятежа. На мое ненастойчивое любопытство, то есть вообще на мой единственный вопрос, отчего они мятеж подняли, я получил от того самого Гриши, то бишь Гриши Буркова, ответ такого содержания: «Да сволочи они!»

Сволочь была кругом. Мы были сволочью для новой власти. Новая власть была сволочью для нас. И выделить из всеобщей сволочи какую-то особенную сволочь — это могла только новая власть с ее особенной логикой.

Анархисты захватили и разгромили Коммерческое собрание на углу Главного и Вознесенского проспектов, вероятно, таким образом пожелав внести свою лепту в борьбу с классом, подлежащим уничтожению. Новой власти это не понравилось. Я думаю, в данном случае не понравилось совершенно справедливо. Новая власть потребовала освободить Коммерческое собрание и сдаться. Те ответили в полном соответствии со своей программой, часть которой я уже цитировал. Надо полагать, они ответили примерно так:

— Город! Ты таишь в себе нищету и мерзость. Но в тебе и могущество. В твоей каменной клетке заключена анархия! — В данном случае каменной клеткой для анархии случилось Коммерческое собрание. Из него они ответили в полном соответствии со своей справедливостью. — Львы анархии! Разбейте клетки! — ответили они, и это вполне сопрягалось с их логикой, полной обаятельного своеобразия: добровольно залезть в клетку и оттуда призвать к ее разбитию.

Менее обаятельная новая власть, состоящая, как выяснилось — по крайней мере, выяснилось для меня — из большинства приверженцев большевистского крыла революции, приняла ответ буквально и для разбития клетки подтянула свою гвардию. В ответ анархисты выставили в окна собрания пулеметы. В ответ на ответ новая власть сообразила о пушке. То ли подсказал Бурков, то ли вспомнил обо мне Паша Хохряков, руководивший операцией по разбитию клетки, то ли такова оказалась моя планида, к пушке востребовали меня.

Самой удобной позицией против Коммерческого собрания была позиция на углу Пушкинской улицы от Екатерининского собора. Но этой позиции мешали деревья по проспекту. Оставалось поставить орудие к углу гостиницы «Пале-Рояль», на расстоянии тридцати сажен от собрания. Но здесь вся прислуга орудия оказывалась под убийственным огнем. Можно было отодвинуть орудие к женской гимназии, в глубь Вознесенского проспекта. Угол стрельбы уменьшался до минимума. Но попасть в двери собрания все равно труда не составляло.

Паша Хохряков, явно вспомнив меня, но решивший играть роль, исключающую наше знакомство, велел поставить орудие как мне заблагорассудится, лишь бы оно было хорошо видно из окон собрания.

— Стрелять не придется. Сдрейфят от одного вида! — сказал он, а потом прибавил все-таки быть готовым к стрельбе. — Если придется, — сказал он, — то я дам знак. Вот он, — Паша Хохряков ткнул кулаком в своего подручного Фому, того самого матроса, который направил меня в «поля Елисейские». — Вот он получит от меня сигнал и передаст тебе. Тут же стреляй по двери!

— А что такие сложности с сигналами? — не понял я.

— А то, что я пойду с приказом им сдаться. И меня рядом с тобой не будет. И черт знает, как ты что разберешь. А он с закрытыми глазами меня понимает! — сказал Паша Хохряков и снова сказал, что стрелять не придется, что «они сдрейфят».

— Сдрейфят — это что, отплывут, как на льдине? — зацепил я Пашу Хохрякова. Известно ведь, человеком умным я только слыл.

— Это значит, работу прачкам по стирке штанов обеспечат! — огрызнулся Паша.

— Ты до выстрела отойти успеешь? — еще зацепил я.

— Нет! Я крабом тебе раскорячусь! — озлился Паша Хохряков.

К нему подошел человек в кожаной автомобильной куртке и с деревянной кобурой немецкого пистолета «маузер» через плечо.

— Павел Данилович! — отозвал он Пашу Хохрякова в сторону и что-то сказал, из чего я услышал только обрывок. «Все-таки они мои товарищи!» — услышал я.

Паша Хохряков что-то ответил.

Человек ушел. Позже я узнал, что это был вождь местных анархистов и член новой власти Жебенёв. Куда он ушел, к своим ли товарищам, я не знаю, но думаю, что к ним.

А Паша Хохряков вышел на перекресток улиц, остановился, верно, чтобы показать, что он один и без оружия. Все вокруг смолкли. Он прошел перекресток, подошел едва не вплотную к двери собрания, несколько раз размеренно кулаком в нее ударил. Удары даже на таком расстоянии были отчетливо слышны. Из собрания, видимо, его спросили. Он ответил:

— Я Хохряков!

Его еще о чем-то спросили.

— Предлагаю сдаться и выйти без оружия! Жизнь гарантирую! В противном случае открываю орудийный огонь! — сказал он.

Паша чувствовал себя хозяином города. Он бы не остановился перед орудийной стрельбой. Чтобы ликвидировать поползновения на казенные винные склады, он собрал свою гвардию и вылил всё из складов в Мельковку. В условиях, когда человеческая кровь по стоимости была дешевле пули и отворялась простым ударом штыка, это было примером более показательным. Открыть огонь по какому-то Коммерческому собранию — было делом против того пустяшным. Другое дело, открыл ли бы его я.

На мое счастье анархисты, или кто там был, сдались.

13

Через Буркова был сделан запрос в Нязепетровск о семье сестры Маши. Оказалось, после запрета всех земских учреждений Иван Михайлович был арестован, но до перевода в Челябинскую тюрьму находился в местной каталажке. Семья была без средств. Бурков попытался поговорить с Пашей Хохряковым.

— А что по мелководью ходишь? Давай сразу ходатайствуй за Николашку Романова! — оборвал Паша и потом на штабном совещании, не называя Буркова, пригрозил самыми жесткими революционными карами в отношении тех, кто проявит в отношении уничтожаемого класса снисходительность и мягкотелость. — Вы меня знаете! — объявил он. — Я разговариваю коротко! У меня просто: «В следственную комиссию. Центральный штаб Красной гвардии препровождает к вам такого-то за то-то. Вместе с ним отсылаю свидетеля товарища такого-то». А свидетелей у меня почему-то — один Фома Гуня. Наивернейший свидетель. Так что заранее ищите себе веревку на шею!

Таким был ответ нашего властелина, нашего Дария Ахеменида с Бехистунгского барельефа, встречающего мятежников с сими веревками вокруг шеи.

Я сказал, что сам поеду в Нязепетровск. Бурков удержал. Иначе меня как офицера, находящегося на особом учете в «совето», обыкновенно постановили бы считать вне закона, что влекло за собой только расстрел. Поехал Иван Филиппович. Продуктов мы собрали точно по разрешенной норме. Хотя что это было для семьи и для передач Ивану Михайловичу! Но из опасения, что отберут, больше послать мы не рискнули. Деньги Иван Филиппович зашил в валенки. Вернулся он в слезах. Сестра Маша с детьми жила в одной комнатке. Остальной дом был разграблен после ареста Ивана Михайловича и заселен неизвестно кем. Но оставлять Ивана Михайловича и перебираться к нам сестра Маша не захотела. И остаться у нее Иван Филиппович не смог. Лишь он приехал, явно по доносу заявились толпой местные боевики, как было сказано, для выяснения его личности на предмет контрреволюции. Попутно они еще раз обшарили комнату Маши. Ивану Филипповичу были предложены два варианта на выбор — или тотчас убираться, или оставаться, но с препровождением в арестантский дом.

— Гнали меня до самой станции, что я и оглянуться боялся! — делился Иван Филиппович своей горечью. — Как оглянусь, думаю, так они меня штыками-то затычут! Свои валенки я Марии Алексеевне оставил и только-то шепнуть успел, что в подошвах николаевки зашиты. А обуть-то пришлось уж то, что Мария Алексеевна подала. Как они сказали про арестантский-то дом, да как штыками-то взлязгали, тут я перепаратился и уж думать-то осекся! Обулся — да в двери!

Я едва не разревелся, представив сестру Машу и детей в таком положении. Чтобы сдержать себя, я привязался к слову Ивана Филипповича «перепаратился», будто раньше его не слышал.

— Что, что ты сказал? Перепаратился? — спросил я.

Иван Филиппович не увидел моего афронта.

— А кто бы не перепаратился! Евон как бердану-то навели, так я, грешный, того… — в прежней горечи сказал он.

— Да что такое, Иван Филиппович? — пристал я к старику.

— А тебе прямо при барышнях все и скажи! — зыркнул Иван Филиппович на Анну Ивановну.

— А что Анна Ивановна! И она не знает такого слова! — не отставал я.

— Ну, как вы там меж собой, господами, величаетесь, нам где уж, а только по-нашему-то это будет, — он опять коротко взглянул на Анну Ивановну, — только это будет, что, прошу прощения, чуть в подштанники не нафурил! — как-то обреченно выпалил Иван Филиппович и, верно, полагая, что я спрашивал его с целью осудить или поднять на смех, в оскорблении задрал подбородок. — Да! истинный Бог! А о вас же, оллоярах несметных, думал! Мне бы о Марии Алексеевне с детками да об Иване Михайловиче невинном подумать! Или уж там, как ни есть, о себе подумать! А я сразу подумал: «Заберут меня, притащат в околоток и тут же телеграфом сюда, в совето, дадут, кто я и откуда. А тут глянут по бумагам. А в бумагах — хвать. В бумагах — офицер!»

— Да спасибо, Иван Филиппович! Ты же у нас обыкновенно молодец! — коротко обнял я его за плечи, а горло мое дрожало из последних сил, чтобы не выдать мой голос.

Да, март был светел и чист, но безудержно наплывало, говоря иносказанием, отсутствие трехсот городских и всероссийских золотарей, готовых смести осенние и зимние нечистоты.

После рассказа Ивана Филипповича я ночь напролет думал, как мне вызволить сестру Машу. И ничего я иного не надумал, как ехать самому. И еще я надумал после этого пробираться если не к атаману Дутову, то на Кубань или Терек, полагая и там, и там найти своих сослуживцев. Всю ночь короткими и смешанными воспоминаниями, то перекрывающимися одно другим, то идущими по порядку, я был с ними, своими сослуживцами, своими друзьями, и всю ночь летел к ним, как из глубин неба, враз видя под собой и наш Екатеринбург, и Нязепетровск, и оренбургские степи слева, и нашу бельскую дачу справа, и размытые далью приволжские равнины, калмыцкие степи и разбегающиеся в разные стороны Терек и Кубань. Я видел и генерала Мистулова с моими батарейцами вплоть до Касьяна Романовича, видел всех кубанцев с моим Василием Даниловичем Гамалием во главе, видел улыбающиеся сквозь очки и любящие меня глаза Коли Корсуна, генерального штаба капитана. И за ними, совсем в голубой дали, за персидскими кряжами, за Бехистунгом с его символом победы над мятежом, я видел себя и видел весенний, цветущий гранатовый сад, заросший высокой крапивой, видел Элспет с маленькой девочкой.

Ночью все казалось выполнимым. А утром во всей очевидности встала мне вся зряшность моих грез. Ивана Филипповича просто обругали да прогнали. Меня бы просто расстреляли где-нибудь при выгребной яме. Ехать к сестре Маше можно

было только с соответствующим документом. Попытаться его взять можно было только у Миши Злоказова. После его выстрела и последующего пребывания, как выразился адъютант Крашенинников, в разобранном виде он несколько дней не подавал о себе вестей, а потом вдруг объявился телефонным звонком в парк и плохо скрываемой под шуткой претензией на мое небрежение его обществом. Я не стал ему говорить ни о выстреле, ни о высказанной черной зависти ко мне, ни об оскорбительном поведении его по отношению к Анне Ивановне. Так говорить мне было стыдно — все-таки он был другом. На мой тон он надулся. Я посчитал наши отношения законченными. Но пришел Сережа Фельштинский, долго мялся, а потом сказал, что у них с Мишей был непонятный разговор, и Миша его оповестил о моем сотрудничестве с Пашей Хохряковым, каким-то образом вызнав о моем аресте и освобождении. Я увидел, как Сережа просто жаждал опровержения. И я улыбнулся Сереже. Что-то говорить я посчитал стыдным. Сережа в единый миг мне поверил и не смог не сказать, что Миша требовал от него прекращения дружбы со мной. А я вспомнил вспыхнувший блеск в глазах Миши при моих словах о парковых лошадях, заставивший меня отметить в Мише потомственного заводчика. Воспоминание об этом блеске высветило мне разницу в образе мышления и деятельности его класса и моего класса, прежде плотно закрытую дружбой. Я вдруг понял, что не было дружбы, а было только детство.

Но пойти к Мише мне предстояло, как это ни было подло. И я пошел.

В его писарской он был один. Я увидел, как напряглись его глаза.

— А, да, да! Борис Алексеевич! — приветствовал он меня.

«Черт с тобой! Только помоги!» — сказал я в мыслях и попытался состряпать из своей рожи зефирное пирожное.

— А, да! Проходи! Как там у вас? Как Анна Ивановна? Что-то долго ты не заходил! Сейчас чаю соорудим, или, как там у вас, у военных, чаю построим! — стал скороговоркой частить невпопад Миша, ибо, какими бы ни были мы, военные, в глазах пиджаков и шпаков, чай все-таки мы не строили.

— Миша, мне надо из Нязепетровска взять сестру Машу! — сказал я.

— Нда! Из Нязепетровска! — будто прочищая нос, стал хмыкать Миша, оставил стол, характерно пригнувшись и подавшись вперед, гордо подняв голову, стал ходить мимо меня, каким-то невероятным образом напоминая Понтия Пилата с картины Николая Ге, не фигурой, не позой напоминая, а чем-то внутренним, чем-то таким, когда около фигуры, около позы осязаемо витает осознание своей власти, своей правды, упиваемость этой властью и этой правдой. — Из Нязепетровска, из Нязе… хм… петровска! Хм! Из какого-то городишки! Кстати, как она там? — не взглядывая на меня, на миг остановился он, верно, так полагая, что эта остановка должна как-то его высветить, сказать мне о нем что-то значительное, а обо мне самом сказать что-то то самое подлое, что гнездилось во мне спокон веков, что он видел во мне, но волею судьбы и дружбы принужден был терпеть. И, верно, он думал, что он в этот миг необыкновенно величественен.

«Да уж хорошо, уж пусть будешь величественен!» — стал я говорить в мыслях и стал мерзок себе за эти мысли, ведь все-таки Миша был другом.

— Кстати, как она там? — спросил Миша и снова пошел мимо меня, какой-то наклоненный, прячущий глаза, но пытающийся быть значительным и пытающийся показать мне мою незначительность. — Да, да, Нязе! Нязе! Из князи да в Нязе! — и мне показалось, ему очень хотелось припомнить, вспомнить какую-нибудь обиду, нанесенную мной ему, которую я сроду не наносил. — В Нязе, в Нязе! В это безобрази! — некой рифмой сказал он и снова остановился около меня. — А ведь по всей стране безобрази! Ты заметь, не безобразие, а именно безобрази, вот так, с оборванным окончанием, как с оборванным хорошим исходом для всех нас! И кто его породил? Кому оно было нужно? И как нам теперь быть?

— Никак не быть, Миша! — в нарастающем раздражении сказал я.

— Хм, верно! Верно, господин ваше высокоблагородие! Именно никак не быть! Именно нас они приведут к этому — никак не быть! Хм, да, да! А ты — Нязе! А вот бы им по шмази! — воодушевленно и одновременно затравленно выкрикнул он.

— Хорошо. По шмази, Миша! — поддакнул я и спросил, может ли он выхлопотать мне разрешение отбыть на несколько суток в Нязепетровск.

— Ха, ха! В Нязепетровск. Именно туда и никуда иначе! — захмыкал он, опять будто прочищая нос.

А я вспомнил его рассказы про каких-то Сабашниковых с Волошиными, про какого-то австрийского самозванного пророка, и мне представилось, что Миша там вот так же себя вел, так же суетливо, скрыто зло и с черной завистью к этому Волошину и с черной страстью к его жене Сабашниковой. Отчего-то мелькнул давно забытый Наполеон, мелькнула серая картина наката серых морских волн на серый берег и спутанное волнами многоцветье одежд пяти тысяч расстрелянных сим властителем полумира египетских мамелюков. Надо было бы мне уйти. Но иного случая, чтобы поехать к сестре Маше, у меня не было.

— Миша! Разрешение, увольнение, мандат, предписание — какой-нибудь документ у начальника гарнизона ты можешь мне выхлопотать? — не сдержался вскрикнуть и я.

— Ха, ха, Борис Алексеевич! А не в Верхнеуральск ли, в логово Дутова, тебе надо, а? — зашептал и засверлил меня злыми и будто даже скупыми, хотя как можно было применить к глазам это определение, но какими-то скупыми глазами засверлил меня Миша.

— Так нет? Не можешь? — спросил я.

— А ты на меня не кричи, ваше высокоблагородие! Я думаю не о каком-то прощелыге Дутове, не сумевшем там чего-то. Я думаю о тебе, Боря, и я советую тебе никуда не ездить, никаких документов не просить, ни в Нязепетровск, ни в Тьмутаракань, ни к японскому микадо! Всё! Идите служить, ваше высокоблагородие! — сел за свой стол Миша.

Я зло пошел вон.

— Как там барышня Анна Ивановна? — услышал я уже через дверь и, совсем как он сам, хотя и мысленно, завернул ему кукиш.

Во дворе меня встретил адъютант Крашенинников.

— От друга сердечного? — спросил он с широкой улыбкой и предложил прогуляться.

Этакое пиджаковое и шпаковое панибратство едва не заставило меня по старой доброй привычке велеть доложить по команде о несоответствующем его поведении в отношении к старшему. Но пришлось ограничиться тем же мысленным кукишем, но уже в отношении себя, в отношении своего ничтожного положения.

— У Миши неприятность! — сказал Крашенинников. — Его притягивают к лошадиному делу вашего бывшего начальника и объявляют едва не в контрреволюцию. Ваш бывший начальник что-то показал на него. Да еще вышел декрет о национализации. У них отбирают дом под тюремное помещение. Самой тюрьмы становится мало. Миша в последнее время какой-то сам не свой, какой-то черный!

— Простите. Ничего этого я не знал! — не оставляя мысленного кукиша, сказал я.

— Между вами ничего не произошло? — спросил Крашенинников.

— Решительно ничего, — с неохотой сказал я, опять подавив желание поставить Крашенинникова на место.

— Да! А вы почему не отъехали вместе с Хохряковым? — спросил он.

— Что это значит, поручик? — взорвался я.

Крашенинников в недоумении взглянул на меня.

— Борис Алексеевич! — быстро сменил он недоумение на укоризну, а я от бессилия едва не плюнул под ноги, как какой-нибудь революционный нижний чин. — Что вы, Борис Алексеевич! Так ведь и угодить кое-куда можно! — снова укорил меня Крашенинников. — И вообще, давайте начистоту. Я знаю, кто вы. Миша мне сказал. Мы с Мишей знакомы с детства. Наши отцы были в хороших отношениях. Мой отец был инженером у них на Арамильской фабрике. Я знаю, кто вы. И еще кое-кто знает. Я не имею в виду этого вашего вятского флотского. Вы боевой штаб-офицер. И я прошу прощения за мой тон. Но вам необходимо привыкнуть. Так вот, о вас настоящем знает еще кое-кто. Я не имею права называть. Но скажите прямо, что вас связывает с этими не ходившими по морям кочегарами, ни разу никого не лечившими фельдшерами и зубными техниками? Я имею в виду этих Пашу, Янкеля и Шаю?

— Поручик! — снова взбесился я.

— Вы должны сказать. Для вас это вопрос жизни и смерти! — остановил меня Крашенинников. — Согласитесь, одно дело погибнуть на фронте как герой, и другое дело — быть убитым по подозрению. Я еще раз прошу прощения! Этим вопросом я рискую попасть в руки только что названных негодяев, которые, в свою очередь, тоже…

Что там имел в виду Крашенинников, говоря о «своей», то есть «их», Паши

Хохрякова, Янкеля Юровского и Шаи Голощекина, очереди, я не дал ему сказать.

— По последней должности я инспектор артиллерии Первого Кавказского кавалерийского корпуса, — медленно и зло стал говорить я. — В сентябре прошлого года я был Временной сволочью, как мы называли Временное правительство, произведен в полковники. Но я этого производства не принял, остался в законном, данном мне законной властью чине. Я думаю, вы этого не знали. Месяц спустя, я был уволен от службы корпусным ревкомом за отказ войти в их сие преступное сообщество. Полагаю, что был уволен, а не застрелен только потому, что со всеми, без разбора чина и положения, я был в ровных и честных отношениях. И подозревать меня можно только по причине нынешнего всеобщего душевного заболевания!

— Простите меня еще раз! Признаюсь, я Мише не поверил! Но я обязан был спросить! Это было необходимым условием! — жутко покраснел Крашенинников.

— Чьим условием? — спросил я.

Крашенинников замялся.

— О каком отъезде Хохрякова вы говорили, поручик? — потребовал я.

— Об отъезде его в Тобольск. Я полагал, вы знаете! — переживая стыд за свои подозрения, робко сказал Крашенинников.

— Задача отъезда! — потребовал я дальше, а сердце уже захлебнулось беспорядочностью работы, и что-то угнетающее надавило мне на плечи. В Тобольске был государь император с семьей. И что-то должно было там произойти, чтобы Пашу Хохрякова оказалось необходимым отправить туда.

— О задаче я ничего не знаю, Борис Алексеевич! — едва не под козырек доложил Крашенинников.

— Миша из тех людей, которые ставят мне какие-то условия? — продолжил я требовать.

И далее я слушал Крашенинникова, что Миша не из тех людей, что Крашенинников не знает, кто на самом деле Миша, что он ведет себя так, будто за ним стоит какая-то сила, — я слушал Крашенинникова, но меня мало занимало все услышанное. Меня занимал один вопрос — что надо Паше Хохрякову в Тобольске. И сама по себе всплыла какая-то прочная, будто даже заскорузлая и стыдная неприязнь к государю императору. Зачем нужны были наши жертвы на войне? Для какой высшей цели нужны были наши жертвы сейчас? Только во искупление сумасшествия прошлогодних февраля и марта? Но если некто сволочь унтер Кирпичников, как говорили, начал революцию своим выстрелом в своего батальонного командира в тыловом питерском гарнизоне, если ее начали некто Львов не Львов, некто Пуришкевич не Пуришкевич, Родзянко, начальник штаба Верховного Алексеев и прочие все командующие фронтами — да кто угодно, какое же отношение имели к этой революции мы, серая скотинка солдаты? И почему мы, именно мы должны были теперь искупать их сумасшествие?

Так вот я встал во внутренней расшараге и кое-как выбрался из нее, вспомнив,

что мне надо решить вопрос о Маше.

— Поручик! — сказал я Крашенинникову. — Мне необходимо вывезти из Нязепетровска семью сестры Маши. Можете ходатайствовать обо мне перед начальником гарнизона?

Он отрицательно мотнул головой.

— Нет, Борис Алексеевич! Из ведомства Юровского подан особый список. Вы догадываетесь какой. Вы в этом списке. Вам из города никуда нельзя. Кстати, могу предупредить. Вы о семье, о сестре, о родственниках вообще нигде не говорите. Родственников офицеров берут на учет на случай участия офицеров во всяких выступлениях. Родственники в таких случаях будут заложниками со всеми нынешними последствиями. Так что… — он по-шпаковски развел руками.

— Откуда это изуверство, поручик? Откуда это изуверство азиатской деспотии? — без сил ужаснуться, спросил я, спросил как-то вычурно, как бы с желанием показать сей «восточной деспотией» свою ученость, а на самом деле я так спросил только от бессилия что-либо понять.

И в затылок сему бессильному вопросу необученным новобранцем растопырилась столь же бессильная и полная злобы мысль: «Где же эта сволочь, где она, которая, подобно Дарию, — если уж восточная деспотия, то и восточный деспот Дарий! — где эта сволочь, которая способна все это остановить?» — и потому только сволочь, что никак не собралась сподобиться и хотя бы воззвать.

Я, прошу прощения, пёрся, тащился по колдобинам и начинающим вытаивать нечистотам, выбрасываемым за зиму, оказывается, прямо на улицу. Я шел в плотном клубке разномастных голодных и грызущихся собак, начинающих свои собачьи свадьбы, и в распирающей злобе, как какой-нибудь сволочь-унтер, матом крыл свою бездарность, свою подлость, гнусность, бесхребетность, трусость, свой эгоизм, свое себялюбие, свою тупость, дурь, самонадеянность, крыл в себе все рожденные человечеством пороки — крыл всего себя, и крыл только за то, что не остался в корпусе, не застрелил ревком, не ушел в сотню к незабвенному моему Василию Даниловичу Гамалию, не ушел в партизаны к Лазарю Федоровичу Бичерахову или, на худой конец, к душке-пьянице Андрею Григорьевичу Шкуре.

Какой счастливый человек мой брат Саша, думал я, какой он цельный, как умно он поступил, пошедши в Персидскую казачью бригаду, а потом на Кашгар, к казакам-бутаковцам, с которой сейчас, останься он жив и останься жива полусотня, он тоже бы стал партизаном, он бы привел ее сюда. И сама собой, будто из космоса и, по сути, бессильем рожденная, по сути, детская, выхватывалась картина торжества справедливости, устанавливаемая полусотней Саши.

Что им надо? Почему им непременно это надо? — думал я о революции, о сонмище порочных людей. Я вспомнил одного механика электростанции, построенной на нашей улице, можно сказать. Нашего соседа, человека не бедного, весьма симпатичного, приветливого, умного, опрятного, но оказавшегося революционером и арестованного полицией в пятом году. Что надо было ему, человеку не бедному, занимавшемуся любимым делом? Неужели он оказывался в душе порочен и ему были нужны вот этот государственный хаос и это всеобщее

помрачение?

Я забыл, когда перечислял события нынешней зимы, упомянуть об одном ставшем совершенно обыденным случае — об убийстве молодого человека по фамилии Коровин. Обычно ни о каких убийствах новая власть не сообщала. А тут неожиданно поместила в газете некое сообщение об этом убийстве. Сообщение было смутным, таящим какую-то ложь, перекладывающую вину на какую-то контрреволюцию. Даже похороны несчастного молодого человека могли быть использованы контрреволюцией для сведения, пересказываю дословно, своих низких политических счетов с советской властью. А убили его, оказывается, революционные матросы средь бела дня на улице. Они ехали, как водится, на реквизированном авто. Что-то у авто случилось с мотором. Авто остановилось. Революционные матросы не нашли ничего иного, как схапать первого же прохожего, каковым и оказался несчастный молодой человек, и заставить его устранить неисправность. Только революция могла родить такую дикую фантазию. Ни Стенька Разин, ни Емельян Пугачев, ни какой-нибудь душегуб Кудеяр не додумались бы над своей жертвой глумиться таким изощренным способом. Ведь не заставляли они свою жертву, например, достать луну и на вопрос: «Отец родной! Да как же я ее тебе достану?» — не кричали: «А, сволочь, контра, ты не хочешь!» — и не принимались истязать ее, как то сделали революционные матросы. Вот тот симпатичный механик с электростанции, наш сосед, хотел такого? Хотел он уничтожить ни в чем не повинного человека? Хотел он, приветливо здороваясь, зачислить меня в особый список и взять заложниками всех моих родных? Хотел он уничтожить целый класс?

Вечером я спросил Ивана Филипповича, помнит ли он этого симпатичного механика.

— Как же, как же! Как же не помнить! — вскинулся Иван Филиппович. — Да никто и не поверил тогда! Нам околоточный Иван Петрович говорит: «Революционер! Целую типографию соорудил и прокламации против строя печатал!» — а мы никто не верим. Арестовали всю их компанию, человек, поди, с десяток. Выследили и нагрянули. Нелегальные они были. И слова-то такого не знал. А Иван Петрович говорит: «Эти-то, нелегальные, самые злодеи и есть! И сами они добром не живут, и людям не дают!» А о ком ты говоришь, о Сергее-то Александровиче Черепанове, так он на виду жил, в квартире при станции, а притворялся, то есть тоже, значит, нелегальный был. А что не жить? Квартира хорошая, казенная, работа хорошая, при жене, батюшку твоего Алексея Николаевича уважал. А вот поди ж ты, снелегалился! Да это что! Еще того тошнее было. Ты уже в военное училище уехал. А еще одного нелегального арестовали. Он прямо в доме начальника жандармерии по Солдатской улице жил. Эк приспособился! А все равно выследили! Да и это-то еще что! Вот кто сейчас у совето в Питере самый главный, фамилию его я не вспомню! — Иван Филиппович в азарте хлопнул себя по колену. — Самый главный из этих!

— Ленин с Троцким? — стал подсказывать я.

— Нет. Против этих он пожиже будет, но тоже главный. А может, и этих под свой обшлаг загибает, да пока помалкивает. Да вот он еще в пятом году здесь народ мутил! Ах, как же я забыл! ВЦИК, ВЦИК все про него пишут, ВЦИК, будто на

собаку прикрикивают!

— Свердлов! — догадался я.

— Он! Так он жил у присяжного Бибикова на Златоустовской! Помнишь, дома-то у них рядом, у Бабикова и Бибикова! По народу все скалились: Бабиков да Бибиков! — дескать, как бы не перепутать. Вот твой Свердлов-то у него жил, сладко пил, сладко ел, да в благодарность-то набздел! Вот так оно, с емя пароваться-то!

Ничего я не сказал об отношениях с Анной Ивановной, все время оставляя сказать о них напоследок. После моего ночного рейда до двери ее комнаты внешне ничего у нас не переменилось. Но всё вернулось как бы в первоначальное состояние. Между нами исчезло дыхание друг друга, общий ток крови, общие невымолвленные мысли, метание самих в себе и все иное, что мы испытывали в вечер перед моим рейдом.

Возможно, в ней пробудилось чувство ко мне. Но я мог считать, что оно пробудилось лишь из чувства благодарности, то есть она становилась зависимой от меня. Я долго думал, так ли. И каждый раз я приходил к этому выводу — да, это так, я не имею права воспользоваться ее чувством благодарности, ее зависимостью от меня, если даже она себя таковой не считала. Это было бы подлостью, декадентством, революцией. Она меня слышала. Я это увидел потом по ее глазам. Ее смутил мой поступок. И ее смущение первоначально подействовало на меня угнетающе. Я себя почувствовал сволочью — при нынешнем времени никаких иных характеристик, кроме характеристики революционера, на язык не приходило. Я почувствовал себя сволочью, которая не спасла Анну Ивановну, а только приготовила для себя. И хорошо было, что у нас стал жить Бурков. Я прятался за его присутствие. При этом я в своих глазах становился еще большей сволочью. Но черт бы разобрался в отношениях с женщиной. Однажды вдруг, в какой-то этакий час — у декадента Бодлера в одном из стихотворений, «когда бы ввечеру, в какой-то грустный час», — так вот однажды вдруг, в какой-то особенный час я увидел, что ее смущает совсем не то, что я себе надумал. Ее смущало мое переживание и непонимание, почему я прячусь за Буркова. Я не на авось упомянул строчку из французского поэта из его сборника «Les fleurs du mal», «Цветов зла», вталдычиваемого нам на занятиях по французскому языку его апологеткой, милейшей барышней-смольнянкой. Только вот этот парадокс цветка и зла и мог бы объяснить природу отношений мужчины и женщины. Миленькое дельце — я казню себя за гнусный свой поступок. А этот поступок, оказывается, расценивается таковым же, но по другой причине. Он, оказывается, расценивался бы за доблесть, если бы был доведен до конца! Ну, как тут не подивиться прозорливости наших предков, давших слову «война» имя женского рода! Сродни друг другу выходили они — война и женщина! По отношению к обеим дело, не доведенное до конца, оборачивалось самым губительным образом. Оно не оставалось в каком-нибудь притухшем, тлеющем виде, ожидающем своего завершения в будущем. Оно обязательно должно было быть завершено, или оно не должно было быть начато.

Вот что я постиг в чистых глазах Анны Ивановны.

«Hexe! — сказал я глазами ей на ее родном языке. — Ведьма!» — «Keine Hexe,

aber kleine Hexe! Нет, не ведьма, а ведьмовочка!» — в моем прочтении ответили ее глаза.

Все это совсем не походило на то, как в свое время вернулся с войны брат Саша. В отличие от его времени, нам надо было выживать, даже зная, что мы обречены. При опрокидывании нас в бездну мы обязаны были искать соломинку. Я не знаю, простил ли бы я за подобное Элспет. Но я был уверен — она меня прощала. Но отношение с Анной Ивановной должно было быть завершено или не начато вовсе. Оно не могло быть соломинкой.

14

В марте же наш Второй парк Четырнадцатого Сибирского дивизиона расформировали. Нам было предложено вступить в Красную социалистическую армию. Подполковник Раздорский испросил отпуск на родину. А меня спасла открывшаяся, вернее, восстановленная должность коменданта лагеря военнопленных, которую подсказал мне, а потом походатайствовал за меня Бурков. Вообще, удивительно его участие в моей судьбе. Будто заступницы мои направляли его сберегать меня. Далеко не последний чин в новой власти, он еще в Оренбурге взялся нам с сотником Томлиным покровительствовать. И кабы не он, наверно, мы до сего дня маялись бы где-нибудь под Самарой или Кинелем, а то и валялись на обочине дороги расстрелянные. От Оренбурга к нам, как я уже упоминал, прямой железной дороги не было. До войны она прерывалась в Челябинске. За войну ее протянули до станицы Брединской с нашей стороны и до Орска со стороны Оренбурга. А расстояние в двести верст между этими станциями приходилось покрывать в прежней манере на перекладных. Кому это не импонировало, мог ехать на Самару или, по крайней мере, до Кинеля и ждать пересадки на другой поезд. В Оренбург мы прибыли, когда он был еще у атамана Дутова Александра Ивановича, а уезжали уже из Оренбурга товарищей Цвиллинга, Кобозова и кого еще там. Ясно, что нам никто проездных документов не выписал бы, завидев в нас недобитую дутовскую контру. Он подошел к нам, ткнул глазами в наши сибирские казачьи знаки войскового отличия, спросил:

— Ну что, казачата? Плачет по вам Сибирь-матушка?

— Плачет, — сказал сотник Томлин.

— Ладно, давайте со мной! — мотнул он головой. — Я еду на Катькин бург. Давайте вместе, если вы не последняя контра!

— И чьих же вы такие будете, если сами не последняя она же? — спросил сотник Томлин.

— Если вы и контра, все равно уговор: до последнего держаться вместе. К вашим попадемся, я — ваш. К нашим попадемся, вы — наши. У меня мандат. И пока дорога наша, вам за меня надо держаться, как солдатской вше за подштанниковый обшлаг! — сказал Бурков.

— Будем держаться! — изобразил смиренность сотник Томлин.

Мандат Буркова оказался таким, что станичники провезли нас от Орска до Брединской за два дня, хотя, по их же словам, бывало, преодолевали этот путь за неделю и за другую. И теперь он, зная мое отношение к новой власти, был к нему вполне терпим, только иногда говорил, что в свое время я все постигну, что хорошие люди их власти во как нужны. Его появление спасло нас от нового заселения, от инсинуаций каторжанки Новиковой, от постоянных обысков, творимых кем попало по ночам и не обязательно властью. Порой обыски под видом власти творились уголовниками. По изощренности издевательств во время обысков, кажется, власти с

уголовниками заключили сердечное соглашение. Обе стороны в этом плане состязались, и трудно было отдать кому-либо предпочтение.

К сестре Маше взялись поехать Анна Ивановна и Сережа Фельштинский. Я воспротивился. Я дурацким образом еще надеялся на получение официального документа на проезд, без которого видел только вред как сестре Маше, коли она была под надзором, так и Анне Ивановне с Сережей. Вышло именно так. Но они решились поехать тайком, поехали и уже на вокзале были задержаны и побиты охраной — и хорошо, что не были посажены в каталажку или отданы в ведомство уехавшего Паши Хохрякова в лице его подручного Фомы Гуня. Причиной их фиаско стал сам Сережа, слишком возмутившийся порядками на дороге, о которых он по своей честной, и в данном случае ненужно честной натуре решился высказать начальнику вокзала, за что и был побит.

Анне Ивановне работы не находилось. Гарнизон сокращался. Сто девяносто пятый госпиталь был передан Шведскому Красному кресту и стал обслуживать военнопленных с их собственным медицинским персоналом. Оставшийся единственным лазарет Сто двадцать шестого полка перешел в ведение городского Совета и тоже с сокращением штатов. То же самое было в инвалидских лазаретах, равно и в других учреждениях. В газете, приносимой Бурковым, все чаще стали появляться объявления о поиске работы примерно такого содержания: «Барышня с хорошими манерами ищет работу бонны…» Или: «Барышня дает уроки фортепьяно…» А вот это объявление, просто крик души, продолжалось публиковаться довольно продолжительное время из номера в номер: «Приезжая убедительно просит дать ей место по письменной работе приказчицы, кассирши, может работать на пишущей машинке». На фоне всех других газетных сообщений они смотрелись странно и явно безрезультатно, ибо нанять кого-то в бонны означало живо привлечь к себе внимание каторжанок Новиковых со всеми последствиями. А наличие в квартире фортепьяно говорило новой власти о наличии в квартире излишнего количества места и принадлежности квартиры состоятельным лицам. В условиях издания приказа или, как они полюбили именовать, декрета, по которому принимались «немедленные решительные меры по реквизиции квартир состоятельных лиц», думается, едва ли кто откликался на подобные объявления. И явно сидели сии барышни изо дня в день на кипятке без сухарей. Хотя бывало, что кто-то как раз публиковал иное, — публиковал, например, что такому-то требуется вполне приличная квартира на три комнаты с прислугой и обедом. Думается, судьба такого-то, если он не был представителем новой власти, пожелавшим пожить шикарно, была в обозримом будущем очевидна.

Правда, власть постановила уничтожить плату за обучение в школах и снабжать учащихся учебниками бесплатно, что в условиях всеобщего нашего обнищания было мерой хотя и вынужденной, но все-таки симпатичной. К этой же симпатичной мере принадлежала и другая мера, предписывающая всем врачам и «зубоврачам» — так в объявлении — принимать «бедных больных» по одному часу в день бесплатно. И то ли власть посчитала, что «бедных больных» в условиях революции не должно быть, то ли посчитала, что в тех же условиях врачи и «зубоврачи» выучились работать с невероятной скоростью, но я не смог себе представить, чтобы за один час в день была оказана хоть какая-то минимальная польза страждущим.

Нелишне заметить и такую особенность в формировании новой власти, которая еще во время оно была сказана словами Грибоедова Александра Сергеевича: «Ну как не порадеть родному человечку». Согласно этой особенности, некто Чуцкаев С.Е. назначался комиссаром народного просвещения Уральской области, а его супруга Чуцкаева Дина Харитоновна — заведующим отделом общественного призрения. Военнослужащий Селянин возглавлял военный отдел, а его супруга Т.С. Селянина была введена в штат местного лазарета. Военнослужащий Селянин был человеком неплохим. Тем неприятнее стало узнать об использовании власти в личных целях.

Кстати, власть, загадив особняк Поклевского, перебралась в здание Коммерческого собрания, а Паша Хохряков до своего секретного отбытия из города занял квартиру управляющего Волжско-Камским банком, выселив того куда-то, однако, слава Богу, не на «поля Елисейские» — это совершенно точно. Ну, и для некоторой экзотики скажу о том, что в городе продолжали функционировать различные дипломатические миссии, как, например, консул Великобритании, пребывающий на Вознесенском проспекте, дом двадцать семь, Шведская королевская миссия на Колобовской, дом тридцать, вице-консул Швеции на Тарасовской набережной, дом два, и так далее, вплоть до определенных представителей Японии, Китая, Швейцарии, Голландии, Греции. Исполкому новой власти они внесли протест по поводу обысков в квартирах. В ответ им было указано на несовместимость их полномочий с протестом, то есть вмешательством во внутренние дела иностранного и суверенного государства.

В десятых числах марта прибыл в город из столицы некто тов. Анучин, возможно, родственник генерал-губернатора Восточной Сибири Анучина. Он прибыл с несколькими миллионами рублей на организацию новой армии. Про генерал-губернатора Анучина у меня засело с гимназической учебы. Наш географ и историк Будрин Василий Иванович давал диктант с историческим уклоном по Сибири и прочитал этого самого Анучина. Я же решил показать свое знание крестьянской жизни и написал фамилию через «о», Онучин, как то требовало наименование крестьянской портянки. Василий Иванович, ставя мне привычную оценку «отлично», тем не менее назвал меня по отчеству Олексеевичем, с явным выделением при произношении именно этой буквы «о».

Анучин прибыл в город с несколькими миллионами, а в самом городе денег практически не было. Петроград принужден был предложить городу выпуск своих собственных, областных, денег, в связи с чем он вспомнил о некогда работавшем здесь монетном дворе. Вообще, восхитителен в этом отношении артистизм новой власти — изобразить простоту решения вопроса воспоминанием о монетном дворе, от которого осталось только одно предание, да еще остался прошлогодний смех горожан, сбегавшихся смотреть на учения женского батальона смерти, временно размещенного на бывшей его территории.

С февраля в городе все более стал давать о себе знать тиф. Городская хроника сообщала, например, о двадцати заболевших сыпным тифом, о семидесяти девяти заболевших возвратным тифом, заодно называя число заболевших сифилисом едва ли не в сто человек. Иван Филиппович, прочитав об этом, дал такой комментарий:

«Новая-то власть началась, совето-то началось в прошлом годе, так стало, что врачи кинулись лечить проституток от дурных болезней, а они пришли к новой власти, сказав, что это против свободы, что они теперь не скотина какая-нибудь, а свободные женщины!»

Анна Ивановна было засобиралась пойти в лазарет волонтеркой. Я остановил. Наверно, это было непорядочно — не любить ее и держать при себе, то есть мучить. Но, кажется, я стал кое-что понимать в жизни. По крайней мере, я себе усвоил, что в отношении с женщиной следует чаще руководствоваться не логикой и соображением высшей морали, а следует бестрепетно диктовать, ибо женщина, по моему мнению, порой, особенно будучи в чувствах, руководствуется не развитием отношений, а их статикой, затвердевшей и неизменяемой формулой, подобной, например, статьям государственного законоуложения, гласящим, что «Государство Российское едино и нераздельно» (статья первая Свода основных государственных законов), или что «Государю императору принадлежит почин по всем предметам законодательства» (статья восьмая того же Свода).

Может быть, я был не прав, но мне думалось, что исповедать эту формулу для женщины означало быть счастливой.

Может быть, Анна Ивановна терзалась подозрением насчет моего чувства, однако я оставил это на ее характер.

С прибытием миссии Шведского Красного креста у меня появилась надежда на установление связи с Элспет. Какое-либо сношение мое по этому поводу с британским консулом немедленно привело бы к моему аресту — потому, разумеется, я, как некогда в детстве, издалека и в трепете смотрел на казармы полубатальона, размещенного в нашем городе, позволил себе пройтись мимо дома консула несколько раз и тем ограничить свои мечтания.

Раньше этого, однако, было как раз побитие Сережи и Анны Ивановны на вокзале, и они вечером предстали нам во всей красе торжества революции с той только подлинной, не революционной, справедливостью, что Анну Ивановну все-таки по какой-то причине не тронули. Может быть, в ком-то из охраны возобладала атавистическая, дореволюционная, эстетика, по которой барышень не трогали даже разбойные люди. Конечно, было всякое и в прежней, дореволюционной, жизни. Но повсеместный обычай бить, истязать и даже убивать женщину, особенно опрятно одетую, бить, истязать сестру милосердия, только что ухаживавшую за раненым солдатом, то есть мужиком в шинели, — это стало эстетикой революции. Непостижимой для меня оказывалось в мужике сочетание слепого разгула с наивной верой в безнаказанность и даже праведность этого разгула, будто никогда он, мужик, не крестил лба, не верил в неизбежное представание перед Богом и перед своими жертвами.

Мне много раз приходили воспоминания о наших мужиках, о мужиках нашей бельской деревни. И мне казалось, что они были не такими, как все. Разве мог быть способен на злодеяние, например, тот мужик, пришедший с военной службы и просивший мою матушку отпустить меня с ним пройтись осенней рямой, осенними надбельскими лугами, посидеть на песчаном берегу возле костра. А наш же

деревенский мужик Тимофей по прозвищу Журавль, называемый мной Тифомеем, приносящий нам в лубяном коробе свежих стерлядок, подбрасывающий меня едва не в облака, а потом, откушав матушкиной наливки, мне рассказывающий свою жизнь, всю прошедшую на реке. «Эх, сыночек, река-то мне матушка и батюшка!» — говорил он.

— Матушка и батюшка она мне! Где батюшка меня батожком угостит, там матушка меня волной приласкает! Я при пароходах молодость-то провел, пока здоровый был. Шибко, на всю жизнь я их полюбил. Какая красота в них заложена, красота неизъяснимой силы! Такой красоты уж нам, крестьянству, не заложить, хоть всем миром позаймуйся! Неизъяснимо это, будто какое тихое и радостное знамение послышится сначала. А это он из далей о себе знать подает. Его надолго еще не видно. А он уже о себе гул подает, вперед себя его пускает: «Ох-ох-ох!» — поршнем охает, и по воде издалека этот «ох» стелется. Стелется «ох» чистый, ровный, будто и духмяный, как тебе от хорошего горячего пирога. Да нет! Что там пирог! Силищу немереную этот «ох» выдает. Куда там лошади! Лошадей там целые табуны в этот «ох» загнаны. А потом он выплывает из-за поворота, еще сначала точечка, маковое зернышко, соринка в глазу. Но он выплывает и о себе знать подает, уже гудком оповещает: «Я иду! У-у! У-у! Иду!» Ах, как красиво, будто в книжке в твоей написано, сыночек! А я остановлюсь сено грести, мне удержу нет. Я бы так с покоса-то удрал его смотреть. И удрал потом. Подрос и удрал. Я длинненький был, росленький. Мне моих годов не давали. И взяли меня вот для какой работы — глубь на косах проверять. Хоть по всей реке и были дамбы поставлены, и глубины были по фарватеру подходящие, а все равно в ином месте, глядишь, нанесет косу. И капитан знает про эту косу. Без знания на пароход — ни-ни. Он знать знает, а все равно проверять проверяет. Подходит пароход к такому месту. Вчера мимо можно было пройти. А сегодня она, может, уже стервявая, прости меня, Господи, а ты не слушай! Может, она, ехидна, намылась более, чем вчера. Пароход: «Машина! Малый ход!» — и на ощупь, вот так, чух, чух, чух, ч-ч-ч-ух-х-х, тише-потише, все прислушливее к косе подходит. А еще надо науку знать. Если вверх по реке идешь, то грузу больше на нос положишь, чтобы силу течения сбавить. И нос, значит, поглубже в воде зарыт. И вот пароход слушает, слушает и вдруг — хвать! Песок! Машине в этот же секунд: стоп, машина! — и нам: а ну, робя, ребята то есть, маячь! — это значит, нам прыгать за борт и указывать глубину, где по брюхо, где побольше.

Вот такие примерно воспоминания приходили мне о наших мужиках. И хотя приходили еще иные, например, о мужике, который от своей дури как-то тяпнул лошадь по шее топором, все равно я считал наших мужиков против городских несравненно душевнее, человечнее. И никак у меня не вязалось, что и они могли впасть в революционный разгул.

Вот так вечером мы с Бурковым пришли со службы, и нам во всей красе разбитого лица Сережи и возбуждения Анны Ивановны предстали наши поборники вокзальных порядков.

— Вот ведь как врать научились! — прежде них встретил нас в справедливом гневе Иван Филиппович. — Стыд совсем потеряли! Сказались на предмет работы пойти. Записочку тебе, Борис Алексеевич, подсунули, а сами — дырка свисть, на

вокзал! Ехать в Нязепетровск они удумали!

Разумеется, Сережа остался у нас. Они с Анной Ивановной, стараясь со смехом, рассказали все подробности их мероприятия. А я едва не более Ивана Филипповича возмутился. Меня стал колотить запоздалый и уже бесполезный, то есть уже ненужный страх от представления совсем другого конца их мероприятия. Сережа сверкал узкими щелками заплывших глаз, едва двигал челюстью, едва шевелил губами, морщился, но одновременно в восторге рассказывал.

— Я же все продумал! — рассказывал он. — Я же подобным образом избавился от госпиталя! Это же черт знает что — лежать в госпитале! Всех моих соседей гонят вон, а мне предписывают лежать! А я чувствую, что лысею. Я говорю доктору выписать меня и отправить обратно к Александру Ильичу Дутову в дивизион. А он отвечает, что потому и не выписывает, что якобы я лысею. Я, говорит, еще тебя другому доктору покажу, который в таких случаях дока. То есть он хотел меня упрятать в чеховскую шестую палату. Ах, в шестую палату, ах, другому доктору, подумал я, ну, так потом не говорите, что я просился выписать меня! В один прекрасный день доктор на экипаже подъезжает к госпиталю, а я в окошко ему выставляю свою тощую и окопными прыщами усыпанную рожу! Анна Ивановна, не эту рожу, которая сейчас похожа на большую шаньгу, а другую, которая…

Пока-то Анна Ивановна брала в толк наличие у Сережи какой-то другой рожи, Иван Филиппович успел за нее оскорбиться.

— Ах, ты, нечистый дух! Кого же ты, оллояр несметный, при барышне такое-то! — вскричал он, и кроме гнева в голосе его было какое-то превосходство перед Сережей — будто бы вот он, Иван Филиппович съездил и все сделал, как надо, даже под угрозой красных винтовок, а Сережа даже и в поезд-то не смог сесть.

— Да что же! Я и понять не успела того, что они сказали! — сконфузилась Анна Ивановна.

А глаза ее, все еще возбужденные событием, горели на Сережу каким-то хорошим огнем, даже более, чем просто хорошим огнем. Она явно была Сережей восхищена, и ей явно было за Сережу страшно. И еще я увидел, как Анне Ивановне хотелось, чтобы ее взгляд на Сережу я увидел и принял его за чувство к нему. Сережа был достоин такого чувства. Но я видел, что у Анны Ивановны не было к нему чувства..

— Ну, ладно! Показал ты, и что доктор? — спросил Бурков у Сережи.

— Ну, так выписал он меня к тому доктору, к которому грозился выписать! А тот вместо того, чтобы меня, как дурака, отправить на фронт, обратно к их высокоблагородию полковнику Дутову Александру Ильичу, отправил меня в Екатеринбург на попечение родителей! — в гневе сказал Сережа.

— А ты просился выписать тебя на фронт? — спросил Бурков.

— А куда же еще? Мне очень там понравилось. Я там был на своем месте. Я у Александра Ильича был лучшим писарем! У меня там ни одна бумажка не пропала, ни одна запятая в приказе со своего места не сошла. Трахнет их чемодан, затрещит наш блиндаж, а я сразу стол с бумагами шинелью накрою — и у меня все чисто!

Даже в чернильницу земли не попадало! — в гордости ответил Сережа.

— Ну, а на вокзале что? — спросил Бурков.

— Ах, Сережа, не надо! Ведь стыдно! — попросила Анна Ивановна.

— На вокзале я пошел к начальнику показать эту справку! — совсем не слушая Анну Ивановну, сказал Сережа. — Там сплошь толпа. И все выражаются в рамках языка, не входящего в известный словарь Владимира Ивановича Даля. Я вынул справку и закричал, что страдаю бешенством на почве неудачно перенесенной бубонной чумы!

— Как это — неудачно? С того света, что ли? — спросил Бурков.

Сережа внимательно и, кажется, в неудовольствии посмотрел на Буркова.

— А что же вы хотите, чтобы я закричал «удачно перенесенной»? Меня посчитали бы за психа и слова мои приняли бы за издевательство. Ах, сказали бы, да он удачно перенес, так бей его! Именно должно было сработать слово «неудачно»! — сказал Сережа.

— Да, резонно! — согласился Бурков.

— Но все равно меня никто не понял! — в смешении негодования и удивления сказал Сережа. — Никто! Вы представляете! Им, видите ли, бубонная чума да и бешенство не внушили никакого страха! Черт знает что! Еще год назад меня бы скрутили и отвели куда-нибудь в катаверную и облили бы гашеной известью или чем там с чумой борются, креозотом каким-нибудь облили бы! А нынче!..

— А тут разве не скрутили? — спросил Бурков.

— Ну, так именно скрутили! Но прежде, чем скрутили, я вынужден был кричать про холеру, оспу, проказу, а потом про эту чертову новую власть! — в той же смеси возмущения и удивления сказал Сережа.

— Вот, вот! А я вот тихо-тихо, а до места-то доехал! — не стерпел показать свое превосходство Иван Филиппович.

— Иван Филиппович! Ну, так вы бы еще вспомнили, сколько вам лет! Трогать стариков — это удел последних варваров! — сказал Сережа.

— Жизнь прожил, всякого навидался! — сказал Иван Филиппович и оборвал себя, не сказал нелестного эпитета в сторону нынешнего времени и только хмуро черкнул взглядом по Буркову.

— Ну, а дальше что? — спросил Бурков у Сережи.

— Меня потащили в каталажку, а может, где-нибудь за пакгаузом штыком приколоть, но Анна Ивановна сумела убедить, что я псих настоящий, со справкой. Меня побили, а на нее только замахнулись! — завершил свое повествование Сережа.

После чая он и Бурков взялись за дискуссию о революции вообще и нашей революции в частности и что-то стали спорить о Дутове Александре Ильиче. Вечер был тепел, и я вышел на крыльцо, сел на ступеньки и стал смотреть на темнеющее небо, на место сваленных лип, на оголившуюся без лип стену соседнего кирпичного

дома в два этажа, в котором еще с поры моей гимназии снимал квартиру железнодорожный слесарь с семьей. «Какого черта им всем надо!» — безысходно и зло подумал я обо всех враз, кто затеял нынешнее время, включая туда, конечно, и тех, кто скрывался на электростанции, жил в хорошей квартире, имел хорошую работу, хорошее жалованье, а все равно гадил…

Когда я вернулся в дом, все уже разошлись спать, только Анна Ивановна сидела в столовой у окна. Я подошел к ней. Ничего в окно не было видно. Меня удивило, что она в него смотрела. Я остановился подле. Мы помолчали. Она начала разговор первой.

— Я бесконечно благодарна вам, Борис Алексеевич. Но у меня нет больше сил жить за ваш счет! — сказала она.

Я услышал в этом другое. Но показать, что я услышал другое, я не захотел. У меня не было права показывать, что я услышал другое. Потому я сказал, что она несет вздор.

— Вздор, госпожа Тонн! — сказал я.

— Уже и госпожа! — горько усмехнулась она.

— Потому что вы несете вздор! — сказал я.

— Что же мне нести остается, если я больше ничего не приношу! — с той же горечью сказала она.

И я понял — она сказала мне попрек, она упрекнула меня в отсутствии у меня чувства к ней. Но я снова не стал показывать, что я понял.

— Иной раз уже то хорошо, что никто никому ничего не приносит! — сказал я и увидел, что сказал бестактно.

— Да, конечно. Вы правы. Иной раз именно это хорошо! — сдерживая голос, сказала она.

Мне в пору было припасть к ее коленям. Но я снова сказал резко.

— Вот как хорошо, что и вы это понимаете! — сказал я.

— Мне ничего иного не остается, как только каждый день напоминать об этом себе! — сказала она.

Я взял ее за плечи и даже через шаль почувствовал их худобу и трепет.

— Анна Ивановна! — не зная, что сказать дальше, сказал я.

— Борис Алексеевич! — с укором сказала она.

Играть дальше я не мог.

— Вы же знаете! Я вам говорил о жене и ребенке! — сказал я.

— Борис Алексеевич! — повернулась она и взяла меня за руки. Ее руки были горячи. — Борис Алексеевич, я все это помню. И я не претендую. Они пока вам недоступны. И они долго будут вам недоступны. А мы здесь. И каждую минуту нас могут убить или… — с жаром сказала она и оборвалась на полуслове.

Я на миг увидел давешнее пустое, без лип место и глухую стену соседнего дома, увидел, будто и у меня было так — вместо Элспет и моего ребенка была только глухая, непроходимая стена.

— Вы не заболели? — отвлекаясь от стены, спросил я о жаре ее рук.

— Это не имеет значения! Это все — ничто! Вы не можете себе представить моего положения! Вы спасли меня. И я вам по гроб благодарна. Вы не знаете, каково это — не есть, не брать ни кусочка хлеба, ни крошки, а только пользоваться кипятком и знать, что и в кипятке откажут! Да что я говорю! Вы прошли фронт. Вы все это знаете. Но вы знаете это по-другому. Вам не дано было знать, что все равно придется сдаться, что все равно придется пойти на промысел, на этот промысел, и только ради того, чтобы поесть и заплатить хозяйке! Ведь я пошла. И если бы был кто-то другой, не вы, я бы была вынуждена! Вы понимаете! Не первый, которому хватило бы сил, хватило бы стыда отказать, как я кинулась прочь от вас, если не первый, так второй, — все равно бы! А вы меня спасли!

— Да будет вам! Это Бог так расположил, что был я! — сказал я, отказываясь от приписываемого мне доброго дела.

— В этом-то все и кроется! Это чудо, как хорошо все обустроилось! И я по гроб должна быть благодарна хозяйке, что она меня погнала! Иначе бы было все скверно! Но кто бы устоял на моем месте! Кто бы не полюбил вас! — едва не выкрикнула Анна Ивановна.

— Анна Ивановна, мы все вас любим. И не надо вам стыдиться своего положения! Нам очень хорошо оттого, что вы с нами! — сказал я.

Я не знал, что иного сказать. Я совершил свой рейд к ее комнате. И мне было стыдно за этот рейд.

— Подарите мне это время, пока нет вашей жены! — крепко сжала она горячие свои ладони. — Подарите! Я не прошу у вас любви! Я ни на что не претендую! Я исчезну тотчас, как только… — она опять смолкла на полуслове, но было понятно, в какой миг она обещала исчезнуть.

У меня не было сил удержаться, как некогда мы удержались на Асад-Аббаде. Но поступить так, как просила Анна Ивановна, было подло.

— Вы заболели, Анечка! — сказал я. — Вы заболели. Давайте я вас провожу в постель и попрошу Ивана Филипповича заварить сушеной малины. У него наверняка есть.

Она прижалась ко мне лицом, отстранилась, сказала «спасибо» и пошла к себе в комнату.

15

По соображениям революционной свободы и заключению мира должность коменданта лагеря военнопленных была упразднена и военнопленным было предоставлено самоуправление. Порядок в лагере, и без того донельзя шаткий, исчез тотчас же, и самоуправление было признано не соответствующим революционным свободам.

По должности мне было определено право на оружие. Я пошел к старинному — конечно, в кавычках — своему приятелю, заведующему оружейной комнатой военного отдела Камдацкому Григорию Семеновичу, взял запомнившийся мне «Штайер» и потом в арсенале, перенесенном в Оровайские казармы, нашел к нему патроны, пистолет пристрелял и остался доволен. За отпуск Гриши Камдацкого в его первобытное состояние, то есть увольнение из армии, я ходатайствовал, но безуспешно. Миша отказал, а к адъютанту Крашенинникову пойти не было случая. При отказе Миша характерно похмыкал в нос и сказал, несколько почернев лицом, что, посчитав военный отдел исполкома совета богадельней, я глубоко ошибся. Гриша Камдацкий не взял с меня росписи в ведомости, еще раз сказав, что «Штайер» у него не числится. Таким образом, свое двоякое положение подполковника и прапорщика, человека, не лояльного революции и имеющего справку о заслугах перед ней, я усугубил наличием у меня оружия, которого у меня по документам не было. Гришу я придумал взять к себе кем-то вроде порученца с тем, что сумею отправить его домой сам. Он, услышав мое предложение, расплакался — так ему, видно, было невмоготу служить, и так, видно, ему было горько за свой бесталанный день рождения, не вписавшийся в приказ.

— По дому-то вся моя душа изорвалась! Спасибо, хороший человек! Век теперь вам служить буду! — сквозь слезы, брызнувшие по-девичьи, сказал он.

— Век служить, а как же домой? — пошутил я.

— Какое домой-то, коли вы ко мне с таким добром! Вы меня только на Пасху Святую отпустите, а потом я вам век служить буду! — преданно посмотрел он мне в глаза.

Я вспомнил своего вестового Семенова, свалившегося в лазарет накануне моего отбытия из корпуса. Он верно служил мне два года и просил взять его с собой, куда бы я ни отбыл.

— Хорошо. На Святую Пасху отпущу! — пообещал я.

Заведовал в совете всеми делами о военнопленных товарищ Семашко. Я поступил в его непосредственное распоряжение, испросил себе один день на ознакомление с бумагами. В ответ клинышек его бородки вострепетал недовольством.

— Что бумаги, товарищ Норин! Что бумаги! В гущу надо идти, в бучу, прямо в лагерь! Там надо вживаться в работу! Бумаги — это буржуазные предрассудки! —

заклеймил он мой метод руководства.

Я понял, что в бумагах, как некогда у брата Саши, командира отдельной казачьей пограничной полусотни, сам черт ногу сломит, что товарищ Семашко боится мне их показать. Я подумал взять на разборку бумаг Сережу, а товарищу Семашко, явному представителю буржуазии по происхождению, в некоторой насмешливой готовности подчиниться откозырял. Но, кажется товарищ Семашко принял мой жест не за насмешливость, а за издевку.

— Мы с вас спросим всю серьезность вопроса! — по-революционному косноязыко сказал он, а клинышек его бородки указал мне на дверь.

Серьезность же вопроса была поистине серьезной. Лагерь был обыкновенным скопищем развращенных бездельем и вседозволенностью, забывших не только воинскую дисциплину, но, кажется, сами человеческие заповеди оборванцев. Собственно, в условиях революции ожидать иного было бы верхом дурости.

Ворота лагеря были расхлобыстаны настежь и искобочь. Охранники лагеря, какие-то парняги, как оказалось, из верхисетской рабочей дружины, революционно и остервенело резались в карты и строили оборонительный вал из семечной шелухи. Я спросил начальника охраны.

— А ушел! — не отрываясь от карт, сказали они.

Ничуть не отличалась картина и в канцелярии. Грязь соперничала с грязью в особняке Поклевского и венчалась плакатом на немецком языке: «Наша революция — ваша революция!» — что, вероятнее всего, не особо настраивало обитателей лагеря на оптимистический лад. Писарский стол был окружен толпой военнопленных, что-то отчаянно и зло втолковывающих писарю. Я услышал только слова: «Каждый пять!» — и ответ писаря, ломающего язык под пленных: «Каждый десять!»

Описывать состояние лагеря значило бы снова описывать всю революционную Россию, которую лагерь представлял в миниатюре: грязь, вши, голод, тиф, разгул, всеобщая ненависть, — к которым прибавлялась специфика жизни пленных, выражающаяся в жгучем желании скорей возвратиться на родину. Я инкогнито обошел весь лагерь, сначала пытаясь наметить первоочередные мероприятия и работы, а потом понял, что второочередных не будет. Всё выходило самым насущным.

И все же самым первым был мой приказ о вечернем построении, приказ, вероятно, за все революционное время вышедший в первый раз. Он обитателями лагеря был принят за неслыханный. Ко мне явились выборные старшие казарм с выговором, что в России революция и они ее восприняли по совести, проявили свою солидарность, отчего приказ о построении был расценен в качестве акта насилия. Я терпеливо всех выслушал, дал минуту остыть и сказал:

— Дисциплина — самый короткий путь домой, господа военнопленные!

— Но ваша революция — это… — хотел сказать один из выборных старших, однако не успел.

Его резко и зло, если не сказать с ненавистью, перебил старший офицерской казармы.

— Die schlechte Sauerteig verdirbt das ganze Teig nicht! (Худая закваска не заквасит всей опары!) — сказал он пословицей и тем показывая, что революция их не касается.

Но, как ни странно, сотрудничать со мной, то есть выводить лагерь на сносную, с поправкой на время, жизнь стали не офицеры, а нижние чины. И это при том, что офицерский состав лагеря кроме посылок с продуктами и в обычное время незаметными, но в наших обстоятельствах становящимися просто роскошью предметами получал еще и ежемесячное денежное пособие.

На вечернее построение явилась лишь половина лагеря. Офицеры не вышли вовсе. Я спросил старших, где пребывают их сотоварищи. Оказалось, кроме сказавшихся больными, большое количество их болталось по городу. И я каждый день видел их, болтающихся военнопленных, но, сам не умеющий праздно болтаться, я не отдавал себе отчета, что они пребывают в городе не по какой-то надобности, а просто болтаются. Разумеется, я счел такое положение, когда военнопленные болтаются по городу, невозможным. Я доложил об этом товарищу Семашко и получил выговор, будто именно я привел лагерь в описываемое состояние. Я уже стал понимать, что революция — это то, когда все хотят приказывать, но никто не хочет взять на себя ответственность за исполнение. «Все, кроме Паши и Яши!» — уточнил я, присовокупляя к ним еще и Ленина с Троцким. Я даже стал испытывать к ним некое странное уважение.

Далее наши служебные отношения с товарищем Семашко складывались по вполне просчитываемой схеме. Он находил обязанным ставить мне немыслимые задачи, а меня находил обязанным их немыслимым образом исполнять.

— Товарищ Норин! — выставлял он вперед клинышек и тем как бы определял непреодолимое между нами расстояние. — Есть жалоба на худые крыши. Смею уверить себя, что вы их почините не позднее третьего дня! — И следом клинышек вещал: — Товарищ Норин! Есть жалобы на уменьшение дачи хлеба. Смею уверить себя, что вы изыщете возможность ее восстановить в прежней норме!.. Товарищ Норин! Есть жалобы на отсутствие у ваших подопечных литературы на их родных языках! Смею себя уверить, что… Товарищ Норин! Есть жалобы на то, что вы не предоставляете подопечным возможности заработка. Смею себя уверить, что… Товарищ Норин! Есть жалобы на недостаточное обеспечение лагеря мылом и карболкой, отчего ухудшается санитарное состояние вверенных вам граждан европейских стран. Вы представляете некоторые международные последствия? — и далее следовала некая попытка разноса, отчего-то прерываемая в самом начале. И опять следовали «жалобы» на то, что насыпные опилками стены казарм изъедены мышами, что в лагере не ведется работа по воспитанию интернационализма, не ведется запись в социалистическую Красную Армию, снова «жалобы» на то, что худые крыши не чинятся, соответствующая литература не предоставляется, мыло с карболкой отсутствует, заработка нет.

Он ставил мне задачи, которые в обыкновенное время решались бы без труда, а

в наше революционное время выходили по-настоящему немыслимыми. Негде было взять жести на крыши. Негде было взять стальной проволоки на изготовление мышеловок. Негде было взять лишней корочки, чтобы положить ее в мышеловку. Негде было взять мыла и карболки. Негде было найти возможности заработка. И всего негде было взять.

— Не знаю, не знаю! А хоть разберите соседние обывательские крыши!.. А хоть переводите литературу на соответствующий язык сами!.. А хоть свяжитесь с эсерами, и они вам экспроприируют!.. А хоть наймите своим подопечным бонн с их манерами!.. А хоть выпишите из заграницы!.. Вы поставлены служить, так служите! — отвечал мне клинышек и завершал глубокие по революционности свои ответы новой попыткой нотации за нереволюционную постановку вопроса решения задач с некоторыми намеками на опасное отсутствие во мне революционности в целом.

Такое отношение ко мне не изменилось даже в том случае, когда мне кое-что удалось сделать. Вернее, удалось сделать не только мне, не мне одному, а нам, так как у нас тотчас же сложилась небольшая рабочая команда — я пригласил Сережу и Анну Ивановну, и к нам присоединились некоторые из военнопленных. Сережа взялся за разбор бумаг с таким жаром и с такой дотошностью, что быстро нашел массу всевозможных нарушений прежней командой коменданта лагеря. Вышло даже так, что обитателей лагеря отпускал болтаться по городу писарь за определенную плату. Именно эту картину я застал в канцелярии в первый мой день. Оказывается, обитатели лагеря предлагали писарю по пяти рублей за разрешение выйти в город, а он требовал по десяти рублей. И сей предприниматель настолько насобачился в изыскании себе дохода, что придумал под любым предлогом и без предлога издавать приказ об аресте кого-либо из военнопленных и потом брать с них ту же плату за освобождение.

Выдача денежных пособий офицерам, врачам и санитарам лазарета часто прерывалась, и было неизвестно, куда они уходили. Куда-то девались и отпускаемые на нужды лагеря средства от совета. Численность обитателей лагеря по бумагам не совпала с настоящей их численностью. Некоторое количество их оказывалось, говоря старым языком, в «нетях», то есть, попросту говоря, была в бегах. Именно с целью побега некоторые военнопленные записывались в воинские формирования, например, в эскадрон связи, получали необходимые документы и исчезали. Бывало, что исчезали с оружием. Те же мыло с карболкой по бумагам отпускались в лагерь. Но его обитатели единодушно отвечали, что ничего подобного не видели и покупали мыло за свой счет. Не все ладно было с обеспечением хлебом и другими продуктами. Так что о корочке в мышеловку говорить не приходилось.

Дотошность Сережи была определена нежелательной. Меня спросили: «На каком основании?» — и проверили насчет финансовой и штатной дисциплины. Благо я определил и Сереже, и Анне Ивановне статус волонтеров, а Гришу Камдацкого вообще отпустил на некоторое время домой.

Анна Ивановна взялась за организацию в лагере библиотеки. Ее тоже заподозрили в своекорыстии. Она пошла в совет, в некий союз молодежи, возглавляемый дочерью Яши, и те не только взяли ее под защиту, что меня несказанно удивило, но и насобирали некоторое количество немецких, французских

и английских книг разной тематики. Счастью Анны Ивановны не было предела. Его не умалило даже ревнивое замечание Ивана Филипповича, что «с совето-то надо бы не особо, а то вам-то сейчас Ерёмка, а нам-то потом Еремей Калиныч!». Сие следовало расшифровывать как предстоящий спрос, когда вернется прежняя власть. А что она вернется, Иван Филиппович верил свято.

И, конечно, прежде всего я ввел в лагере строевую подготовку, гимнастику и вечернюю молитву. Неизбежным следствием их стала перемена во внешнем облике моих подопечных. Они почистились, починились, подобрались. Даже офицеры позволили себе взглянуть на меня как-то благосклоннее — верно, так подумали, что я готовлю их к походу против своего отечества. Далее я попытался найти возможность моим подопечным работы. На мое административное счастье, вдруг выпала работа по ремонту казарм на Отрясихинской улице, куда я смог направить более сорока человек. По поводу остальных мы подали в совет просьбу о создании какого-либо кустарно-промыслового предприятия, не конкурирующего в производстве с местным населением. Я подумал даже о работе по приборке города, на каковую город выделил приличную сумму, но все равно не находил нужного количества работников. Отклика на предложение среди моих подопечных не нашлось.

Около меня сложилась группа помощников — венгр, несколько немцев, австрийцев и босниец. Я указал их национальные принадлежности потому, что были в лагере еще и поляки, румыны и турки. Турок я, разумеется, спросил о месте и времени их пленения. Ни одного не оказалось из мест моих боев. Их, наверно по традиции, отправляли в Самару, где некогда пребывал достославной памяти Вехиб-мелик, квартальный старшина аула Хракере в бытность мою комендантом этого аула. Он утверждал, что самарцы относились к пленным туркам очень плохо, постоянно говоря при встрече: «Турка, домой!» — однако при этом щедро им подавая.

Особенно стал испытывать ко мне симпатию венгр, рядовой австрийской армии, плененный еще в четырнадцатом году, по имени Шандор. В лагерь он попал незадолго до моего прихода, а до того был в работниках у крестьянина в деревеньке под Нязепетровским заводом, на житье, по его словам, совершенно привольном. Наше правительство в семьи, из которых кто-либо был призван в армию, стало направлять военнопленных в качестве замены рабочих рук. Стало оно это делать после того, как германское правительство нарушило международные договоренности о запрещении использования труда военнопленных. Шандор рассказал, что ему было в работниках очень хорошо, но в их же деревне некоторые хозяева относились к его сотоварищам плохо, считая их виноватыми в том, что сыновья этих хозяев были на фронте.

— Мой хозяин очень был недоволен такими своими соседями. Он говорил: «А если и ваш сын сейчас где-то в плену, и к нему относятся так же, как относитесь вы!» — но это мало помогало. А я очень старался помогать моему хозяину. И я бы не ушел от него, если бы не революция, не заключение мира и не приказ новой власти всех вернуть в лагеря! — сказал Шандор.

Я придумал создать в лагере школу русского языка. Совпало так или было

сделано намеренно, но мне тотчас пришло предписание организовать митинг под лозунгом «Долой братоубийственную войну» и «Да здравствует Интернационал», а затем открыть курсы социалистов-интернационалистов, то есть начать обучать моих подопечных этому самому интернационалу. Хотя ожидать можно было чего угодно, но меня это предписание поставило в положение того незадачливого персонажа поговорки, который поехал за шерстью, а вернулся стриженым. Не хватало мне, как говорится, пригреть на своей груди гидру мировой революции! Конечно, я сказал об этом дома и сказал, что подам рапорт об оставлении должности. Иван Филиппович горячо одобрил меня. Он боялся, что при возвращении старой власти с меня сурово спросят. Анна Ивановна в своем служебном счастье стала меня уговаривать. В ее намерении я увидел не только желание оградить меня от возможных последствий рапорта, но и потаенное желание возбудить во мне к ней чувство. Она говорила о том, что в открытии курсов нет ничего предосудительного, что в отношении их я не иду против совести, а глаза говорили о счастье ее работать со мной, видеться со мной по поводу и без повода всякую секунду. Бурков молча и тяжело вздохнул. Вздох сказал о непреходящей моей спеси.

— Ты можешь понять, что я не могу! — сказал я.

— А если бы этого от тебя потребовало отечество? — спросил он.

— Чего потребовало бы отечество? — не понял я.

— Быть тайным агентом со всеми этими штучками, которые предусматривает положение агента, в том числе и идти против себя? — подсказал Бурков.

— Я строевой офицер! — выпятил я нижнюю губу.

— Не убудет с тебя, ваше высокоблагородие! А без тебя эти курсы все равно откроют. И чего ты добьешься? — сказал Бурков.

— А того он добьется, — вступился за меня Иван Филиппович, — что и так много себе позволил, чего не следовало позволять. Мыслимое ли дело к совето, к этим висельникам, на службу пойти. Как перед Богом-то потом встать!

— А мы как встанем? — спросил, скрывая усмешку, Бурков.

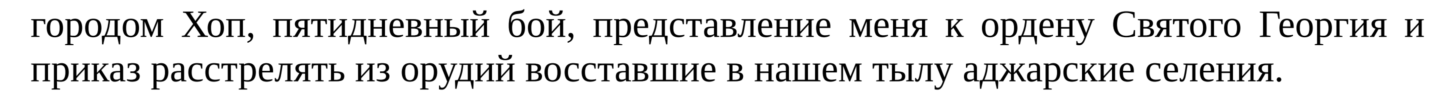
— Про вас, оллояров несметных, не знаю. А про него знаю. Отечеству-то послужили! И нечего его вместо рогатого испытывать! — обрезал Иван Филиппович.

— А вместо рогатого будет безносая с косой! — буркнул себе под нос Бурков.

За ужином все долго молчали. Я заговорил первым. Я спросил Буркова о делах с Дутовым Александром Ильичом. Оренбургская степь оттаивала. Бои между частями Дутова и сводными отрядами красных шли широким фронтом от Еманжелинской станицы до Верхнеуральска и катились к Троицку. Бурков молча погонял по тарелке селедочью голову, оставляя как лакомство на потом, и сказал:

— Приказ: казачьи станицы, которые пошли за Дутовым, будут расстреливаться артиллерией!

Я вспомнил октябрь четырнадцатого года, высадку турецкого десанта под


городом Хоп, пятидневный бой, представление меня к ордену Святого Георгия и приказ расстрелять из орудий восставшие в нашем тылу аджарские селения.

— Не ново! — сказал я.

— Но это же варварство! — вспыхнула Анна Ивановна.

— Три месяца назад варварством казачество посчитало расстрел в Троицке нашими нескольких казачьих офицеров. Теперь расстрел станиц — уже не варварство. Война начинается, какой не видывали! — прижал селедочью голову к краю тарелки Бурков. — А у нас, — помолчав, сказал он еще, — у нас, я думаю, контра просто наглеет. Вон расформировали Первый кавалерийский эскадрон Ардашева.

— Родственника тому Ардашеву, которого в январе застрелили якобы при попытке к бегству? — спросил я.

— Возможно. Я не интересовался, — сказал Бурков. — И что характерно, — продолжил он дальше. — Эскадрон расформировали, а Ардашеву поручили формировать новый. Я на заседании говорю: «Как же так? Он допустил разложение эскадрона. Его люди пьют, гуляют, в пьяном виде носятся верхом на лошадях по городу, людей давят, занялись грабежом и квартирными обысками — а командиру все сходит с рук!» А мне: «Товарищ Бурков! Что за непонимание момента, что за политическая близорукость! Анархисты вон этим занимаются с самого начала революции. Так что, нам арестовывать? А кто же революцию будет защищать?» Я: «Но в Москве и Питере их ликвидировали с боем!» Мне: «Москва нам не указ! Тем более что Ассоциация анархистов объявила, что не отвечает за дела отдельных членов!» Нет Паши Хохрякова. Он бы…

— А убийство семинариста Коровина матросами расследовано? — перебил я.

— Думать все забыли, — усмехнулся Бурков.

— Вот, а ты такой власти служишь не за страх, а за совесть! — не стерпел Иван Филиппович.

— А ты вот, Иван Филиппович, веришь в Бога, а я верю в светлое будущее — коммунизм. Ему и служу! — сказал Бурков.

— В союзе молодежи у Юровской тоже об этом светлом будущем говорят и готовы поехать на Дутовский фронт! — сказала Анна Ивановна.

— И еще что. Дыбенко арестовали, этого главного по морским делам, главного матросика! — сказал Бурков. — Так же, как этот Ардашев, распустил свою матросню! Его арестовали. А этого поставили формировать новую часть. Наглеет контра! — Бурков наконец занялся селедочной головой.

Вечером перед сном я опять сел на крыльце против глухой стены соседнего дома. «Были липы — не было стены. Сгубили липы — стала стена! — думал я, ругал себя за спесь, за что-то еще такое, что не дало мне ума наплевать на все решения корпусного ревкома и остаться в сотне у Василия Даниловича Гамалия, в отряде у Лазаря Федоровича Бичерахова или, на худой конец, в отряде у душки-пьяницы Андрея Григорьевича Шкуры. — Теперь пялься на эту стену и служи

агентом, то есть сволочью!» — сказал я и ничего иного не смог придумать, как только пустить все своим чередом. Деваться мне было некуда. Я был один в этом мире.

Курсы открылись. Пришел работать на них старый работник социалистического интернационала товарищ Грюн. Первое же занятие моими подопечными было проигнорировано. Явился на него, кажется, только мой знакомый венгр Шандор.

— Я хотел узнать, как дела у нас дома. А он мне стал говорить какое-то учение! — поделился он со мной своим недоумением.

— Вот, — сказал Бурков. — Считай, что ты саботируешь его работу. Тебе зачтется, — он посмотрел, нет ли рядом Ивана Филипповича, — зачтется, когда придет твоя мифическая старая власть!

Но все было не так невинно. Вдруг выявилась в лагере довольно внушительная группа различного толка политических воззрений и принадлежности к различным партиям, часть из которой была готова не только понести революцию к себе домой, но и защищать революцию в России. Какого черта не приперлись они на курсы, я не стал разбираться. Но на факт игнорирования курсов власть отреагировала присылкой комиссии, которая предписываемых лозунгов о конце братоубийственной войны и пожелания здравия интернационалу не обнаружила. Прибыл в лагерь сам Яша, то есть Янкель-Яков Юровский. Прибыл он в роскошном авто с открытым верхом, возможно, открытым нарочно, чтобы обыватель по дороге видел, кто едет.

Я знал его со слов Буркова, знал, что он болел, и очень сильно, чахоткой и ревматизмом, что в пятом году организовывал беспорядки в Томске, стрелял в публику. В Екатеринбурге он владел фотографией на Покровском, недалеко от угла с магазинами Агафуровых, дальновидно сохранил негативы и данные всех пользовавшихся его услугами со всеми вытекающими по нынешнему времени последствиями. Бурков говорил, что он хладнокровен, беспощаден и мстителен — кажется, мстил за свое нищенское детство, — что он тип более обыкновенного бандита, чем революционера.

Он приехал в тот момент, когда я разбирался с изобличенным в поборах с пленных писарем. Охрана, уже построенная мной в соответствии с уставом караульной службы, кляла меня последними словами, грозила мне изощренными карами, но службу держала. Из-за роскошного авто она приняла Яшу за представителя Красного Креста или за кого-то из дипломатических миссий, проще говоря, за буржуя и в полном соответствии с пролетарской неприязнью ворот раскрывать не подумала. Яше выйти из авто и пройти через караульное помещение показалось ниже всякого достоинства — не для того он-де строил революцию, наживал хворости и даже продавал свою фотографию. Да и просто показать документы тоже было выше его правил. Он схватился за оружие. Не знаю уж, какие пролетарии были передо мной на Мельковском мосту в день моего приезда в Екатеринбург, что я, безоружный, разоружил двух вооруженных, но в охране лагеря были пролетарии, так сказать, иного калибра.

— А вяжи его, буржуя такого-то! А тащи его к нашему сатрапу! — скомандовал начальник охраны, под сатрапом имея в виду меня.

— Я Юровский! — запоздало закричал Яша.

— А мы верхисетские! — дала ему тычка охрана.

Так он предстал передо мной не совсем в надлежащем виде и с порога закричал, что он весь лагерь, эту воровскую малину и рассадник бандитизма в городе, сотрет с лица земли, а меня как ответственное за творящиеся безобразия лицо расстреляет лично и почему-то за курятником — странная воля для еврея, не имеющего никаких отношений с сельским хозяйством.

Я, конечно, узнал его — каким-то чутьем догадался, что это именно Яша. Но быть расстрелянным не перед строем войск мне показалось обидным. И надо знать, что крик и угрозы действуют на меня не совсем в той степени, в какой предполагается. Меня давние мои рубцы потянули влево. Я, чтобы выровняться, наклонился вправо. Легкие мои на миг пресеклись. И вместо желаемого для успокоения Яши хорошего леща я успел сказать только слово «арестовать».

Сделано это было с восхитительной пролетарской расторопностью.

Дальнейшие события были бы вполне прочитываемы, кабы Анна Ивановна не сообразила побежать к Буркову. Бурков прибыл в лагерь вместе с председателем совета Белобородовым, комиссаром Шаей Голощекиным, еще несколькими представителями власти и, по сути, закоперщиками Яши. Общими усилиями решили делу не давать ход. Но Бурков сказал, что Яша явно уже вынес мне приговор. Меня уговорили сказаться больным и на некоторое время на службу не выходить. По моему положению прапорщика я не мог показать моих документов о ранениях, контузии и обмороженных легких. Но обошлось без них. Меня обследовали врачи лагерного лазарета Герценберг и Бендерский, признали необходимым лечение и отдых, причем лечение не где-нибудь, а на водах или, как они выразились, «хорошо бы на Капри в Италии, где пребывал некто литератор Пешков, пишущий под псевдонимом Горький. Но, — посожалели они, — вы не деятель культуры, а всего лишь офицер старой армии». Сказали они это искренне и отпустили мне на лечение три месяца. Я вдруг потерялся и сказал, что в пятнадцатом году меня в Горийском госпитале уже рекомендовали на лечение в Крым.

— Позвольте, но!.. — насторожились мои врачи, однако тотчас себя осекли своей задачей лечить, а не искать несоответствий в биографиях пациентов.

Заключение мне давал главный врач гарнизонного госпиталя Белоградский. Он не преминул вспомнить, что в бытность товарища Юровского госпитальным фельдшером был к нему весьма лоялен.

— Да, да! Замечательный человек! — сказал я, открывая в себе возможности актера.

— Но вы поступили с ним таким необычным образом! — пожурил меня врач Белоградский.

— Служба обязывала! — отказался я от дальнейшего разговора.

И как было сладко натолкнуться на мысль о водах на Кавказе, о генерале Эльмурзе Мистулове, к которому у меня были рекомендации от нашего Эрнста

Фердинандовича Раддаца, в пору моего отбытия со службы замещающего командира корпуса генерала Баратова. Как сладко было представить себя в кругу моих друзей и соратников!..

16

Не знаю, каким образом именно, но лагерь вызвал во мне жгучие размышления о государе императоре и его отречении. Может быть, причиной тому стала логика того свойства, что о плененном враге мы заботились, напрягая все силы, а государь император не нашел труда пересилить себя и железной рукой, как это сейчас делали революционеры, навести необходимый в стране порядок. Ведь была война, и действовали законы военного времени. Кажется, я говорил, но скажу снова, что подобного глумления над отечеством, какому подверглась Россия, ни одна из воюющих стран не потерпела бы. Что в Британии, что в Германии, Франции, Италии, Турции — да везде любой из посягателей на государственную власть болтался бы на виселице, а так называемые бастующие рабочие, не пожелавшие работать на свободе, работали бы под штыками карательных частей. И не сказывалась ничуть какая-то брехня о его невиновности и о всеобщей вине некоего документа под названием «Положение о верховном главнокомандующем», написанного так, что он дал возможность Ставке подмять под себя государя. «За что?» — жгуче спрашивал я с Господа нашего и помимо своей воли вопрос относил все больше не к Господу, а к самому государю.

Прибавился к этому и отъезд в Тобольск Паши Хохрякова. Отъезд был секретным. И вот все же святая русская простота даже у революционеров взяла верх! Вместо того чтобы промолчать или, в крайнем случае, сказать о переводе Паши в Пермь, Сольвычегодск, на Дутовский фронт, власть, то ли скрывая его отъезд, то ли потакая самолюбию нового парвеню, то есть выскочки, сделала объявление о приказе областного военного начальника, гласящем, что начальником окружного штаба резерва Красной Армии вместо товарища Хохрякова назначается товарищ Украинцев. Так сказать, просим любить и жаловать. Кстати, чуть ранее власть не преминула оповестить, что расходы государя Тобольский совет ограничил ста пятьюдесятью рублями на человека в неделю. «Эге! — явно сказал не один дотошный ум. — А не поехал ли Паша туда разобраться, почему служивый и увечный, отдавший здоровье на полях сражений бригадный инструктор траншейных орудий и гранат прапорщик военного времени Норин довольствовался двумястами рубликами в месяц, а оставивший его на произвол судьбы, числившийся государем и добровольно перешедший в обывательское состояние гражданин Романов вкушает яств со ста пятидесяти рубликов в неделю?!»

Вообще, слухов по поводу судьбы государя было превеликое множество — и открыто злобных, и злорадствующих, и глумливых, и сочувствующих. Каким-то невероятным образом слухи о государе связывались во многом с тем, что делалось у нас в городе. Например, власть отменила празднование масленицы, найдя предлог в трудности, как она сказала, переживаемого момента, требующего от всех напряженной работы для спасения революции. Однако она не отменила для той же благой цели спасения революции пошлые пиески «Если женщина захочет, поставит на своем», «Графиня Эльвира» и тому подобные, не отменила некий «Гранд-маскарад» в зале музыкального общества, не отменила цирк бухарца Кадырги и так далее. И кто же поверил в эту «напряженную работу»! Напряженной была жизнь

любого жителя города да и всей страны вообще — и напряженной она была как раз в связи с революцией, о спасении которой думали, наверно, только Паша с Яшей да еще Ленин с Троцким. Уж на что был революционен матрос Дыбенко, ставший морским министром, а и того власть вынуждена была предать суду как раз за отсутствие напряженной работы, за развал фронта, за гульбу со своей братвой. А отмену масленицы в городе враз связали с государем и стали говорить: «Масленицу отменили — так, значит, чего-то против царя задумали!»

А вот еще один пример слухов. Местное воздухоплавательное общество решило устроить полеты аэроплана и одновременно дать просветительскую лекцию о принципах, по которым аэроплан летает. Тотчас нашлись умы сказать, что аэроплан готовят для полета на Тобольск. Полетит, дескать, да и на царя бомбу сбросит! Ему, однако, возразили, дескать, дело-то тоньше. Кто читает лекцию? А читает ее некто инженер по фамилии Ольшванг, который сроду не инженер, а агент, и чего ради в город прибыл бы шведский Красный Крест да на Цыганской площади стал лазарет разводить? А того и стали, что аэропланом вывезут царя да в лазарете спрячут, а потом поминай как его звали! «У цыган-то, брат, шалишь, что попало, то и пропало, не вынешь обратно!»

Взялся еще слух об английском миноносце, с нетерпением ждущем вскрытия рек, чтобы подняться за государем с Карского моря.

Одним словом, народ о царе-батюшке переживал, но переживал по-русски, со снятием с себя ответственности, с неизбежностью и ссылкой на Божий промысел, дескать, будет угодно, так спасет, а не будет, так что мы-то сделаем!

А я злился на своего государя, я свирепел, я крыл себя последними словами за свою спесь, от которой не остался в Персии, в корпусе, в сотне Василия Даниловича, в партизанах войскового старшины Бичерахова или душки-пьяницы Шкуры. Пропасть, сгнить там было бы честнее, было приемлемей, было в полном соответствии с присягой, чем обманывать себя поиском вины государя. Однако я ничего не мог с собой поделать. Вместо своих товарищей, своей родной присяги, я был один, с новой и лживой присягой неизвестно кому под видом отечества, и я был без погон. Я винил государя. От других я не мог принять обвинений в его сторону. За другими я не числил права на обвинение. Другие о нем не радели. Другим он был, словами Миши Злоказова, неинтересен. Мне же он был отцом. И от меня он отрекся. Я ничего с собой не мог поделать. Я обвинял его. Другим обвинять не давал. Я даже не мог принять принципа верховной следственной комиссии, по которому период царствования государя разделили на период до конституции и на период после конституции. Принцип на непредвзятый взгляд для государя был куда как хорош. Этот принцип ответственность за первый период правления полностью снимал с государя, ибо, по российскому закону, он был самодержцем, то есть, как считала комиссия, был безответственным и поступал, как ему было угодно. За послеконституционный же период ему вменили в вину неправильное расходование государственных средств, неправильность которого еще следовало доказать, и разгон Государственной думы с изменением закона о выборах. А отречения ему никто в вину не ставил. Даже такого принципа определения его вины я не мог принять, ибо он исходил со стороны. Я явно был подл. Я этого не хотел, но злоба

накипью нарастала во мне и помимо меня.

Пришло апрельское тепло. В Оренбургских степях дело стало оборачиваться настоящей войной. И ее я, естественно, ставил государю в вину. «Видишь?» — говорил я. На Буркове порой не ставало лица — так он переживал. Вести оттуда приходили одна хуже другой. Он мне часто говорил о них. Чаще всего в них присутствовало слово «расстрел».

— Разве этому я их учил? — рассказывая об этих расстрелах, чернел лицом Бурков. — Я учил их военному делу. Я всех их в этом плане вот где держал, всех, от рядовых до командиров, всем внушал и грозил революционным законом, чтобы не было никакой пролетарской ненависти. Только бой. В бою — он враг. Сдался — он пленный. А они вырвались на простор, учуяли комиссарщину! Учуяли возможность зверствовать, нутро свое показывать. Вот, читай: «Взяли с бою пленных, все казаки. Комиссар приказал тут же на площади для устрашения расстрелять. А кругом их бабы и ребятишки. Ну, как твово отца казнить. Все ревут. Комиссар: в нас стреляли? Значит, тудыть! Казак? Значит, тудыть, в бога мать! И даже совсем зеленых мальчишек, какие обозные, отцам пропитание привозили…» Вот опять — и все одно и то же: расстрелять, расстрелять. Вот, даже весть, что расстрелян есаул Афанасий Нагаев, наш же, большевик, за это из казачьего сословия исключен. А расстрелян за то, что выступил против расстрелов!..

«Вот что надо тебе ставить в вину, государь!» — зло бродило по мне. Услышав фамилию некоего Нагаева, я вспомнил полковника Нагаева, приютившего нас с Томлиным в Оренбурге.

— Полковник Нагаев? — переспросил Бурков. — Вполне возможно — родственник. А полковник, так, наверно, тоже расстрелян!

«Вот так! Вот оно твое: «Признали мы за благо отречься»! — черно плескалось из меня.

— Гриша, почему ты связался с ними? — спросил я Буркова.

— Я не с ними. Я с революцией и с народом! — сказал Бурков.

— А нельзя — с народом, но без революции? — спросил я.

— Мне нельзя! — сказал он.

— Почему мне можно? Или я не с народом? — спросил я.

— Ты? — почесал он затылок. — Как тебе сказать. Ты четыре года был на фронте. Значит, был с народом. Но ты не так был с ним. Надо бороться за него. Надо просвещать его. Я тебе уже говорил. И еще как-то так надо быть с ним, чтобы за него себя отдать. Он в революцию — и ты в революцию! — сказал Бурков.

— Ну, это на словах, Гриша. Что значит: «Он в революцию»? Да он вовсе не в революцию, если бы его не смутили. Да и его не смутили. Его в смуту затащили. Все же твои газеты только и пишут: там беда, там разорение, там фронт. Не хочет народ революции! — сказал я.

— Пока не хочет, потом захочет для его же блага. И с ним надо быть так, ну,

чтобы, в общем, душой надо быть с ним! — заключил Бурков.

— Очень толково! — рассердился я. — Очень толково, Гриша. И что? Ты к нему, к народу, подходишь и говоришь: «Я с тобой всей душой, народ!» — «Слава тебе, Господи! Гриша душой с нами!» — ликует народ. А ты на меня показываешь и говоришь: «Он тоже с тобой, но он не так с тобой!» — «Знаем, знаем мы его, Судака Налимовича, тот еще фрукт!» — отвечает народ и норовит меня вилой. Так, что ли?

— Вот с тобой вечно не знаешь, как! — нахмурился Бурков. — Светлый ты человек, хотя и темный. Ты ведь готовый марксист, но того не понимаешь. Сохранить бы тебя до хороших времен, и ты бы сам все увидел. И ты бы стал с народом, служил бы ему, вот хотя бы обучал его военному делу. Хорошие времена тоже защищать надо. Кстати, мне скоро отбывать на фронт. Доформирую еще одну дружину и отбуду. Или с ней отбуду, или обратно в распоряжение Оренбургского совдепа. А там тоже фронт. И скажи мне. Я ведь на фронте не был. Скажи, что там главное? Пролетарское сознание? Вера в свое дело, дело коммунизма и партии большевиков? Ненависть к врагу? Храбрость? Что?

— Гриша, и ты светлый человек! У тебя даже речь от твоих этих, не знаю, как их назвать, отличается! Она у тебя человеческая! А у них черт знает какая! Они будто из преисподней говорят! Не говорят, а смерть вокруг сеют! У них не народ, а человеческий материал. У них не освоение новых земель крестьянином, а колонизация. У них — систематическое угнетение туземного населения, политика физического уничтожения и черт-те что вообще! Ты же сам говорил мне слова твоего Маркса о гуманитарном развитии человечества, прежде чем затевать революцию! Не ходи ты туда, Гриша. Я в четырнадцатом году отказался стрелять, или, как сказали ваши, стереть артиллерией с лица земли несколько восставших в нашем тылу местных селений! И ты откажись! — сказал я.

И в самом деле, что я мог ему сказать?

— Ты? Ты, офицер русской армии, и не выполнил приказ? — не поверил Бурков.

— Я армейский офицер! — сказал я.

— То есть твоя задача защищать веру, царя и Отечество. Ты это хочешь сказать? — как бы закончил за меня Бурков, и я почувствовал в его тоне что-то чужое.

— А твоя — ради чего-то пролетарского их уничтожить, а заодно уничтожить всех, кого вы определили не в пролетарии? Ты это хочешь сказать? — спросил я, и, думаю, он тоже почувствовал в моем тоне что-то чужое.

И мы оба поняли, что дальше говорить нам нельзя — станем врагами.

— Борис, ты, главное, ни в какие тайные организации не вступай. Ты слишком светлый. Ты не сможешь притворяться. Паша ли, Яша ли, кто ли другой тебя быстро выцарапают! — в примирение сказал Бурков.

— Подло это, Гриша, — прикидываться. Подло служить и тут же гадить! — тоже в примирение сказал я.

— Вот и не вступай. Дождись лучших времен. Тогда такие, как ты, очень

нужны будут! Ведь вроде революция. Вроде — сознательные революционеры. Но взяточники, развращенцы, бандиты, ну, будто тебе старый царский режим! Ленин даже принял закон о взяточниках! А возьми того же Дыбенко! Кричит: «Я старый революционер! Я на «Гангуте» восстание поднял в пятнадцатом году! У меня заслуги перед революцией самые большие!» А сам вместо того, чтобы Нарву оборонять от немцев, просто пьянствовал с матросней да маузерами перед горожанами трёс. Какой он, к хрену, революционер! Не вступай ни в какие тайные организации! Погибнешь и сам не будешь знать, за что погиб. Уж во всяком случае, не за Отечество, не за царя и веру! — сказал Бурков.

— Так ведь и вступать некуда! — уклончиво и немного в интригу сказал я.

— Я потому и говорю, что есть куда! — не понял моей интриги Бурков.

— И у нас в городе? — спросил я.

— И у нас в городе, — кивнул Бурков. — Зимой Паша раскрыл на Никольской улице, недалеко от Сенной площади. И сейчас есть. Яша ищет. А этот найдет! — сказал Бурков.

Это было для меня новостью. В день похорон на Кафедральной площади якобы тоже должны были выступить какие-то заговорщики. Но Бурков сказал — не они. И мне почему-то вспомнился загадочный разговор со мной Крашенинникова, адъютанта начальника гарнизона, в день, когда я пошел просить Мишу Злоказова о каком-нибудь документе для моего проезда к сестре Маше в Нязепетровск. «Я знаю, кто вы. И еще кое-кто знает! И, согласитесь, быть убитым на фронте как герой и быть убитым по подозрению — это разные вещи!» — примерно так сказал тогда Крашенинников. Ничего больше он не сказал, а я не стал спрашивать. Он не сказал, явно скрывая тех, о ком говорил. Я же был в бешенстве от его подозрения, что я имею что-то общее с Яшами, Пашами и Шаями — этой новой властью.

— Я армейский офицер, Гриша. И я темной ночью из подворотни стрелять или тыкать ножичком ни в кого не буду! — сказал я и вернулся к его словам о фронте. — Там, на фронте, Гриша, на войне погибает тот, кто первый. А кто и когда им становится, почему именно он первый, один аллах знает. Это кроме обычной дурости, когда новичок считает нужным показать свою удаль. Так что на войне думай только о войне, а не о пролетарской ненависти или еще там о какой-то партии большевиков, о том, какими глазами она на тебя смотрит.

Ночью я долго не спал. Я перебирал в уме знакомых офицеров, рисовал их заговорщиками, и у меня не получалось. Заговорщики мнились какими-то мифическими людьми без лиц, без характерных черт. И наплывали слухи о государе. Я их смотрел со всех сторон. Как в детстве, все они оборачивались правдой.

17

Кажется, я достаточно описал быт города, чтобы можно стало представить его с приходом апрельского тепла. Город преобразился в полном соответствии с революционными законами, стал абсолютно обновленным во всей красе вытаявших отбросов, выгребных ям, уборных, дохлых собак и жертв зимнего революционного разгула.

Совето открыло окошко навстречу весеннему теплу, вдохнуло полной грудью, возможно, грудью, потревоженною пробуждающимся током крови и жаждой чего-то высокого, чистого, кружащего голову, как стихи Фета. А апрель навстречу густо ударил всем великолепием вытаявшего смрада. Захлебнулось совето, отпрянуло от окошка, упало на стул и долго тыкало пальцем в сторону барышни-машинистки в невозможности что-либо выговорить. А потом все-таки очнулось, похватало воздуха, спертого за зиму и настоянного на дыхании массы немытых человеческих тел, курева, нестираных одежд, гнилых сапог и портянок, пронизанного страхом несчастных жертв, мало чем отличающегося от заоконного, но воздуха как бы привычного. Этак вдохнуло совето в себя и повелело барышне-машинистке набрать новый декрет.

— Пиши! — повелело совето. — Для неотлагательной чистки города все занимающиеся ломовым извозом обязаны представить подводы в распоряжение совета на один рабочий день.

— На один рабочий день. Написала! — сказала барышня.

— Ага, написала. Дальше пиши! — повелело совето. — В случае неподачи лошади и телеги будут конфискованы. Так. Подпись. То есть я. Все.

А ломовых-то оказалось только тот татарин с худой бочкой, который ранним зимним утром моего приезда в город встретился мне первым из горожан на углу Арсеньевского проспекта, да с ним три десятка его товарищей.

— Ах ты, едрена вошь! — вскипело совето. — Не хотят! А ну пиши экономическую подоплеку заинтересованности. Пиши! Оплата ломовых работ по неотлагательной чистке города повышается до десяти тысяч! А там что дадим, то и будет! Лишь бы убрали!

Татарин с худой бочкой сказал: «Дисить тысищ, ай хорошо!» Другие сказали: «Врут. Где они возьмут столько!»

Выглянуло через окно совето на улицу — нет ломовых. Только вдалеке татарин везет бочку, а из нее нечто не очень приятное льется.

— Ну, не хотят в светлое будущее! — в отчаянии воскликнуло совето.

— Что значит, не хотят! — еще с коридора загремел вбежавший в совето комиссар Юровский. — Что значит, не хотят? Они не хотят, а мне каково? — грозно показал он на облепленные по самые отвороты нечистотами сапоги. — Это контрреволюция! Это саботаж. Пишите! — махнул он всему совето. — Под угрозой

революционного трибунала все нетрудящееся население города, все бывшие буржуазные классы, поповство и интеллигенция с девяти часов завтрашнего дня…

Вечером пришла каторжанка Новикова.

— По сведениям совета, у вас выходят завтра двое: какая-то жиличка Тоннова и этот старик! — она ткнула глазами в Ивана Филипповича, а глаза сказали другое. — Всех изведу! — сказали глаза.

— У нас никто не выходит, гражданка Новикова! — как мне показалось, едва скрывая брезгливость, сказал Бурков.

— Вы пожалеете, что укрываете! Я запишу прямое воздействие контрреволюции! Это — под угрозой революционного трибунала. Не таких принуждают! Самого Дыбенко привлекли! — пригрозила Новикова.

Иван Филиппович быком посмотрел ей вслед.

— В прошлом году Иван Петрович, околоточный, фистулу дал. Говорил я ему применить власть. А он: «Пусть выговорится, пусть выговорится!» Дождались, выговорилась! — сухо сплюнул он и вздыбился: — А я никуда не пойду! Еще не хватало мне на других работать! Я всю жизнь в вольных ходил! Я за этими, — махнул он в сторону комнат, где жили Ворзоновские, — я за ними убрал. А теперь мне по чужим дворам прибираться! А вот пусть сначала каторжан на это определят! Мне что! Пусть стреляют! Я свой век прожил! — ходил он весь вечер в возбуждении.

А утром мы узнали — Новикову нашли с проломленной головой в ручье, бегущем со стороны Никольской улицы в Исеть. Кто-то, видно, в отличие от нас, не сдержал сердца.

— Вот и выговорилась! Прав был Иван Петрович, околоточный! — крестясь, сказал Иван Филиппович.

Явно сказал за нас слово Бурков — мы не подпали под работы по «неотлагательной чистке города». Вместо этого Анна Ивановна все дни стала проводить в союзе молодежи, как она стала говорить, занятая массой дел по организации библиотек для деревень. Немного времени спустя Бурков взял ее к себе, конечно, взглядом спросив меня. Я был только рад. Она стала у него формировать передвижные библиотеки для фронтовых частей. Разговоры меж ними об этих библиотеках продолжались и вечером. Анна Ивановна было попыталась присовокупить к этим разговорам и меня, спрашивая помощи в составлении раздела по военной истории и прочей подобной тематике. Естественно, это было хитростью — какая военная история понадобилась бы малограмотному солдатику, то есть рабочему-дружиннику в полевых условиях, когда она не интересовала там даже меня, хотя порой я испытывал тоску по хорошей исторической книге, например, по истории той же Бехистунгской надписи. Хитрость эта в ее просьбе сквозила так очевидно, что мне в пресечение ее пришлось тоже пуститься на хитрость. Я прикинулся академическим педантом и наговорил кучу скучнейших для невоенных лиц сведений, от которых даже у Буркова — учителя истории и географии — повело в сторону нижнюю челюсть.

— Что делает с людьми академия! — в ошарашении сказал он.

Однако Анна Ивановна, в свою очередь, мою хитрость распознала.

— Все равно у вас ничего не получится! Мне в союзе молодежи сказали, что любовь — это буржуазные предрассудки, что надо просто пользоваться жизнью. А я в это не верю. И товарищ Наумова в это тоже не верит. Она всем сердцем полюбила товарища Хохрякова, и она счастлива! — сказала она мне наедине.

Из этого надо было выводить, что и Анна Ивановна оказывалась в своем безответном чувстве тоже счастливой.

А у меня едва не впервые за всю мою жизнь появилась масса свободного времени. Мы с Сережей Фельштинским взялись каждый день ходить по городу. С Мишей же у нас вышло следующее. Отношения их с Мишей за последнее время совершенно испортились или, как он сам выразился, стали близкими к отношениям патриарха Филарета с Иваном Грозным, с той только разницей, что Сережа не может понять, в чем его Миша обвиняет и клеймит. Мы оба пошли к Мише и увидели, сколько ему стал неприятен наш приход и сколько ему стало неприятно искреннее радушие адъютанта Крашенинникова.

— Ну, ну! — характерно чернея лицом и хмыкая в нос, стал говорить Миша. — Давно замечено, если начинают объединяться такие разные личности, как монархист, выкрест и либерал, то жди погромов! С чем пожаловали, господа хорошие? — поднялся он от своего стола.

— Это кто же здесь кто? — артистически сурово спросил Сережа.

— Не смею судить, не смею судить столь высоких гостей, но несчастный либерал — это ваш покорный слуга! — стал изображать штафирку Миша.

— Вижу перед собой только слуг новому отечеству и имею честь, то есть, тьфу, рад приветствовать в нашей обители! — попытался Крашенинников сгладить тон Миши, потом попросил меня отойти в сторону. — Я не знаю, как начать, Борис Алексеевич, — тихо сказал он. — Но… но начать этот разговор просто необходимо. Одним словом, согласны ли вы встретиться кое с кем из офицеров, разумеется, совершенно конфиденциально?

— Не на предмет ли объяснений о вменяемой мне дружбе с некими представителями нынешней власти, Николай Федорович? — спросил я.

— Вы правы, Борис Алексеевич, но я настоятельно просил бы вас не пренебрегать просьбой! — покраснел Крашенинников.

— И как вы это себе представляете, поручик? — зазлел я.

— Что, простите? — не понял Крашенинников.

— Какие-то неизвестные мне люди возомнили о себе черт знает что и взяли себе право конфиденциально, как вы говорите, а попросту заговорщически требовать явиться к ним для объяснений! Не много ли они себе взяли, поручик? — спросил я.

— Борис Алексеевич, всё так и всё не так! Не мы ставим условия. Нас

поставили в такие условия. Вы понимаете. И в этих условиях нам ничего не остается, как отвечать тем же. Вы понимаете. Я настоятельно прошу вас. Для вашей же пользы! — стал просить Крашенинников.

— Для моей пользы — не предлагать мне подобного. Извольте это передать своим конфиденциальным друзьям! — оборвал я.

— Господи, Борис Алексеевич! Я не это имел в виду! Прошу прощения! Это я, видно, взял неверный тон. Но лучше все подозрения развеять сразу же! Я за вас ходатайствовал. Я дал слово, что вы честный человек и блестящий офицер. Послушайте меня! — взмолился Крашенинников.

— Вот что, поручик! Вам спасибо за ваши ходатайства. Но их не следовало делать. И передайте, что я позволяю думать обо мне все, что угодно, исходя из их личных моральных качеств. Всё, поручик. Давайте лучше — о другом!

— Но вас правда подозревают в сотрудничестве с этими! — Крашенинников глазами повел в сторону, обозначая тем новую власть. — Я посчитал долгом за вас заступиться!

— То есть теперь встал вопрос о вашем добром имени? — наконец понял я Крашенинникова.

— Так точно, Борис Алексеевич! — вытянулся Крашенинников.

— Когда и куда явиться? — спросил я.

— Слава Богу, вы поняли меня! — едва не перекрестился Крашенинников. — Честно признаться, я полагал, что вы откажетесь. Прошу прощения. Собственно, являться пока не надо. Вас сами найдут и спросят, о чем вы верно догадались. Но это более формально, чем по существу. И это в свете нахождения в городе академии генерального штаба. Вы знаете!

— Не извольте оправдываться, Николай Федорович! — прервал я.

И в дальнейшем разговоре о том, что расформирование гарнизона завершено, что Крашенинников через несколько дней увольняется от службы, что прибыла из Питера академия генерального штаба, и, значит, дела Ленина с Троцким плохи, мы не слышали разговора Сережи с Мишей. И если мы с Крашенинниковым закончили антантой, то есть согласием, то у них вышло что-то навроде требований к Сербии со стороны Австро-Венгрии.

— Вот так вот, господин хороший! — вдруг вскричал Миша.

— Но ты отдаешь себе отчет, что после этого наша дружба становится невозможной? — тоже вскричал Сережа.

— Более, чем невозможной! Она вообще была телячьим детством! — с холодной усмешкой сказал Миша.

Я кинулся к ним.

— Ребята, что? — схватил я обоих за руки.

— Жалкий фигляр! — с той же холодной усмешкой сказал мне Миша.

— Военнослужащий Злоказов, смирно! — скомандовал Крашенинников.

— Что? Смирно? Всё в игрушки играете? О, наивные! Да ни вас, ни ваших игр сразу же не станет, стоит только мне захотеть! — взвизгнул Миша.

— Миша, ты… — по-детски покрутил я у виска в совершенной растерянности.

— O, mon dieu![1] Сумасшедшие обвиняют в сумасшествии абсолютно здорового и ясновидящего человека! А вот этого не хотите? — Миша вывернул нам свой кукиш.

— Dieu тебе судья! — сказал я и пошел вон, услышав, как резко пошел следом и Сережа.

— Давайте, давайте, друзья детства! Morituri te salutant![2] — крикнул вдогонку Миша.

— Не «te», а «vos», неуч! — механически и злорадно поправил я латынь Миши. И еще я услышал, как Крашенинников попытался поставить его на место, но, кажется, тщетно.

Мы молча отмахали петлю в несколько улиц и остановились на Вознесенской площади, с хорошим видом на противоположную сторону пруда с дворцами горного и лесного начальников, сейчас занятых массой различных учреждений и совершенно загаженных. Я вдруг вспомнил, что не спросил, когда ждать мне моих прокуроров, и в досаде сплюнул, форменно как Иван Филиппович.

Сережа подумал, что я этак — о Мише.

— Боря, с ним не совсем все в порядке! Я это заметил давно! — сказал он с сожалением.

— Он вольно или невольно оказался замешан в мошенничестве с лошадьми, — рассказал я историю с лошадьми Второго артиллерийского парка.

— Нет, с ним не совсем все в порядке уже давно, задолго до твоего приезда! Где-то в Европе он изучал какое-то философское течение. Но я думаю, даже не это, не оно на него повлияло. Он, кажется, попал в сети всемирной паутины! — сказал Сережа.

— К масонам? — вытаращился я.

— Да! — твердо сказал Сережа.

— Так и что? Масоны, кажется, отречься от родителей и старых друзей не требуют, тем более таким способом! — пожал я плечами.

— Черт там их всех разберет, эти их ложи, этих их филалетов, мартинистов, иллюминатов, «Великих Востоков народов России», всех этих Керенских, Чхеидзе, Гальпернов, Некрасовых, Львовых, Гучковых, Кролей! Я уверен, эти не только потребуют, а и своими руками своих родителей ради власти удавят! — сказал Сережа, по своему характеру все более распаляясь. — И ведь что, Боря! Чем мельче интеллигентишка, тем больше орет: «Бюря! Когда же грянет бююююря?» — сами безвылазно сидят на европейских курортах, а «бюрю» требуют для России. Почему ее не требовали ни Толстой, ни Достоевский, ни Чехов, ни Лесков, ни Менделеев, ни

Соловьев Сергей Михайлович в отличие от сыночка, ни… — Он поперхнулся, прокашлялся, виновато взглянул на меня. — Скажи, правда ведь я лысею? Ну, вот облысею и кому же буду нужен?

— Ты масонов обличал, — напомнил я.

— А, черт! С появлением лысины память стало отшибать. Память — ну ни к черту. Вот в чем вопрос! — сказал Сережа и без перехода взорвался: — Ну почему все эти профессоришки, приват-доцентишки, писателишки навроде Василия Ивановича Немировича-Данченко… ведь хороший был писатель, писал большие очерки о путешествиях по России, написал хорошо о Михаиле Дмитриевиче Скобелеве, на Японской войне был… ну почему и он взбесился, и ему надо стало в ложу! Почему? Ну ладно, я лысею! Меня никакая порядочная женщина не полюбит! А они! Они-то почему? И, Боря! Ах, как хороша твоя Анна Ивановна! Хороша, умна, обаятельна, много читает и знает! Да полюби меня такая женщина — я, не раздумывая, подсунул бы бомбу под задницу Ленину, и Троцкому, и какому-нибудь их Бонч-Бруевичу. Польский шляхтишка, если не из черты оседлости, если не иудей и не масон! Откуда взялся? А наш комиссар труда Ваня Малышев! Сидел в лавке у Агафуровых приказчиком. Честные, уважаемые граждане города, честные, порядочные купцы! Мог бы у них сам вырасти до купца, до своего дела. Нет. И сам не стал расти, и другим не дал! Нет, Боря! Всем им надо Россию уничтожить, а потом сесть на власть. Тут всякие масоны, всякие большевики, всякие бомбисты сомкнулись тесными рядами. За что они все ненавидят Россию? Но если вы так, господа, то мы так! Мы вам всем бомбу — под задницу, всем Малышевым, Белобородовым, Голощекиным, Юровским, Чуцкаевым, Анучиным, да и Кролям тоже! — провозгласил Сережа.

— Сережа, да как ты их всех помнишь! — воскликнул я и невольно скосил глазами по сторонам, не слышит ли нас кто.

— Я каждый день просматриваю газеты только с одной целью — наконец прочитать, что кого-нибудь из них, а то и всех скопом отправили вершить революцию туда, где она, по счастью, никак не случится. Вот тогда я бы пошел во все похоронные процессии подряд, не пожалел бы своей лысой головы, обнажил бы ее даже на самом страшном морозе и даже пустил бы слезу! — с пафосом сказал Сережа.

— Ну так, — стал я поворачивать от опасной темы. — Ну так если Анна Ивановна тебе симпатична, что же ты…

— Нет, Боря! — оборвал меня Сережа. — Нет. Я всю жизнь буду есть ее глазами, всю жизнь буду преклоняться перед ней, но одновременно буду восхищаться твоим выбором и радоваться за тебя! Вот такую женщину надо выбирать в спутники жизни. Я надеюсь, ты не ставишь препятствием ее недворянское происхождение? — схватил меня за руку Сережа.

«Однако! — сказал я себе в артистическом обвинении. — А ты еще упираешься, балбес! Сегодня же пади пред ее ноги!»

— Поздравляю, Боря. Поздравляю! — сказал Сережа.

— Да впрочем, — замялся я в нежелании что-либо объяснять обо мне и Анне Ивановне и вывернулся тем, что вспомнил Мишу. — А что тебе сказал Миша? Отчего вдруг между вами вспыхнуло?

— Миша! — помрачнел Сережа. — Миша! Я совершенно по-дурацки вспомнил гимназию как оплот наших дружеских отношений. Он сначала молчал, а потом вдруг сказал. «А ты, Фельштинский, — он сказал именно фамилию, — а ты, Фельштинский, в гимназию поступил только потому, что твой папаша из-под полы продавал кому-то из родственников, а может, самому директору гимназии лекарство от триппера!» — это он имел в виду ограничение на прием в государственные гимназии лиц еврейского происхождения.

— Не еврейского происхождения, а иудейского вероисповедания! — поправил я в возмущении от лжи на законы империи, превращающейся в моем представлении в ложь на праведность и упорядоченность ее жизни.

— Для некоторых это — одно и то же! — сказал Сережа и вдруг затоптался на месте, вдруг зарделся лицом, повиноватеn взглядом.

Я понял, что ему необходимо что-то сейчас сказать, но он мучается, говорить или не говорить. Я понудил его глазами.

— Понимаешь, — начал он подбирать слова. — Я за папу и триппер… не подумай, что это было на самом деле… хотя аптекарь по своей сути обязан продавать любые незапрещенные лекарства, но я за папу и триппер…

— Одно с другим несовместимо! — поправил я.

— Да, но… Но я бы Мише эту клевету простил. Все-таки надо учесть его состояние. Но тут привнеслось вот еще что. И я не имею права скрывать от тебя, хотя одновременно подло выдаю его. Это доносительство. Но если я не скажу тебе, это будет предательством. Я решил, лучше стать доносителем, чем предателем. Миша назвал тебя штатным агентом Юровского и потребовал прекращения дружбы и вообще всяких связей с тобой! — выдохнул Сережа. — И я, только ты не подумай, что это с моей стороны какое-то геройство, какое-то намерение выиграть в твоих глазах. Я совершенно без колебаний сказал Мише, что он ошибается в отношении агента и не имеет права требовать от меня прекращения дружбы с тобой. Он мне на это сказал, как бы намекая на слова Аристотеля о Платоне: «Ну, да! Агент мне друг и истины дороже! Все вы такие! И твой папаша…» — ну, дальше ты уже знаешь! — сказал Сережа.

Вот так оказалось с Мишей.

Вознесенским переулком мимо дома Шаравьева, так нелепо поставленного на косом склоне, что полотно проезжей части проспекта выходило едва не на уровень его карниза, мы спустились к пруду. Сизый порыхлевший лед казался выпуклым. Усталая за зимний гнет вода будто выталкивала его, а он продолжал тупо давить и не догадывался объяснить, что, собственно, является тою же водой, только без ведома и согласия отторгнутой на зиму. «Может быть, и с Мишей — так же!» — подумал я.

— А в декабре здесь, — Сережа показал на устье Мельковки, — едва не до колена по льду было водки и спирта. Большевички приказали уничтожить водочные

склады, догадавшись, что народ сначала эти склады разнесет, а потом разнесет и их власть. Так честь этого деяния приписывают себе Хохряков и Юровский. Говорят, они даже между собой спорят о пальме первенства!

— Обычно спорят, кто больше выпил. А тут спорят, кто больше разлил! — сказал я.

— Нет, Борис! Надо к Дутову! Все равно лысею! — махнул рукой, будто в ней была шашка, Сережа и с просьбой взглянул на меня: — Только скажи правду. Я лысею?

— До безобразия! — лукаво сказал я.

— Ну, всё! Всё, черт! К Дутову Александру Ильичу! — решительно сказал Сережа.

Но я знал, что всё это впустую. Мы видели перед собой врага. Но что-то нам мешало против него действовать. И это «что-то» никак не улавливалось. Мимо нас, издалека вразнобой хлопая разномастной обувью, не строем, а каким-то гусиным косяком прошла толпа дружинников с винтовками и под водительством двух матросов, недобро оглядевших нас. Я долго смотрел им вслед — все пытался представить их врагами. А видел туркестанских стрелков, то есть наших уральских и вятских мужиков, которые молча, с какой-то истовостью, будто пахали пашню или тянули стальной прокат, карабкались по скалам на Кара-Серез. Малорослые и молчаливые, в полном соответствии с нашим климатом, вдобавок в полном соответствии с нашим состоянием в Персии, то есть грязные, обносившиеся, разутые, вшивые, голодные, больные, они будто не понимали, что под убийственным огнем можно отступить. Им не было понятия, что приказ можно не выполнить, как нельзя не вспахать пашню, не дотянуть начатый прокат. Эти же, что толпой вместо строя прошлепали мимо, уже ни пахать, ни идти на завод явно не хотели. Они почуяли сладость разгула и сладость безнаказанного обладания винтовкой. Я им был враг. Но и такие, они мне врагами никак не становились. Причина этого не улавливалась.

Сережа тронул меня за рукав и глазами показал мне за спину. Я оглянулся. Шагах в десяти стояла маленькая и изящная женщина. Даже на десяти шагах был виден устремленный на меня пламень ее глаз. Тотчас некая сила приблизила мне Батум, Салибаури, позднюю осень четырнадцатого года и одновременно приблизила день страстной пятницы года пятнадцатого. Я увидел наше застолье на квартире у полковника Алимпиева Михаила Васильевича по поводу моего отъезда из Батума, и я увидел летящую на ближнее дерево корзину с розами, брошенную мной. Я увидел наговоренную драгунскую винтовку, оставшуюся на позиции в Олтинском отряде, и гладкие, хорошо пригнанные ореховые доски потолка, напоминающие узором накат волн, прибивающий к берегу разноцветье одежд пяти тысяч расстрелянных мамлюков. И легкость, конечно, легкость, с которой я уходил из Салибаури в тот день страстной пятницы, уходил и едва не насвистывал, приблизила мне некая сила.

— Боречка! — будто не губы, а глаза вскричали мое имя.

— Наталья Александровна! — шагнул я навстречу глазам.

— Это невозможно! Это смешно! — тотчас толкнули меня эти глаза, и только что вспыхнувший их пламень привычно застыл уже забытым нашим прибельским озером Кусиян.

Я стерпел их толчок.

— Знакомьтесь, Сережа! Это моя старинная знакомая по моей службе в Батумском отряде Степанова Наталья Александровна! — оглянулся я на Сережу.

Некая сила вновь приблизила день страстной пятницы пятнадцатого года и легкость, с которой я ушел от Натальи Александровны. А мигом раньше я летел к ней с корзиной роз. Она стояла в воротах дачи своего дядюшки Алимпиева Михаила Васильевича. На ней было узкое платье по парижской моде и маленькая шляпка. И смотрелась она кем-то вроде гимназистки среднего класса. Только глубокие, страстные, пылающие и одновременно змеино застывшие глаза ее и часто вздымающаяся от сильного и сдерживаемого волнения небольшая грудь ее выдавали в ней расцветшую женщину. «Какой ужас, Боречка! Это пошло дарить даме корзину роз, словно какой-то актрисочке!» — с нервным смешком сказала она. «Да, мадам!» — сказал я. И корзина взмыла на ветви ближнего дерева. И теперь — это тоже было пошло, объявление Натальи Александровны в нашем городе. Теперь это было совсем не нужно.

— Штабной писарь дивизиона подполковника Дутова Александра Ильича, а теперь инвалид, лысеющий и прогрессивно теряющий облик и свойства мужчины во всех их видах! — представился Сережа.

— Это прискорбно! — едва не отпрянула от него Наталья Александровна.

Ее появление в нашем городе объяснилось самым тривиальным образом, и о нем я должен был догадаться сам. Ее муж, как помнится, капитан Степанов, наследник Веркяйского поместья под Вильной, однокашник по училищу моего брата Саши, не выдержал конкурса в академию и во второй раз тем самым, по закону, лишил себя права поступать в нее когда-либо впредь. Спасла его революция. Он дал присягу новой власти, добился рекомендаций и был наконец зачислен на младший курс. Академия, как я уже говорил, на днях была переведена к нам в Екатеринбург. И сейчас Наталья Александровна шла от епархиального училища, где разместилась академия, к себе на снятую квартиру в Вознесенском переулке. Я бы мог догадаться. Но я бы мог догадаться в том случае, если бы она сохранилась в моей памяти хотя бы какой-то долей. Но она не сохранилась. Я не помнил ее. Она все сделала, чтобы во мне поселилась та легкость, о которой я уже сказал. И мне не было Натальи Александровны надо. Однако выходило, что коварству женской природы не было предела. Но был предел тому, чем я был наделен. Верно, я не умел любить.

Она явно во мне это увидела. И явно это было для нее ударом. Нужно было раньше иметь с ней дело, чтобы научиться читать ее глаза. Я увидел, как они дрогнули болью и тотчас, и тоже только на миг, заполнились яростью, ненавистью, еще чем-то таким, что нам, мужчинам, во всяком случае — мне, читать не было нужды — хватало и того, что удавалось прочесть.

— Боречка, вы проводите меня? — спросила она невинно, с любящей ноткой, кажется, даже с едва сдерживаемым порывом. «Боречка! Вспомни все! Ведь ты

навек мой!» — при этом сквозь боль и ненависть сумели сказать ее глаза.

— Разумеется, Наталья Александровна! — артистически выразил я радость.

И это не осталось ею незамеченным. «Ответишь!» — выстрелили ее глаза и вновь заговорили о вековой моей принадлежности ее чего-то там, сердцу ли, прихоти ли. Сережа засобирался распрощаться. Я остановил его. Пошли мы втроем. Идти было совсем рядышком.

— Как Михаил Васильевич? — спросил я о дядюшке.

— Как может нынче генерал, не захотевший сотрудничать? — тоже спросила она.

В голосе ее я почувствовал что-то странное.

— Но он жив? Где он? — заволновался я.

— Осенью был на водах в Кисловодске. Теперь, как вы любите выражаться, я не могу знать! — сказала она.

И снова я почувствовал в ее голосе, да теперь уж и в словах, что-то странное, будто ей неприятно было говорить.

— Но, сколько я знаю, вы были для него родной дочерью! — не сдержался я.

— Боречка! Я правда не знаю о нем ничего с самой осени. Его уволили от службы. Мы с моим Степашей были в это время в Питере. Связи между нами не было никакой. С ним были еще какие-то генералы. Степаша их знает. Если надо тебе, Боречка, я спрошу. Но больше я ничего не знаю. Ну, а ты как живешь, Боречка? — взяла она меня под руку и обратилась к Сереже: — Вы его друг. Скажите, как он тут живет? Я знаю от дядечки, генерала Алимпиева, что это его родной город. Как он тут? — И снова сказала мне: — А я почему-то была уверена, что мы встретимся!

— Почему же? — спросил я без охоты.

Конечно, она это увидела.

— А мы с Марьяшей, помнишь аджарку Марьяшу в Салибаури, на даче у дядечки? Мы с Марьяшей нагадали на винтовку, которую я потом тебе отдала, что тебя пуля не возьмет. Надо было и на болезни нагадать. Но кто же тогда мог знать, что война будет такой и тебя понесет в какие-то турецкие снега, а потом в эту персидскую грязь! — Она снова обратилась к Сереже: — Вы его друг. А вы знаете, что он бросил свою любимую женщину ради каких-то принципов? У него отморожены легкие. Ему можно было остаться в штабе у дядечки, который его искренне любил. Ему можно было с его академическим образованием перевестись в любое прекрасное место. Дядечка об этом хлопотал. А он знаете, что сделал? Он связался с совершенно дикими казаками и отправился комендантом в какой-то башибузукский аул, где эти башибузуки распяли его на кресте! — Я хотел прервать ее, но она тряхнула меня за руку. — Не перебивай даму! Если вам стыдно за все это, так не надо было всего этого делать! — и снова стала говорить Сереже, что я и после этого не исправился и испросил себе службу в Персии. — Представляете? Его так и тянет к этим башибузукам! Вот таков ваш друг!

Мы подошли к небольшому дому, по-екатеринбургски с каменным первым и бревенчатым вторым этажами, узким фасадом и длинным корпусом во дворе.

— Вот здесь мы живем! — показала Наталья Александровна.

Сережа деликатно распростился и пошел дальше, вверх по переулку. Я посмотрел ему вслед, сказав, чтобы он подождал меня, и увидел этот привязчивый дом Шаравьева. Отсюда он смотрелся так, что стена его, обращенная к проспекту и принужденная утыкаться карнизом едва ли в проезжую часть проспекта, вполне могла считаться стеной другого дома — так эта обращенная во двор, сад и вообще в сторону пруда стена контрастировала с ней. Та стена была удручена своим положением, а эта гляделась барышней на выданье. «Это же надо так построить!» — отметил я.

— Что там? — спросила Наталья Александровна, как я понял, спросила в убеждении, что при ней я не мог иметь никакого предмета для своего внимания, кроме нее.

Я посчитал возможным смолчать.

— Мы можем где-то встретиться только вдвоем? — снова обдала она меня сочетанием боли, ярости, ненависти и, кажется, все-таки любви.

— Я постоянно нахожусь на службе! — солгал я.

— У тебя дома можем? Или там… — не договорила она со значением.

— Дом занят жильцами! — еще солгал я.

— Ну, конечно! Мне самой, как прежде, придется искать место! Убила бы! — в смеси подлинного и наигранного возмущения воскликнула она, коротко прильнула ко мне и шепнула: — Завтра там, в Вознесенской церкви, в этот же час! Найди возможность. Я буду ждать! — и пошла.

Моего ответа ей не требовалось.

— Что? Как? Откуда ты с ней знаком? Кто она? — порывом ветра встретил меня Сережа и не стал ждать ответа. — Ах, черт! — стал он переживать свое. — Ах, черт! Ну почему я лысею! Ну почему мне мои родители вечно приводят на знакомство каких-то тусклых евреек! Можно подумать, все еврейки тусклые! Ведь есть же где-то такие, ради которых, как Андрий у Гоголя, пойдешь на смерть! Есть Юдифь! Есть… — он запнулся. — Есть кто-то там в «Песни Песней»! Ах, черт! Лысею, и память становится ни к черту! Ведь несчастный Олоферн наверняка раскусил эту девку Юдифь, зачем она открыла ему свои груди и прочее. Явно ведь она ему их открыла не для того, чтобы он там стал выискивать какой-нибудь мастит или, хуже того, какой-нибудь прыщ! Ведь он догадался! Но пошел на это! Ради одной ночи лишился головы в прямом и переносном смысле! А мои родители думают, что лысый, так я любой тусклой старой деве буду рад! Нет! Нет, Боря!.. — И вдруг опять переменился. — А давай вместе — к Дутову Александру Ильичу! Ведь тут мы протухнем! А там! Там, как Стенька Разин или Емелька Пугачев, хоть раз да погуляем! Лучше один раз погулять вволю, чем триста лет дрожать по замшелым углам и со всей мировой скорбью смотреть на тусклых старых дев!

— Не пойду я гулять, Сережа! По крайней мере, не пойду, пока чего-то не пойму! — сказал я и потом прибавил, как бы прибавил сотник Томлин: — А пойму, так и совсем не пойду!

— Но Анна Ивановна! — в восхищении сказал Сережа.

— Лысый, а надежды не теряешь! — с любовью поддразнил я.

— Ничего! Бороться за правое дело и лысого возьмут! — сказал Сережа.

Мы дошли до его дома. Он пригласил зайти. Я отказался. Мне посыпались воспоминания осени четырнадцатого года, сводящая с ума и лишающая воли разлука с Натальей Александровной. «Как же так могло быть?» — спросил я, не понимая себя тогдашнего. Мне захотелось домой, захотелось запереться в комнате и побыть с Элспет и моей дочерью. «Признали мы за благо!..» — с ненавистью сказал я государю его слова. Все, что было у меня за всю мою службу, он отнял своим признанием за благо.

— Но только — Анна Ивановна! Презрей свое сословие! Только — она! — сказал Сережа.

Я с кривой усмешкой кивнул.

18

Элспет и дочь никак не приходили. А приходила осень четырнадцатого года — батумский дождь, пять дней боев под Хопом. Моя батарея успевала укрываться от турецких корабельных орудий, успешно противостоять полевым батареям в дуэли и накрывать пехоту. Мы чаще были на открытой позиции, в виду турецких батарей. И нам надо было постоянно опережать их — опережать не быстротой открытия огня, а точным попаданием. Точность попадания зависела от меня. В силу того что их было несколько, а мы были одни, времени на пристрелку у нас не было. Первый же залп должен был ложиться в максимальной близости от них. Я считал расстояние, и меня охватывала пустота. Потом такая же пустота меня охватила в первый наш с Натальей Александровной вечер на даче ее дядюшки полковника Алимпиева в Салибаури. Пустота была без границ, такая, при которой я будто вместил в себя весь театр военных действий с горами, морем, батумской крепостью, этим несчастным городишком Хопом, с нашими и турецкими частями. Я пьянел от пустоты. Голова моя была высоко в небе, и я оттуда смотрел на все, как на макет. Сосчитать расстояние и угол в таком положении было совсем просто. И я каждый раз опережал их. Это было счастьем.

Оно закрывало Элспет. Со мной были ее ладони, ее дыхание, ее будто младенческий в искажении нашего русского языка лепет, ее: «Вот мы здесь!» Все это было. Все это было со мной, во мне. Но не было самой Элспет. Не было ее рядом. Рядом была пятидневная счастливая война — преддверие всего остального. И идти во все остальное, то есть в неисполнение приказа, во встречу с Натальей Александровной, в мой, как тогда мне казалось, бесконечный путь от Батума до Олту, я не хотел. Я лежал на диване и силился быть с Элспет.

Под вечер вдруг пришел Миша. Иван Филиппович обихаживал двор, торил ручьям дорожки.

— Здравствуйте, Иван Филиппович! А не дома ли Борис Алексеевич? — чрезвычайно любезно спросил Миша.

— Опять в добрых людей стрелять пришел? — не отвечая на приветствие, спросил Иван Филиппович.

— Нет, пришел по делу, дорогой Иван Филиппович! — ответствовал Миша.

— Вдоль спины окрещу лопатой. Так дороже стану! Манер взяли в добрых людей стрелять! Революция понравилась? — не внял Иван Филиппович тону Миши.

Миша характерно в нос закашлялся.

— Нет, дорогой Иван Филиппович! Революция мне очень не понравилась! — сказал он.

— По вам и видно! — отвернулся Иван Филиппович.

Я вышел на крыльцо.

— Не знаю, с чего начать! — не глядя на меня, сказал Миша.

— Что-то с тобой творится, а ты не скажешь! — пересилясь, сказал я.

— А не скажу! — резко оборвал он меня, но тотчас выправился. — Да что говорить! Этого не скажешь. Хотя я тебе уже сказал, да ты не понял. Вот снова пришел, а не знаю зачем. Гарнизон расформирован. Крашенинников и я уволены с завтрашнего дня. Дом отобран. Уезжаю я, Боря! К Сережке проститься не пойду. А к тебе пришел. Если в дом пустишь, пойдем поговорим перед разлукой!

Мы пошли в дом. Но разговора у нас не получилось. Он вышел монологом Миши с редкими моими вставками.

— Вот что я пришел тебе сказать! — в раздумье и протяжно, как в тот вечер, когда он в меня стрелял, из самого своего нутра сказал Миша. — То, что я тебе до сумасшествия завидую, что люблю тебя и ненавижу, я тебе уже говорил. И я говорил, что я бы с наслаждением сдал тебя Паше, а за его отсутствием, Яше. Сдал бы. Но не сдал! — так говоря, он не смотрел на меня. — Не сдал. И вот принес, — он вынул из нагрудного кармана свернутый листок бумаги. — Принес, а ты его прочитаешь после моего ухода.

Я предположил, что он мне хочет дать какие-то свои объяснения, и попытался было отказаться.

— Нет, ты возьми! Прочитаешь, когда я уйду! — с нажимом сказал он.

Я вскинулся на его тон, но тотчас остановил себя. Что-то было в Мише нехорошее, черное, будто потустороннее. Не взять его объяснений, то есть протянутый мне его листок бумаги, значило бы усугубить его состояние. Я взял листок.

— Прочитаешь потом! А теперь я скажу вот что! — сказал Миша да сам же и оборвал себя. — А что теперь? — засверлил он меня взглядом. — Что? Я тебе уже все сказал. До безумия хотелось познать что-то в мире, в этом мире, по вольтеровскому «Кандиду», лучшем из миров! Потому-то я пытался заглянуть по ту сторону его. Пытался — да только всю свою жизнь прохряпал! А я не дурак, как Сережка, которому собственное мнимое облысение — мировая проблема! Я до изнеможения хотел любви — и высокой, и плотской. Я мужчина. Я мужская особь с древним безудержным инстинктом. Я не эти — Димочка с Зиночкой, я говорю о господах Мережковских с Гиппиус! Я — не эти Максы Волошины с его Марго Сабашниковой и не тот колбасник, объявивший себя богом! Я хотел жизни, жизни высокой и низкой. Я хотел небесной бесплотной любви и тут же хотел удовлетворения плоти! О, как я обладал проститутками! В эти минуты я постигал весь мир, я владел всем миром! Но каково же было мне, когда эти минуты кончались! Тебе с твоей честью русского офицера, — все три последние слова он сказал с иронией, если не сказать с издевкой, — тебе с этим мифом никогда такого не испытать. Да если и испытаешь, не поймешь! Жалко мне тебя, Боря! Так вот. Когда эти минуты заканчивались и я отваливался, как насосавшийся клоп, я чувствовал себя именно насосавшимся клопом. И я тогда хотел, я жаждал революции, чтобы были — не только проститутки, не только те, кто видел во мне не меня, а мои миллионы, чтобы были светлы, свободны от меркантилизма женские

особи, какие могут быть только в результате революции, уничтожившей собственность, деньги, весь этот разврат с капиталом и производством! Ах, как хотел я революции! А теперь, как я сказал твоему лакею, я ее задушил бы собственными руками. А тогда хотел, хотел, чтобы все эти «Черные переделы», «Земли и воли», все эти Плехановы-Ульяновы, Аксельроды, кто еще там, кого на виселице вздернули во славу империи и царя-батюшки, хотел, чтобы они принесли революцию. Да ведь вся русская безмозглая сволочь интеллигенция, вся эта гниль и мерзость, все это русское безумие, плод царя Александрушки-освободителя, хотела революции, все ныла о ней! Ничего делать она не умела, ничего не делала и не хотела делать, а ныла с величайшим удовольствием! И я ныл, я хотел, думал, что она поставит меня над миром — не управлять им, а только встать над ним, чтобы постигнуть его, как зеленый сопливый студентик постигает во время препарирования лягушку.

— Миша, все мы не без греха! — сказал я.

— Ха! — черно воскликнул Миша. — И ты, Брут! И ты хочешь себя помазать этим же гноем! И в тебе русское счастье похотело быть русским несчастьем! Но нет, господин Норин! Тебе не дано! Тебе как дворянину дано охранять империю, дышать вместе с ней! Да к тому же ты служил ей, империи, и этому раззяве Николашке не за страх, не за оклад жалованья, не за свое особое происхождение. А за совесть! И нечего тебе наш новообразованный русский гной на себя мазать! Недостоин ты, как говорится, его! Его надо выносить в себе да потом помазать другого. Да не раз и не два помазать. А по капельке из себя давить и долго по капельке мазать, по капельке и долго, возвести это в систему, пока всего не измажешь, — вот тогда и поимеешь право мечтать о месте помазанника! А? Красиво я говорю? Красиво я описываю твоего кумира царя-батюшку, помазанника Божия? А ты молчи!..

— Давай перестанем об этом, Миша! — увидел я, как в прошлый раз, белую пену в углах его губ. — Скажи, куда ты собрался уезжать?

— Что? Хочешь сказать, будто тебя это задевает, будто ты всей душой встревожился от моего решения уехать? — по-прежнему черно заулыбался Миша. — Но ведь это не так! Ты лжешь! Ты считаешь себя человеком чести. Но ты не стыдишься эту свою честь в случае чего куда-нибудь подальше запрятать! Вот сейчас я тебе это говорю, а ты терпишь! Значит, что? Значит, какой вывод напрашивается?

— Миша, не испытывай судьбу! — попросил я.

— Что? Ха! Да не угрожаешь ли ты мне? Ты, тупой служака, а оттого считающий себя успешным офицером и любимцем женщин, не угрожаешь ли ты мне? А чем угрожаешь? Стреляться? Так ведь ты струсишь. Тебе есть что терять! Тебе жалко мнимые свои приобретения терять! Ведь побоишься стреляться? — придвинулся он ко мне совсем близко.

— Я побоюсь, что твой гной на меня брызнет! — сказал я. На удивление, рубцы мои меня никуда не тянули. Я был спокоен и будто смотрел Мишу насквозь, видел всего его до мелких складок одежды и до самых потаенных его чувств. Все было в нем черным. Но он был моим другом. И не следовало мне так говорить. Однако

молчать или говорить что-то другое уже не выходило.

— То есть гнушаешься стрелять? — перевел мои слова себе Миша. — Нет, дорогой мой! Стрелять надо было раньше и из твоих пушек, и стрелять надо было во всю эту чернь, во всю эту революцию, как стрелял твой Наполеон! А в меня стрелять — только вы можете посчитать за честь! Да вам меня и не съесть! Сказал стихами, не хуже вашего Максушки Волошина! Но я вижу, разговор у нас не получается. А жаль. Мне искренне жаль. Ну, что ж. И на том спасибо. Позвольте откланяться, старый друг! — Миша резко пошел в дверь, на пороге остановился. — А вашей барышне передайте мой низкий поклон! Да скажите… Хотя вы не скажете… Но все равно… Ее никто так любить не будет, как любил бы я!.. — хлопнул дверью, и со двора мне донеслось: — До свидания, Иван Филиппович! Вы, пожалуйста, повнимательней следите за Борисом Алексеевичем! Не ровен час, свяжется с простолюдинкой! Все-таки революция, новые веяния!

— Ну, какая же ты сволочь! — вскричал я и не услышал ответа Ивана Филипповича.

— А ведь хороших родителей. А как себя распустил! — сказал Иван Филиппович, когда я вышел к нему.

Я молча стал проводить ручьи со двора, выкладывая из них Диал-Су и две великие месопотамские реки Тигр и Евфрат. Двух месопотамских рек показалось мне мало. Я стал тянуть ручьи из дальних углов в наш небольшой сад.

— Тобол и Иртыш! — соединил я два ручья возле забора и за забором продолжил их одним ручьем — Обью, теряющимся в темном, набухшем снегу. — Тобол и Иртыш. Город Тобольск. Это до забора. А что за забором, то теряется в снегах и неизвестности. Английский эсминец небось выйти к устью Оби и не думает! — сказал я и прокопал дорожку Оби дальше, к уличной канаве, посмотрел, как она покатилась вдоль забора, пока не ткнулась в мусорную запруду на углу улицы. Я пошел разгрести запруду. Снизу, от мостков через Исеть, поднимался какой-то мастеровой, махнувший подождать его. Я остановился. И пока он подходил, я по выправке понял, что он был никакой не мастеровой.

— Не угостите закруточкой? — спросил он, стараясь вскользь, незаметно, разглядеть меня.

— Да никак нет. Табачок на продукты меняем! — сказал я и спросил, какого он полка.

Он ворохнулся глазами по сторонам и сказал, что я обознался.

— Прошу прощения! — сказал я.

Он пошел дальше. Я по его спине видел, что он чувствует мой взгляд. На углу, как я и ждал, он попытался незаметно оглянуться. Мне вспомнился татарин с худой бочкой на углу Арсеньевского. С ним, разойдясь, мы, однако, не преминули оглянуться и помахать друг другу. Сейчас же два офицера друг перед другом ломали комедию, и один из них, а то и оба мысленно посылали государю нелестное. Миша выходил насчет нас прав. Я прочистил запруду и во дворе спросил Ивана Филипповича, что, по его мнению, было бы, если бы государь не отрекся.

— Государь — не отреченный, а государь — нареченный! Об этом надо думать, а не так, как те! — он махнул лопатой за ворота.

Думать же, как советовал добрый старик, не выходило. После ужина подобный разговор завел Бурков.

— Паша Хохряков в Тобольске. А теперь зачем-то туда еще Браницкого с командой отправляют, — начал он.

— Оттуда сюда привезти? — догадался я.

— Если сюда, то… Здесь, как говорит наш Иван Филиппович, оллояр на оллояре. Здесь грохнут и не чихнут, а еще за доблесть посчитают! — посмотрел на меня Бурков.

— Вот и «Признали мы за благо»! — зло сказал я.

— Отречение было неизбежно. Отречься его заставили бы в любом случае! И не мы, большевики, заставили бы. О нас и лапоть не звенел. Мы в подполье были. Свои же заставили бы, как и вышло, что заставили! — сказал Бурков.

— Я говорю о том, что не захотел, — и не заставили бы! — сказал я.

— Ну, застрелили бы. Французы вон своих монархов на гильотину стащили. Там и тут было неизбежным — покончить с монархией! — в убеждении сказал Бурков.

— Гриша, есть разница между «отрекся» и «застрелили». Отрекся — значит, нас безоружными на произвол судьбы бросил. А если бы застрелили, так мы весь этот революционный Петроград вместе с его революцией в Неве бы утопили!

— Вот и выходит, что он поступил правильно, что отрекся. Петра творение он сохранил! — улыбнулся Бурков.

— А может, вы и правда его хотите по-французски, Гриша? — спросил я.

— Да нет. Он отрекся. Он теперь никому не нужен. Разве только бандитам в целях поиздеваться. Ты читал, по каким статьям его хотят судить. А эти статьи не предусматривают даже в случае признания виновным «по-французски». Он просто гражданин Романов, что-то там натворивший. Пятый год ему в вину не ставится. Он был самодержцем по закону. А остальное — тьфу. Остальное — не справился с управлением страной — дай место другому. Вот и всё. Он никого не заботит. Сейчас другое выходит на политическую арену. Надо разжечь пожар революции в мировом масштабе. Вот величие момента. И тут не до гражданина Романова! — как бы в превосходстве сказал Бурков.

— Как-то все не так, — сказал я.

— Пока не так. И виной тому много факторов! — возразил Бурков. — Вот смотри. Что против нас? Война империалистическая не переходит в гражданскую, не свергают правящий класс в Европе, не совсем еще там созрел пролетариат. Это раз. Глядя на это, внутренняя контрреволюция начинает поднимать голову: Дутов, казаки на Кубани и Тереке, генерал Корнилов, Украина… Это два.

— А вы: «Сотрем с лица земли артиллерийским огнем все казачьи станицы и

поселки!» — напомнил я.

— Не без этого. Хотя это уже может быть перегиб на местах. Да ведь еще и не стерли ни одной станицы, ни одного поселка! А если надо, сотрем! — без тени сомнения сказал Бурков.

— Ты хоть понимаешь, о чем ты говоришь, Гриша! — поразился я его решимости.

— Это требование момента. Это закон гражданской войны! — сказал он, а я себе отметил как заслугу мое неисполнение приказа. — Тут как, Боря? Тут война. Сплошь поднимаются против нас. Что там Дутов! У нас здесь, вокруг Екатеринбурга, как ни завод, так восстание, как ни деревня, так мятеж. Все на нас волком смотрят. Мужик последнюю телушку продает, а винтарь покупает. И кто его на это мутит? А контра и мутит. И, думаешь, на защиту царя мутит? Нет. Царь никому не нужен. Он — отработанный материал. Его — на свалку истории. И ты о нем не печалься. Считай, что я с тебя печаль снимаю. Не стоит он твоей печали. Ты прав. Он о тебе ни секунды не думал, когда отрекался!

«Не отреченный, а нареченный!» — вспомнил я слова Ивана Филипповича, как бы ставившие все по своим местам, и потому только как бы ставившие, что были еще слова, на которые нареченный не имел права. Он не имел права признавать за благо как свое наречение, так и свое отречение. Подобными признаниями он оставлял нас вне чести. И судить его надо было только за это. Все остальное — производное. Я сказал это Буркову. И я сказал ему, что с революцией у них ничего не получится не только в мировом масштабе, но и в России.

— Жалко мне таких людей, как ты, Гриша! Они там грызутся за власть, за место царя и придумывают для вас все эти небылицы про свободу, равенство и братство, которые сотник Томлин еще в Персии называл не иначе, как кобылдырык, шакалмырык и брякбырык, — сказал я.

Он же рассмеялся и позвал Анну Ивановну.

— Анна Ивановна, скажи ему! Ты же сама видишь, как просыпается народ, как он начинает верить нам, верить не в небылицы, а в наше дело! Скажи, сколько ты встретила людей красивых, умных, ищущих, верящих, пусть и совсем неграмотных, но вот таких! Скажи! — попросил он.

Я не знаю, что сказала бы Анна Ивановна. Я сам сказал Буркову. Я сказал, что именно о том же и я говорю, когда жалею их, красивых, умных, ищущих, верующих. При этих словах я вспомнил Мишу и его письмо, которое я забыл прочесть. Мне не хотелось его читать. Но я отметил, что прочту перед сном, с тем чтобы за ночь успеть избавиться от того черного и грязного, что в письме найду. Еще я вспомнил свое открытие про сиюминутность жизни — жизни без последующей минуты, даже без надежды на нее. Такая жизнь убивала нравственные порядки и саму совесть, без которой любимую женщину могла заменить любая другая женщина, а друга мог заменить любой попутчик или даже враг, если он в сию минуту был чем-то необходим.

— Гриша, — сказал я, как бы укрепленный в своей мысли. — Над вами

довлеют люди, от природы переполненные грязью. Они не могут ее не выплескивать на таких, как вы, чистых. Они погибнут, если не будут свою грязь выплескивать. А красивые, умные и верующие были всегда. Взгляни хоть на себя, хоть на Анну Ивановну. А ваша революция присваивает себе то, что дается природой, Богом. Я на фронте видел чистых людей гораздо чаще, чем людей с грязью. Люди с грязью на фронт не идут. Они в тылу ждут своего часа! Чистота дается природой, — еще раз сказал я. — И ни разбоем, ни золотом, ни революцией ее не приобретешь!

— Про ждущих в тылу своего часа — это ты обо мне? — кажется, с обидой спросил Бурков.

— Это — о ваших кумирах! — сказал я и почувствовал, как говорить дальше бесполезно.

«Ложь, все ложь! В одной доброй семье только истина!» — с горечью говорил бессемейный генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, Белый генерал. И я снова почувствовал, что счастье — только в служении и в службе. Все остальное принесет только ложь, декадентство, принесет бодлеровские «Цветы зла». Я попросил Буркова прекратить наш разговор, но не удержался сказать еще о фронте, о людях, о тех же туркестанцах, то есть вятских и уральских мужиках, под убийственным огнем молча берущих перевал Кара-Серез.

— Вот они — красивые, светлые, верующие. А вас ведут слепые и грязные! — сказал я.

— Эх, какой же ты красивый, светлый, но темный! Правда, Анна Ивановна? — приобнял меня за плечи Бурков и потащил на крыльцо. — Вечера пошли хорошие. Давай посидим! — попросил он.

Я вспомнил сестру милосердия Машу Чехову, светлую и чистую Машу, читающую свои стихи. Сами стихи я уже не помнил — что-то про коней и Россию. Да и саму Машу я вспомнил мельком, коротким вздохом. Эта чистая душа глубоко смотрела на меня, взглядом спрашивая, так ли она читает, нужно ли мне ее чтение, нужно ли мне еще что-то такое, что можно только чувствовать, но нельзя перевести в слова. Мне удивительно везло на женщин с разговаривающим взглядом. После чтения, когда все захлопали в ладоши, а я от того раздосадовался, ее взгляд спросил: «Почему?» Ее взгляд сквозь тьму вечера различил, что я раздосадовался от сего хлопанья, и спросил не то, как она прочла, а спросил, почему я раздосадовался. Я тогда подумал, что человек с таким чувствованием, верно, обречен на несчастье. Она умерла на той же неделе. Она в подражание графине Бобринской, сколько могучей телом, столько же энергичной и живучей, выпила вопреки запретам из колодца и в два или три дня скончалась. Я рассказал о ней Буркову.

— А ты винишь революцию! — невпопад сбрякал он.

Прошу прощения, я стал замечать, что вне корпуса, вне своей среды я вмиг стал переходить на революционный язык, на сей новояз, на сей новогряз. Но если вспомнить царя Соломона, то это определяло мою жизнестойкость, ибо, по нему, гибели предшествует гордость. Я в связи с ухватом новогряза, получается, гордости лишался.

— Знаешь что! По совести, я бы учительствовал и учительствовал в своем Троицке. Никакой революции мне не надо было бы. Знаешь, какое самое прекрасное дело на земле? Да учительствовать, детей уму-разуму учить! — вздохнул Бурков.

— Вот и на кой черт тебе вся эта революция! — сказал я.

— Революция-то — не на кой черт. На кой черт то, что вокруг революции заворачивается! — нахмурился Бурков.

— Исключительная логика! — не удержался я от усмешки.

Бурков смолчал.

Заминая усмешку, я вспомнил прошлогоднюю ночевку на Бехистунге.

— А кстати, революция нас тогда спасла! — сказал я.

Бурков недовольно, ожидая новой усмешки, скосился на меня. Я рассказал ему про ночь в феврале прошлого года, когда мы, выражаясь новоязом, шарашились по сугробам, не поспевая за Девятым сибирским казачьим полком. В полуверсте от Бехистунга мы застряли напрочь. Сотник Томлин вдруг спросил разрешения выстрелить.

— А разреши, Лексеич, вдарю я по ней из винтореза! — попросил он.

— По ком? — не понял я.

— А по революции этой, по Бехистунке. Вдарю ей по тылам! — пояснил сотник Томлин.

— Стреляй. Только при чем революция? — снова не понял я.

Я услышал, как он достал из торока винтовку, дернул затвором, встал в стременах. Едва смолкло по окрестностям эхо от его выстрела, как со стороны Бехистунга вдруг, будто высеченные кресалом, брызнули многочисленные искры, и мимо нас, чуть выше голов весело и неестественно быстро прожужжал мириад шмелей, и следом прилетел гул ружейного залпа.

— Спешиться! Огня не открывать, чтобы по вспышкам не определили нас! — закричал я и велел первому орудию выкатиться вперед и по вспышкам дать беглым четыре гранаты.

— А если сибирцы по ошибке? — спросил сотник Томлин.

— Дрянь дело. Никакие не сибирцы. Шмелей слышишь? — оборвал я. Шмелями жужжали свинцовые пули старых курдских ружей большого калибра, раны от которых были жестоки, обычно долго гнили и давали заражение. — Шмелей слышишь? — спросил я и похвалил сотника Томлина. — А вовремя тебя потянуло с революцией разобраться!

— Да я вспомнил этих чертей там, на барельефе, и меня, Лексеич, вдруг между ребер защекотало, будто они учуяли, что сейчас туда из винтаря всадят! — признался сотник Томлин.

— А революция при чем? — спросил я.

— Вот в том-то и дело! Сюда осенью пятнадцатого года из Баку пароходом шли. Помнишь, был на пароходе матрос с одной лычкой на погоне. Черт их разберет, кто у них с одной лычкой ходит. Я тебе его показывал. Морда сковородой, глазки коловоротом, подленькие, злые, ну, чисто тебе революция пятого года! Я спросил одного, как звать этого матроса. «А рожа-зад звать!» — говорит. И захотелось мне или кружечку аракушки дернуть, или в эту революцию ахнуть! — сказал сотник Томлин.

Я рассказа это Буркову и едва не взвыл по-волчьи от воспоминаний, от удушающей жажды оказаться сейчас в корпусе, среди своих. Я ушел в дом. Анна Ивановна сидела при лампе в столовой. На мои шаги она обернулась. Мне следовало пожелать ей спокойной ночи издали. Но я пересилил себя и подошел. Как в насмешку о каком-то несбыточном спокойствии, совсем рядом, от угла соседнего дома, выходящего к нам глухой стеной, лопнули один за другим два пистолетных выстрела, и дважды треснула наша входная дверь. Я тотчас пригнул Анну Ивановну под стол.

— Что это, Боречка? — услышал я ее испуганный лепет и стал шарить рукой по столешнице в надежде прихватить со стола лампу.

В дом вбежал Бурков. Я крикнул ему оставаться в прихожей и не перебегать гостиную, в которую падал свет лампы.

— Да мне к портупее! — сказал он об оставленной в своей комнате амуниции.

— Подожди. Я лампу погашу! — сказал я.

— Да мне мигом! — уже в гостиной крикнул Бурков.

Окно гостиной со звоном и кусками посыпалось. Пуля ударила в стену над нами с Анной Ивановной. Я сдернул руку со стола, так и не нашарив лампы. Бурков выругался.

— Жив? — спросил я.

— Сейчас я им! — ответил он из своей комнаты.

В прихожую со словами: «Громы небесные! Дождались! И на нашу пашенку — дождичек!» — ввалился Иван Филиппович. Я велел ему оставаться у порога, а сам, отчего-то вдруг поцеловав Анну Ивановну, согнулся, как говорится, в три погибели и сим скорбным образом, по-обезьяньи, перебежал в свою комнату. «Штайер» будто ждал. Он с готовностью лег мне в ладонь. Я из-за косяка выглянул на улицу. Она была пустой. Я крикнул Буркову, не видит ли он кого из своих окон. Он ответил отрицательно. Я с теми же тремя погибелями вернулся в столовую, погасил лампу и перебрался к Ивану Филипповичу.

— Я двери-то на крюк запахнул! — прошептал он.

— Молодец! — со смехом, но тоже шепотом похвалил я.

— А этот-то, — сказал он про Буркова, — и не подумал! Черной птицей в дом махнулся! Я на пальбу-то — в сенцы. А он уж по гостиной летит. И двери за собой — настежь. Стреляй ему в зад-от, добрый человек! — снова зашептал Иван

Филиппович.

Я велел ему смолкнуть и в напряжении стал слушать. Было кругом тихо, будто минутой назад ничего не произошло. Наверно, с час мы ждали, не повторится ли нападение, и гадали, кто и зачем нападал. Потом заделали разбитое окно дерюгой и потихоньку разошлись по своим комнатам. Я уснуть не мог, и мне думалось, что стреляли по приказу Яши за инцидент в лагере военнопленных. Мысль была зряшной. У Яши было достаточно силы арестовать меня и застрелить на основании их революционного закона при так называемой попытке к бегству. Однако отделаться от мысли о Яше не удавалось. В моем воображении Яша мог позволить себе все.

19

Утром я прежде всего вспомнил Наталью Александровну. «Ради академии перешел к советам!» — брезгливо подумал я о ее муже Степанове, некогда друге брата Саши.

В академию, едва она прибыла из Питера и разместилась в здании епархиального училища близ стен Ново-Тихвинского монастыря, я пошел с некоторой ностальгией. Ни знакомых преподавателей, ни тем более кого-то знакомых из сослуживцев встретить я не надеялся. Потянуло само название, сама академическая атмосфера, особенно до самых тонких запахов запомнившиеся самые первые мои академические дни, первый навал заданий по каждому предмету, едва не раздавивший нас своей громадой. Как я уже говорил, я быстро охладел к учебе именно в артиллерийской академии, готовившей более для науки, а я при всей моей любви к тиши кабинетов все-таки тяготел к практической деятельности, то есть службе в войсках. Этим Академия генерального штаба была мне ближе. Надо помнить, что шел я в этот раз не как академический выпускник, не как полковник с высокой генеральской должностью инспектора артиллерии корпуса, а шел я всего лишь казачьим прапорщиком военного времени, то есть, по советскому времени, даже просто военнослужащим, то есть лапоть лаптем, пиджак пиджаком. Естественно, в сумраке училищного коридора меня за такового принял дежурный из курсантов и дал себе развлечение вывести меня за порог с назиданием впредь давать себе отчет в поступках.

— Тут, брат, не всякого возьмут! Тут, брат, не епархия, а военная академия! Тут, брат, надо не менее четырех классов в загашнике иметь, да стоять на платформе советской власти, да три года службы в армии! — сказал он в непередаваемом превосходстве.

— А сказано, три месяца военной службы, а не три года! — хотя и тоном законченного пиджака, но не стерпел я поправить будущего академика. Стаж военной службы, по положению, действительно должен был уложиться всего в три месяца.

— Три года! Это я тебе говорю! Хы, три месяца! За три месяца «сено — солома» не освоишь! Много бы нашлось трехмесячных-то! — проводил меня с крыльца будущий академик.

Я пошел по Александровскому проспекту. Около монастырского странноприимного дома мне встретился человек лет пятидесяти с золотым пенсне, одетый в офицерскую шинель от хорошего мастера и странно мне знакомый. Стоило мне поднять на него глаза, как я понял — я его где-то встречал. «В Петербурге перед войной!» — вспомнил я, но именно при каких обстоятельствах, вспомнить сразу не смог. Пристальный взгляд мой странным знакомым не остался незамеченным. Он коротко, в рамках приличия, однако и с сознанием своего превосходства посмотрел на меня, и глаза его напряглись тем же вопросом — где он мог меня видеть.

— Сударь! — шевельнул он рукой в хорошей перчатке мне остановиться. — Вы не из вновь прибывших, не преподаватель?

Он так сказал, но явно сказал только с тем, чтобы дать себе время вспомнить меня и одновременно получить от меня нечто вроде подсказки, дескать, нет, не преподаватель, или, наоборот, да, преподаватель и только что прибыл. Я, конечно, сказал первое.

— Однако же, однако же! — наморщил он лоб. — Однако же вы академию закончили и явно перед войной!

— Так точно! — сорвалось у меня прежде, чем я вспомнил себя прапорщиком военного времени.

— Вот видите! Еще есть кое-что в этом рауме![1] — не без рисовки прикоснулся он к своему лбу.

— Так точно — это «никак нет»! Простите. После контузии часто путаюсь в словах! — соврал я и прибавил, что, конечно, он принял меня за кого-то другого.

— Нет, сударь! Я прожил голодную зиму в Питере. Но на память, извините, не жалуюсь! Кстати, прошу прощения, имею честь представиться: профессор Академии генерального штаба, так сказать, Николаевской академии генерального штаба, преподаватель стратегии полковник Иностранцев! И вас я помню именно по академии! Все-таки отсюда, — он снова показал на лоб, — вышибить что-либо пока еще трудно!

«Ну, конечно же!» — едва опять не сорвалось у меня с языка. Я видел его у нас, в стенах Михайловской академии, и не раз, хотя мельком. И еще едва не сорвалось у меня другое. Мой однокашник Жорж Хуциев, по службе оказавшийся в довольно высокой инстанции, рекомендовал мне в письме полковника Иностранцева в период его командования одним из полков, кажется, Второй Финляндской дивизии как патологического труса, что-то вроде генерала Рауха, который, в страхе быть пленным, изматывал подчиненных тем, что запрещал на сон раздеваться и разуваться и запрещал расседлывать лошадей.

Довольный своей памятью, профессор Иностранцев не обратил внимания, что на его представление я не ответил. Он повел рукой вокруг:

— А хороший город, культурный! Представьте, даже пирожные вполне сносные! Бронштейн, или, по-нынешнему, комиссар Троцкий, все-таки ценит академию, понимает, что без нас ему не обойтись!

Собственно, вот и весь эпизод. Но быть в чужой личине мне стало так тошно, что я, отошедши вниз по проспекту, от охватившего меня озлобления и бессилия едва не сел на тротуар с одной только мыслью — пойти и расстрелять совет, если уж не ту главную свору, которая сидела для меня недосягаемая, то хотя бы нашу, екатеринбургскую.

При этом эпизоде муж Натальи Николаевны оборачивался подлинной сволочью. И это каким-то нехорошим отсветом упало на саму Наталью Александровну. А на Яшу, на комиссара Юровского, вышло, лаял я с вечера зря.

Утром же прозвенел у нас под окнами некий мальчишечий голос:

— Хозяева! Тут вот бумага! Отворите!

— Борис, не ходи! Дай я! Я все-таки немалое начальство! Как-нибудь разберемся! Ведь это явно, чтобы тебя выманить! — сказал Бурков.

— Боречка, уступите! — с мольбой прижала руки к груди Анна Ивановна.

Более всех ближе мне оказался Иван Филиппович. Он взял топор, определил себе место в сенцах за дверью и сказал:

— С Богом, Борис Алексеевич! Ты их только в дом замани. Выхода им не будет! Пора супостату бой дать! Пора беса исподнего кончать!

Я взял «Штайер» и пошел открывать сам. Расчет был прост и был равен решимости Ивана Филипповича — я был подполковником русской армии, и мне не следовало юлить. Я глазами поблагодарил Ивана Филипповича, как-то вдруг подумав, сколько же он вечен в своей фразе о неотречении, а наречении.

— Боречка! Но ведь там матросы! — в своем ужасе за меня божественно похорошела Анна Ивановна.

Отвечать, что матросам вся война составилась только в убийствах своих безоружных командиров да во взятии несчастных заложников, что против моего «Штайера» они просто мешки с трухой, я не стал. Я бесшумно подошел к калитке и рывком отворил ее. Предо мной предстал некий сущий Гаврош из романа Виктора Гюго о какой-то их очередной революции, то есть нестриженый, завшивевший и в рванье с чужого плеча мальчишка лет десяти. Собственно, он не предстал. Он от моего появления отскочил в сторону.

— Что так-то! Небось мы к вам с бумагой! — стараясь басом, недовольно сказал он.

— Прошу прощения! Так вышло! — сразу понял я тщету своей готовности отдать жизнь революции, в том смысле, что отдать ее не свою, а всего лишь того количества матросов, которое я предполагал увидеть перед воротами.

— Так вышло, когда под дышло! А мы с поручением, не угостите ли печением? — дурацки даже для десятилетнего мальчишки дрыгнул ногами Гаврош.

— Вперед бумагу! — сказал я.

— Спервака не отпляшете ли трепака? — снова дурацки дернулся Гаврош и на всякий случай отбежал.

— От кого бумага? — спросил я.

Гаврош смерил расстояние до меня, признал его безопасным, вынул из обшлага, если предполагать таковой в некой рвани и бесформенности его одеяния, сложенный вчетверо листок, сторожко косясь на меня, прочел:

— Норину от эм зе! — и прокомментировал. — От мамзели, значит!

— От мамзели! — кивнул я. — А мамзель — этакий господин невысокий, черноватый даже лицом и с глазами сверлышками? — сказал я про Мишу.

— Он! — весело подтвердил Гаврош.

— Да ведь он явно тебе заплатил! — сказал я.

— Заплатил — собак спустил! — сказал Гаврош.

— Печенья нет! — сказал я правду.

— Табачком возьму! — назначил новую плату Гаврош.

— Мал еще для табачка. Сахару могу дать! — сказал я.

— Тогда фунт! — щедро оценил свои услуги Гаврош.

— Фунт конины в каждую штанину и моток кишок на твой язычок! — перешел я на его речь.

— А ты вострый! Я такого не слыхал! Ладно. С вострого сахару-то хоть кусочек! — опустил цену Гаврош.

— Пойдем. У меня мажордом строгий. Просто так ни за что не даст. Покажешь ему бумагу! — сказал я.

— Мажордом — это у французских королей! — сказал Гаврош.

— Ну, и у меня. Прошу вас, граф! — склонил я голову.

Гаврош отдал мне листок, степенно прошел во двор. Иван Филиппович, как был с топором, вышел на крыльцо.

— Господи! Да куда же ты его, оллояра несметного! Ведь вшу в дом затащит, потом нам из дома беги! — заругался он на меня и рыкнул Гаврошу: — Стой там, в отдалении, отрок!

Гаврош на подобный прием почел за право обидеться.

— Нам негде карточек на различные ваши мылы взять! А то бы мы еще и в лучшем доме жили! — сказал он.

— Я предупреждал, очень строгий мажордом! — сказал я Гаврошу.

— Много воображает! — сказал Гаврош и прибавил, что Ивана Филипповича и мою сестру Машу он знает, что с матерью они в прошлом году приходили сюда.

Я тотчас вспомнил слова Маши из письма о своей гимназической подруге Анечке Поповой, по мужу Истоминой, муж которой был на фронте, а ей с детьми не на что было жить — в казначействе без объяснения причин перестали выдавать мужнино жалованье.

— Ты у нас Истомин! — сказал я.

— Как вы узнали? — заблестел глазами Гаврош.

— Так ведь, брат, фронт всему научит! — несколько порисовался я.

— Вы фронтовик? А что же мне этот, — Гаврош повторил мой жест, обрисовывающий Мишу, — сказал про вас, что вы «субчик»! У меня папа тоже фронтовик!

— Так что ж ты его позоришь, в этаком одеянии по городу разгуливаешь? — не очень умно спросил я.

— Сахару обещали? Так давайте! — оскорбился Гаврош и не выдержал, зацепил меня: — Фронтовик! Небось так примазываетесь!

— Сахару дадим. Но ходить этак, — я тряхнул его одеяние за плечо, — и этак! — тронул я его за косицу, — сыну фронтовика не пристало!

— Много вы понимаете, да мелко плаваете! — огрызнулся Гаврош.

— А ты, часом, брат, не… — осенило меня насчет его сиротства, но я осекся.

— Все равно папа найдется! — угрюмо сказал Гаврош.

Я посмотрел на Ивана Филипповича.

— Мамаша-то где? — спросил он Гавроша, а уж сам обмахнулся крестом. — Ах, ты, Царю Небесный! — И мне: — Сам видишь, куда же его! — и это должно было означать только то, что следовало тащить его в ванну, мыть, стричь, кормить и одевать.

— Согласен? — спросил я Гавроша.

— Что ж, будет не лишне! — сказал он, опять стараясь сказать басом.

Я передал его на руки Ивану Филипповичу и Анне Ивановне, обволокшей меня таким любящим и благодарящим взглядом, что, будь я человеком порядочным, непременно бы сделал ей предложение. Но вместо этого я развернул письмо от «эм зе», то есть от Миши. «Друг мой старинный! — обратился ко мне Миша. — Всю ночь вы явно гадали, кто бы стрелял. А ларчик открывается просто, хотя ты в своем счастье потерял всякий разум и думаешь про какого-нибудь, сам знаешь про кого. А стрелял я. Можешь мне не верить, но я намеренно стрелял мимо и только с тем, чтобы показать, как бывает коротко счастье, и как оно в одно мгновение может оборваться. Тем более что и без меня у тебя все равно его отберут. Ты понял это из вчерашнего моего прихода и из той бумаги, которую я принес. Так что еще надо подумать, кто из нас счастлив. Низкий поклон Анне Ивановне».

— Сволочь! — сказал я с сожалением. — Сволочь и дурак!

Вчерашнее же его письмо оказалось телеграммой штаба Казанского военного округа и гласило следующее: «Принять все меры к задержанию полковника старой армии Норина Бориса Алексеевича, уроженца Екатеринбурга, объявленного вне революционного закона. Последняя должность в старой армии — инспектор артиллерии Первого Кавказского кавалерийского корпуса. Основание к задержанию — телеграмма ревкома Кавказского фронта всем военным округам республики». Ниже Миша приписал: «Я ее перехватил у телеграфиста. Если еще кому-то не пошла, можешь жить счастливо».

При таком обороте счастливая жизнь вырисовывалась только на небесах.

— Ну что за сволочи! — сказал я в бессилии постичь революцию с ее мелочностью, с ее местью и непреходящей злобой, и в смысле, неужели же больше нечем ей заняться, кроме как рассылать по военным округам телеграммы о каком-то

подполковнике, или, как они считали в связи с приказом Временного правительства от сентября прошлого, семнадцатого года, полковнике?

Я пошел к Буркову. Он прочел и грохнул кулаком по столу, потом с жалостью посмотрел на меня.

— Давай, Боря, на время отсюда куда-нибудь, а? — сказал он.

— Куда и зачем? — со злобой усмехнулся я.

Он понял мою усмешку по-своему.

— Тут не до смеха! — сказал он. — Тебе смешки. А если телеграмма пошла и по другому ведомству, например, по юстиции к Голощекину. Тогда как?

— Гриша, а ведь наш старик правильно сказал: пора бесу исподнему дать бой! — сказал я.

— Стрелять пойдешь или в подпольное общество? Глупо все это! — сказал Бурков и снова ударил по столу. — Хоть к Дутову тебя переправляй!

— Да уж станицы артиллерийским огнем не стал бы жечь! — сказал я, несколько ошарашенный словами Буркова и в то же время вдруг поверивший в них.

— Да это я так! Не надейся! — укоротил меня Бурков.

А у меня логическая цепочка от Дутова Александра Ильича, от Оренбурга, от нашей общей дороги сюда, в Екатеринбург, перекинулась на сотника Томлина.

— Вот! — воскликнул Бурков. — А я тебе мандат к их волостному военному столу учета выхлопочу. Без затей доедешь!

— А что же в Нязепетровск, к сестре Маше, мандат не выхлопотал? — съязвил я.

— Я ведь против своих с этим мандатом пойду, Боря! А для этого надо иметь… — Он покрутил пятерней. — Такое надо иметь, ради которого стоит и головой ответить!

— Как Андрий! — нарочно, чтобы скрыть пошедший к горлу ком, сказал я.

— Как «Нет уз святее товарищества!» — сказал он.

Он ушел на службу, а я пошел к Ивану Филипповичу и Анне Ивановне. Иван Филиппович разжег в ванной комнате печку и грел воду. Гаврош сидел подле, обмотанный простыней, а Анна Ивановна под корень стригла его космы. Он пытался корчиться. Анна Ивановна грозила намазать голову против вшей дегтем и посыпать золой.

— То-то будешь хорош кавалер! — говорила она.

— Дегтем, карболкой, сулемой, серой — все равно ввек не выведешь, сколько он притащил! — в тон ей отвечал Иван Филиппович. — Все это, — он махнул в сторону двора, где кучкой лежало одеяние Гавроша, — сейчас же сожгу!

При мне Анна Ивановна на мгновение оторвалась от Гавроша. Глаза ее переменились. Я понял — она что-то почувствовала. Я ей показал глазами, что

ничего не произошло. Она не поверила. Я пожал плечами.

— А на фронте много вшей? — спросил Гаврош.

— На каждом — по миллиону! — сказал я.

— О! Значит, я фронтовик! — обрадовался Гаврош.

Я спросил его об отце. Вышло, что с самого прошлого лета никаких известий о нем не было.

— А мама и сестра зимой от тифа умерли. Я их на Михайловское кладбище, к церкви отвез. Квартиру нашу сразу заселили и меня послали на обжорку воровать. А я не стал воровать. Мой папа офицер и фронтовик. Меня прогнали, — сказал Гаврош.

Отмытый, остриженный, накормленный и одетый в мои мальчишеские одежки, он уснул на диване в гостиной. Анна Ивановна ушла к своим передвижным библиотекам неохотно. Она, кажется, чего-то от меня ждала. Я делал вид, что ничего не произошло.

— Что с отроком-то делать будем? — спросил Иван Филиппович.

— С фронтовиком? — тоже спросил я.

— Ну и слава Богу! — понял меня и стал креститься Иван Филиппович.

— Старикан ты наш, старикан! — с любовью схватил я его за плечи.

Он застеснялся, скорчил в попытке вырваться какую-то совсем детскую рожицу, хотел что-то сказать, но у него вышло нечто вроде куриного квохтания.

— Вот сходи-ка в церкву-то, антихрист! — неожиданно сказал он.

А мне правда надо было в полдень идти в Вознесенскую церковь. «Черт бы побрал!» — сказал я в уме. Не хотелось мне видеть никакой Натальи Александровны. Не хотелось мне снова той боли, когда — револьвер к виску, когда — весь мир ненавистен и только потому, что есть какая-то Наталья Александровна и она не со мной. «Я поступила опрометчиво, пригласив вас сюда! Но я погибла, как только увидела вас!» — сказала она когда-то. Слова были порывом. Они отражали только тот миг. Они были хороши для того времени. Сейчас я в них не верил, и сейчас они не были нужны.

В Вознесенскую церковь я пошел тою же дорогой, которой шел домой январским утром по возвращении в город, то есть с Крестовоздвиженской вышел на Солдатскую, а потом — на Малую Вознесенскую. День был пасмурен, но камни просохших тротуаров тепло отсвечивали. Тонкий парной запах оттаивающей земли на удивление пробивался сквозь гущу запахов нечищеных выгребных ям. Голодные бродячие собаки на углу Солдатской перекрыли дорогу. Я усмехнулся, потому что тотчас вспомнился мой путь на Олтинскую заставу, когда мне и уряднику Расковалову пришлось оружием отбиваться от такой же, но только специально науськанной на нас своры. «Вот вся революция. Распущен народ, распущены собаки, и благоухают нечищеные выгребные ямы!» — подумал я. Вопреки революции, собаки пропустили меня молча.

Я шел мимо здания нового театра, когда вдруг увидел выходящего из-за него со стороны Водочной улицы вчерашнего мастерового с офицерской выправкой, выходящего явно мне вслед. Он не ждал, что я оглянусь. А я оглянулся, как-то вдруг среди своих воспоминаний отыскав слова Ивана Филипповича об архитекторе, строившем этот театр и во время строительства женившемся на дочке негоцианта по фамилии, если я не путаю, Кронгольд, финансирующего строительство. Дом сего негоцианта был едва не против театра, так что удачливый архитектор мог руководить строительством, не вставая из-за пары чая с любимым тестем. Я оглянулся на дом, а потом оглянулся на театр. Только потому я увидел вчерашнего мастерового. Он не ждал, что я оглянусь, и поспешил отвернуться. «Яша? — хотел было подумать я, как вспомнил адъютанта Крашенинникова с его загадками о каких-то людях, не вполне одобряющих мои этические нормы, то есть дружбу с Бурковым, за которым они мнили мою дружбу с Пашей и Яшей. — Бабахнуть бы вас всех, как учил Миша! — в подлинном желании бабахнуть подумал я. — Прийти к Паше и сказать: вам привет от Яши! — и бабахнуть. Потом прийти к Яше и сказать: вам привет от Паши! — и бабахнуть. А потом спросить у Крашенинникова про этих новых народовольцев, прийти к ним — и тоже всех бабахнуть!»

С этаким настроением, представляя себе, как сволочь Богров входит в Киевскую оперу, чтобы застрелить премьер-министра правительства Петра Аркадьевича Столыпина, вошел я в Вознесенский храм. Я сразу понял, что Натальи Александровны еще нет, хотя в полумраке и среди народа высмотреть ее, будь она здесь, было едва ли возможно. Я со свечой прошел к Матушке-заступнице, помолился и спятился назад, давая место около иконы другим, как Наталья Александровна легко взяла меня за локоть.

— Боречка, не наступите на меня! — сказала она одним дыханием.

Я внутренне поморщился, но оглянуться на Наталью Александровну попытался с виноватой улыбкой. Я оглянулся — а в двух саженях от нас торчал в толпе мастеровой.

— Ну, это уже декаданс! — зло сказал я.

— Боречка, что? — шепотом спросила Наталья Александровна.

— Я оставлю вас на минуту, простите! — отстранил я ее и пошел на мастерового. — И все-таки какого полка? — сдерживаясь, спросил я.

Мастеровой ничуть не смутился.

— Триста тридцать пятого Анапского! — сказал он. — Разрешите представиться, поручик Иванов! — сказал он.

— Такой же поручик Иванов, как я персидский принц Салар-эд-Доуле? — усмехнулся я.

— Возможно, вы действительно персидский принц, но честь имею представиться, я действительно поручик названного полка Иванов! — вежливо сказал мастеровой и тоже в качестве издевки спросил разрешения продолжить отправление культа.

— Впрочем, передавайте своим товарищам по полку мой поклон! — сказал я.

Когда мы с Натальей Александровной пошли из храма, моего соглядатая поручика уже не было. Я и потом украдкой оглядывался. Но он или оставил меня, или стал искуснее хорониться.

С Натальей Александровной мы пошли на набережную.

— Какой убогий городишко. И угораздило же тебя, Боречка, здесь родиться! — сказала она.

Лед на пруду еще сошел не весь. Цветом он копировал пасмурное небо. И вообще, Урал отличался способностью в непогожий день своей сизостью навевать самое угрюмое настроение. Но я слов Натальи Александровны не стерпел.

— Извините, а вы какой город осчастливили своим появлением на свет? — спросил я.

Она не поняла моего тона.

— В Варшаве! В Варшаве, Боречка! — сказала она так, будто нам обоим предоставляли выбор места рождения, но она выбрала со всем тщанием, а я ткнул пальцем, куда пришлось.

— И что же ваш муж? Успешно он усваивает курс? — в оскорблении за свой город, спросил я.

— Степаша туп. Но, в отличие от некоторых, он добивается своей цели. Не в старой армии, так в этой он будет генералом! — резко ответила она.

Я понял ее слова как претензию мне и, не умея, да и не желая препираться, смолчал.

— Но ты хоть помнишь нашу последнюю встречу? — спросила она.

— Я ничего не забыл! — в ожидании прежних выяснений отношений, отстраненно сказал я.

— Да ты ничуть не изменился! — с язвой и в непередаваемом своем умении облечь язву в нечто невинное, сказала она.

Сколько-то мы прошли молча. Я злился. Она это чувствовала и, то ли сдерживаясь, то ли наслаждаясь, едва заметно кривила губы улыбкой. Не доходя дома Севастьянова, занятого ведомством Яши, я попросил повернуть обратно. И мы пошли обратно. При этом она не сдержалась отметить, что сразу же не следовало идти в эту сторону. Я опять смолчал.

— Только-то и умеешь молчать, злиться и бежать от женщины! — сказала она.

— Да, сударыня. Ничего другого Бог не дал! — сказал я.

— Боречка! — схватила она меня за руку. — Ты бы знал, Боречка, сколько я плакала по тебе! Да что плакала! Я африканской слонихой ревела. Ты ушел. Марьяши нет! Я заперлась в доме и мечтала только об одном — умереть, может быть, хоть тогда бы тебе стало больно! Ведь я правда как только увидела тебя в тот первый наш вечер у дядюшки, так и поняла, что погибла, что я потащусь за тобой,

куда бы ты ни позвал. А ты ничего этого не понял. Я проревела сутки. Приехал Степаша. Пришлось притворяться, говорить, что больна, чтобы он не трогал. А как притворяться, когда я ревела навзрыд. Хорошо, что он туп, что все принял, как я сказала. Я ему за его тупость так благодарна! А тебя ну просто молила, чтобы еще раз увидеть, хоть издалека, со стороны. Мы вернулись в город. Я набралась бесстыдства и пошла к дядюшке узнать про тебя. Он сказал, что ты отбыл по месту службы в этот твой аул. Я стала ждать, что ты оттуда вернешься. Ведь не мог же ты там долго быть, в этом диком ауле. А ты не возвращался. Я стала думать, что ты там спутался с какой-нибудь горяночкой. Степаше надо в Петербург. А я не могу ехать. Я ему лгу, что больна. Он пристает ко мне физически. Ведь он мужчина. Ведь вы, мужчины, хотите только физической любви. А я не могу. Я лгу, что я больна. Чтобы не потерять место, он уехал один. А я решила поехать к тебе в аул сама. Дядюшка рассердился, накричал на меня и отправил первым же экспрессом к Степаше с сопровождающим офицером, чтобы я не сошла с экспресса и не вернулась. И я дала себе слово больше ничего о тебе не знать. Но все три года ухитрялась у дядюшки выловчить что-нибудь про тебя. И про твой этот городишко узнала. И, как последняя дура, влюбилась в него, настроила в нем воздушных замков, литейных и невских проспектов, всяких набережных, всяких островов, как в Петербурге, всяких маршалковых улиц, как в Варшаве. Я просто болела всем, что с тобой было связано. Ведь правду говорят, что мы, женщины, любим негодяев. Ведь ты настоящий негодяй, Боречка!

Я был согласен с этой характеристикой. Я был согласен оказаться полным ничтожеством, подлецом в глазах Натальи Александровны, только бы она далее сказала о полном разрыве в связи с моей ничтожностью и подлостью наших отношений. Я пережил их. Они для меня остались в прошлом. И не столько уж именно я был в этом виноват. Верно, я не умел любить. Но можно ли было любить, например, лошадь, постоянно ищущую возможность лягаться! Можно ли любить человека, который не догадывается ничего о тебе знать! Она говорила о своей любви. Она попрекала меня в отсутствии любви к ней у меня. Но она ничего не знала обо мне. При всей хитрости выловчить у дядюшки сведения обо мне, все равно она ничего обо мне не знала. Ей хватало своего чувства. Из этого выходило — любила ли она меня? Потому-то я хотел ее слов о полном разрыве. О себе же я полагал, что за меня красноречиво сказал мой уход в тот день страстной пятницы. Я не знаю, кто бы выдержал того, как она со мной обращалась. «Вы чужой, Боречка! На вас этот мундир, этот вызывающий белый крестик! Эта корзина роз, словно какой-то провинциальной актриске! Все это пошло, Боречка! Помолчите и имейте мужество быть виноватым! Вы хотя бы мысленно внушили мне, что вы не погибли, как я считала, что вы живы?» — говорила она мне. Все, что я ни сделал бы, ею не принималось. Белый крестик — почему я смотрелся в ее глазах пошло с орденом Святого Георгия, который по статусу был неснимаемым? Потому что его не было у ее мужа Степаши или у дядюшки? Как я мог ей мысленно внушить о том, что я жив? Это же обыкновенная претензия. И никуда бы она не пошла. Она бы не бросила мужа, как пыталась внушить мне. Это было ложью. Не пошла бы она в сестры милосердия, чтобы лечить меня. Это тоже было ложью. Она себе позволяла все. Мне она не оставляла ничего.

Все это было во мне. Но всего этого я не умел сказать — и хорошо, что не умел, так как говорить об этом было бы именно пошло. Вот так мы шли с Натальей Александровной, явно уже ненужные друг другу. Но она из подлинного ли желания продолжить наши отношения, из прихоти ли вздорной женщины оставить последнее слово за собой говорила мне о своих страданиях, она обличала меня. Я же терпеливо ее сносил. И я не мог даже себе сказать, зачем мне это было нужно.

От нее я пошел Вознесенским переулком, и около дома Шаравьева, когда я по привычке смотрел на него с некоторым недоумением за его не вполне удобное расположение ниже полотна проспекта, мимо, со стороны Мельковского моста, проехало авто с Яшей. Яша, перетянутый портупеей крест-накрест поверх кожаной автомобильной куртки и в кожаном кепи, сидел на переднем сиденье. Он смотрел прямо перед собой, кажется, старался придать своему облику ничто царственное и демоническое. Подлинно же он смотрелся угрюмо и зловеще, будто его что-то изнутри ело, и он искал, на кого язву перенести. Меня он, конечно, не увидел. Я проводил его взглядом и совершенно механически пошел не через площадь в Малую Вознесенскую улочку, как намеревался, а пошел по проспекту и около Английского консульства с тоской вспомнил Элспет. «Вот мы здесь!» — сказала она. И это прозвучало так явно, что я от неожиданности оглянулся. В полусотне шагов за мной шествовал поручик Иванов. Я остановился. Он, понимая, что скрываться глупо, подошел.

— Что-то тесен нам стал город, прапорщик! — в чрезвычайном и безуспешно скрываемом смущении сказал он.

— Поручик. Давайте прямо! Ведите меня к тому или к тем, кто вас за мной гоняет. Пусть они объяснят, за что я удостоен личной охраны! — кривясь от возмущения, сказал я.

— Оставьте, прапорщик! Никто за вами не следит! Не было нужды! — стал он лгать, лжи, однако, не выдержал и предложил: — Встретимся часа через три на обжорке. Там не так мы будем бросаться в глаза. Я приду кое с кем!

Мы разошлись. Заступница моя небесная повела меня по нелюбимому Покровскому, с которого я завернул в свою Вторую Береговую, и в том месте, где она выходила на самый берег Исети и как бы прерывалась, из сараек, составляющих эту прерванную часть улицы, меня позвал наш Гаврош, Володька.

— Дядя Борис! Дома матросы! Засада! — громко прошептал он.

— Слава тебе, Господи! — в злобе вырвалось у меня, и, естественно, слова эти не имели никакого отношения, ни к Господу, ни к заступнице моей, которую я несколько времени назад помянул в благодарности. А вырвались они потому, что в первый же миг я почувствовал, что во мне лопнуло что-то из того, что до сего не давало мне возможности решительного поступка, что держало меня в какой-то узде, в каком-то анабиозе, в ожидании того, кто поднимется первым. — Слава тебе, Господи! — сказал я со злым облегчением от возможности покончить, как выразился Иван Филиппович, с бесами. А как уж, каким образом без моего «Штайера» мог я с ними покончить, было в тот миг делом десятым.

Но снова я услышал в себе Элспет. «Вот мы здесь!» — сказала она, и злоба с

меня спала.

— Все обшарили. Книги из шкафов выбросили. Диваны перевернули. На кухне кастрюли сбросили на пол. Курят в столовой и говорят: «Ничего, подождем, а нас за это буржуи обедом накормят!» Иван Филиппович меня незаметно выпустил, и я через ваш сад выбрался на улицу. На углу — опасно. Я забрался сюда. Здесь и перекресток виден, и мост через Исеть! — стал рассказывать Володька.

— Молодец, настоящий фронтовик! — похвалил я. — А теперь сделаем так. Их сколько?

— Трое, все с маузерами! — сказал Володька.

— Сделаем так, — сказал я ему свое решение, хорошее ли, плохое ли, но быстрое. — Пойдем домой. Я камнем кину в окно, чтобы поднять шум. А ты закричи: «Дяденьки матросы! Вон он! Вон он! Ловите, а то убежит!» — и пока они кинутся за мной, ты в моей комнате, — я сказал место, — прихвати пистолет и патроны и… — я секунду искал место, где нам встретиться, — и беги к церкви на Михайловское кладбище. Я тебя там буду ждать!

— Дядя Борис! А не застрелят вас? — забоялся Володька.

— Да у них маузеры не чищены! Они же не воевали! Это мы с тобой фронтовики! — сказал я.

— Хорошо, дядя Борис! — не по-детски сверкнул взглядом Володька.

— Постой! А тебе сколько лет? — взял я его за плечо.

— Тринадцать! Я все понимаю! — с гордостью сказал он.

— Мал для тринадцати! — в сомнении, стоит ли впутывать его, сказал я.

— Дядя Борис! А вы-то! — намекнул он на мой небольшой рост.

И уж каким оно вышло, мое быстрое решение, но оно удалось в полной мере. Я безжалостно выбил еще одно стекло в гостиной. Володька завопил на всю улицу. Матросня, все трое, высыпали на крыльцо. Я им показал пятки. Стрелять им было неудобно. Пока они выбирались со двора на угол, я уже подбегал к электростанции, построенной в виде средневековой крепости с восьмигранной кирпичной трубой, различными контрфорсами, эркерами и прочей средневековой атрибутикой, за которой никто бы не различил промышленного здания. Матросня, с громкой непечатной руганью и размахивая маузерами, полоща раструбленными книзу штанинами, кинулась за мной. Я знакомыми с детства извечными дырами в заборах и тропками выбрался на Разгуляевскую, а оттуда — на Златоустовскую, Никольскую и так, дворами, ушел к Михайловскому кладбищу, дождался Володьку со «Штайером» и краюхой хлеба, сунутой ему Иваном Филипповичем. Как Володька ни просил, я его с собой не оставил — одна голова не бедна, а и бедна, так одна, говаривала моя нянюшка.

— Благодарю за службу! Теперь домой и больше никуда не суйся! Жди меня! Береги Анну Ивановну! Спрошу строго, как с фронтовика! — поставил я ему боевую задачу.

У меня до встречи на обжорке оставалось еще не менее двух часов.

Зайти в храм я посчитал небезопасным. Там — при случае — я оказался бы в ловушке. Я отошел в сторону, нашел просохшее место между могил, плотнее запахнулся в шинель и сел ждать темноты. Как ни душила меня злоба, успокоился я быстро и даже задремал. Дрему прервал шорох чьих-то шагов. Я нащупал в кармане «Штайер» и открыл глаза. Ко мне шел священник. За два шага он остановился.

— Жив ли, не в хвори ли свалился, не ко Господу ли нашему пошел? — спросил он.

— Жив пока, отец, но примеряюсь! — пошутил я.

Шутка священнику не понравилась.

— Не гневи его. И так-то во гневе он на нас! — хмуро сказал он.

— А за что, отец? — спросил я.

— А ни за что, сын мой! Возлюбил! — сказал священник.

— И даже не за грехи? — спросил я.

— И не за грехи! — сказал священник.

Я молча кивнул.

На обжорке поручика Иванова не оказалось ни в момент моего прихода, ни через час. Я до боли в пальцах сжимал рукоять «Штайера», каждый миг ожидая появления матросских патрулей. Мне жаждалось, чтобы они пришли. Ухоженный и пристрелянный австриец не дал бы ни осечки, ни промаха.

Я обругал поручика Иванова мразью и ушел на станцию Екатеринбург Второй, в дровяных штабелях дождался поезда, оказавшегося иркутским из Петербурга, заскочил на подножку и так к утру добрался до станции Баженово.

20

Позади вокзала на небольшой кривой площадке, с двух сторон обсаженной молодыми липами, грудой и вразброс стояли с десяток запряженных телег, и кучкой поодаль смолили табак мужики. От сотника Томлина я знал, что до Бутаковки от станции будет версты три и то по длинной улице одноименной со станцией деревни. Сотник Томлин как-то в мечтании, вызванном его кышмышевкой, учил меня умному сношению с местными мужиками на случай, если мне к нему вздумается поехать.

— Телег на станции будет много, — учил сотник Томлин. — Мужики — все прощелыги. Все они были самые забитые, а со станцией избаловались. К ним в телегу не садись. У них у кого одна верста выйдет за три, а то еще завезут куда-нибудь в Шипелово и только оттуда повернут да и то выйдут если не на Грязнуху, то на Крутиху. А это даже бешеной собаке — в околоток, то есть не под силу. А кто другой поедет крюком, завезет куда-нибудь в Пьяный лог и обязательно выпросят на косушку, а в Бутаковку только кнутовищем ткнут, айда, де, барин, тутока только ноги размять. Все прощелыги. А ты иди пешком или жди какого казачишку. Это будет верно.

Я подошел к мужикам и сказал, куда мне.

— А что, барин, примерно с местностью знакомы, или она вам в новинку? — спросил за всех, верно, самый говорливый мужик.

— Не бывал, — стараясь под них, сказал я.

— Отвезти можно, барин. Только в двадцаточку обойдется! — сказал мужик.

— Это если через Грязнуху! — сказал я из поучения сотника Томлина.

— А говоришь, барин, не бывал! Балуешься! — укорил мужик.

Сидевший чуть поодаль на своей телеге хмурый старичок спросил, к кому именно я приехал, услышал про сотника Томлина, молча кивнул:

— Ну-тко садись. Сколь подвезу!

— И сколь обойдется? — спросил я.

— А свечку в храме за убиенных Симеона и Климентия поставишь — вот и столь! — сказал старичок, подгреб соломы на край телеги, показал садиться.

Серый его мерин мотнул головой, будто спросил, трогаться ли. Старичок молча тронул вожжи. Мерин взял рысью.

— Из служивых будете? — спросил старичок.

— Из них, — сказал я.

— А я вот все метил Симеона, Семку то есть, сына, в землемеры выучить. Выучил. Отмерили ему теперь землицы. Ему и зятю! — старичок с тоской и пристально посмотрел куда-то вдаль, будто хотел разглядеть там могилы сына и

зятя, потом спросил, откуда я знаю сотника Томлина, выслушал и с той же тоской сказал: — Избаловался казак. Избаловался. А опять, как не избалуешься. Фронт, он хорошему не научит. Все, кто с фронта пришел, — срамота одна. Уходили люди людьми, а пришли — куда бы от них деться! Ровно и по-христиански говорить разучились. Течет из них одна мать-перемать, и все с гонору, все старое им не указ, на стариков цыкают, а то и замахиваются, сами, де, правду и закон знают, пьют, дерутся, ни на кого укороту нету! Вот пошто так, обтолкуй мне, мил человек! — сказал старичок и сам себя поправил: — А поди, и ты не обтолкуешь. Все тёмно. Всех в темноту вогнали. А с отцом Григория, с Севастьяном, мы вместе на боя в Туркестанку ходили. Положительный был казак, царствие ему небесное. Погиб там. Один на бурлындачей оказался. Сколько-то отбивал отару, но застрелили и с собой утащили. Доля казачья. Это не дончаки, которые сходили на срочную в Варшаву, или тебе в Киев, или куда в доброе место, а потом возле бабы сиди и подсолнухи лущи. Нам, сибирцам, служба, доколе достанет сил. Вот я и метил сына в землемеры выучить. Как-то, до войны, отвозил я вот так же со станции в волость одного агронома из губернии. Разговорился человек, все о нашем житье спрашивал, о засевной площади, что да как мы с землицей-то живем. Выслушал, а потом сам стал говорить, как бы, по его учености, надо. А надо, говорит, вот так. Надо длинным севооборотом. У нас — что. У нас — чистый пар, а потом пшеничка или рожь, потом опять чистый пар. А по словам его, надо землицу-то насквозь знать, какая она у тебя, скажем, кислая или еще какая. Видишь, оно как. Оттого и сеять надо в своем порядке. Надо, чтобы нынешний сев для будущего землицу готовил. Скажем, озимые — в этот год, а картофель на это место в другой год. А у нас картофель — в грядках, в огороде. Или, скажем, взять траву клевер. Она не только от землицы кормится, но и саму землицу кормит. После нее, что тебе угодно, сеять можно. Все будет с урожаем. А вот овес, он взгальный. Без него лошади — никуда. Он и фертуется. С землицы все возьмет, а ей ничего не даст. Видишь, оно как. Опять, может, оттого лошадушек хорошо кормит. Вот я Сему-то и метил в землемеры, чтобы в люди вышел. Он-то, агроном Иван Михайлович, фамилию его забыл, лист из сумки вынул и написал мне все, как по науке надо с землей хозяйствовать. Я этот лист около божницы держу. А того, как он написал, сделать сил нету. С дочерью да малым внуком науку-то на ноги не поставишь! А теперь так и вовсе. Теперь казачий надел отобрали. Теперь голытьбу им награждают.

Я назвал фамилию Ивана Михайловича, мужа сестры Маши, не он ли.

— А кажись, верно, он! — воскликнул старичок и, узнав, что мы родственники, принялся давать Ивану Михайловичу самые лестные характеристики.

Так мы доехали до какого-то переулка. Старичок остановил лошадь, показал кнутовищем на довольно внушительный бугор с рядком корявых сосен, тремя избами за ними и мельницей внизу.

— Вон там в средней избе и живет Григорий Севастьянович! — сказал он. — Вы этим-то заулочком пройдите и как раз на его избу выйдете! Да, кажись, вон он сам из ворот выходит! Гляньте-ка, глазом-то вы повострей будете!

И верно. Из ворот средней избы вышел некий человек, фигурой очень похожий на сотника Томлина.

— Он ведь? — спросил старичок и сам уверенно сказал: — Он! Он! Айдате имайте его, пока куда-нибудь не подался. Он востроногий, сейчас ускачет — и до заговенья не выловить его!

С напутствием передать нижайший поклон Ивану Михайловичу старичок покатил дальше, а я пошел в переулок, мостком, а вернее, запрудой перешел речку, вышел к бугру, из-за крутизны его на время потеряв и сотника Томлина, и его избу. И только-то я преодолел подъем, как едва не перед носом, в пяти саженях расстояния увидел своего незабвенного соратника. Он сидел на краю выбитого в бугре спуска к мельнице и смотрел на меня. Он был в форме, папахе, при погонах и двух орденах, но босой.

— Как из ружья! — стал он, кажется, ничуть не удивившись, подниматься навстречу. — Сон мне сбылся, как из ружья! Я, Лексеич, сегодня видел сон, что я вот так сижу при форме и босой, а ты вот так, как сейчас, идешь!

— Сочиняешь, Григорий Севастьянович! — не в силах сдержать радость, сказал я.

— Ей-богу, не сочиняю! На сочинения фантазии нужны! А где их взять? Всех фантазий хватило, что нам запретили наши штаны с лампасом, а вместо них велели носить мужичьи порты. А где их взять? Купили мы одни в складчину на весь поселок, по очереди носим. До меня очередь еще не дошла. А во сне, вот как сейчас, видел, что я здесь сижу, а ты идешь, и ты при всех своих орденах. И мне так это завидно стало, что меньше моего служил, а орденов тебе дали больше! Ну, я сегодня и надел свои! — он ткнул в орден Святой Анны третьей степени, которого я у него не знал, и в солдатский Георгий, врученный нам неизвестно за какие заслуги корпусным ревкомом. — Анна-то еще кашгарская. А четвертую степень, по твоему представлению полученную, без шашки не знаю, куда приладить, — он вынул из кармана анненский темляк. — Думал на папаху, но на папаху — глумление получится!

Он прямо глядел мне в глаза, приветливо улыбался и очень смущался этой приветливости, будто каким-то, только ему известным, уставом было запрещено ее выказывать, а он в нарушение устава выказывал. Рука его, то есть, собственно, двупалая культя, протянутая для пожатия, была жестка и тепла.

Я не знал, что ему говорить. Передо мной был сотник Томлин, но другой сотник Томлин, не такой, какого я знал по Персии. Уже само то, что он видел меня во сне, что говорил мне об этом, что смотрел в глаза мне прямо и приветливо, что смущался, — уже это отличало его от того сотника Томлина, мне привычного. Я помнил его всегда в неприязни, в какой-то претензии ко мне. Он мог вести себя со мной дерзко, куражливо, как бы даже тяготиться меня. В лучшем случае, он говорил со мной некой полуфразой, намеком, который я должен был, в его представлении, разгадывать и понимать. И таким он пробыл рядом со мной два года. Я любил его вместо брата Саши. Возможно, он тоже любил меня вместо Саши. Но этого «вместо» он мне не мог простить.

Я ждал увидеть его таким. И я не был готов на прямоту приветливого взгляда, на смущение, на сон, в котором был я. Он почувствовал мою растерянность.

— Лексеич, — сказал он. — Ты, кажись, не рад? Или с дороги устал? Давай пойдем ко мне в избу. Немного есть, а потом Егорку пошлем. Он принесет. Мы тут с Егоркой живем, мужичонком из Букейки. Прибился как-то, я и не заметил. Ты бы увидел и сказал, дрянь человечишко. А мне все веселее. Давай, Лексеич, в избу. А этот бурлындач скоро объявится. Сначала он приладился у меня жить. Ладно, думаю, избы не жалко. А потом гляжу, дрянь человечишко. Выгнал. Теперь из Букейки бегает. А ты заходи, заходи, проходи прямо к столу! Заходи прямо, как к себе домой! Я, конечно, помню, что своего дома у тебя нет. Но все равно, заходи, как к себе. Ты ко всему привычный. И мою избу стерпишь!

Но терпеть его избу надобности не вышло. Была она бедна, но прибрана и даже с неким элементом уюта. Мебель ее составляли стол на резных самодельных ножках и под скатертью, четыре венских стула, горка с посудой, деревянная самодельная кровать в углу у передних окон. Пол устилали тканые половики. А около кровати лежал невзрачный, этакий даже куцый, но благородного оттенка коврик явно кашгарского происхождения.

— Проходи и давай по кружечке за нашу незабвенную встречу! — он снял со стола полотенце, покрывавшее глиняную кринку, деревянную тарелку с хлебом, холодной жареной печенкой и парой разрезанных луковиц. — Оно пост! Да нам можно! — сказал он.

Что я ждал, когда ехал сюда, — трудно было сказать. По сути, я ничего не ждал, разве что — воздуха, запаха, воспоминания о запахе прежней и, в моем понимании, потому настоящей службы. И именно кислый бражный запах из кринки, тонко пахнувший на меня, напомнил ее, службу, напомнил убогую саклю в Керманшахе в день нашего оттуда отъезда. Спертый и сырой ее воздух был не в силах замять тонкий кислый и какой-то тревожный запах томлиновской кышмышевки. Я вошел в саклю с сырого холода. И запах браги я почувствовал прежде всего. Я был в худом настроении. Меня уволили со службы за отказ стать членом корпусного ревкома. Сотник Томлин лежал на топчане. Он мечтал о своей Бутаковке и любимой женщине Серафиме Петровне, которую якобы в целях сокрытия отношений именовал Серафимом Петровичем. «Да хлобыстни ты, Лексеич, моей кышмышевки! Вот заботу нашел переживать! Никуда она, твоя служба, не денется! Властишка-то на пять раз переменится да обратно вернется!» — сказал он с топчана. Наверно, запаха службы ждал я.

Сотник Томлин налил в фаянсовые кружки. Мы встали.

— За службу, сотник! — сказал я, вдыхая бражный запах и тем тревожа в себе сладкое и тоскливое воспоминание.

— За службу, ваше высокоблагородие! — вытянулся сотник Томлин. Мы выпили. — А ждал я тебя, Лексич, правда! — жуя, сказал он. — Ждал и надеялся. Такое власть заворачивает, особенно у вас там, в Бурге, что, думаю, кто-кто, а Лексеич не стерпит. Он или стрелять начнет, или ко мне приедет! Так и вышло!

Брага закружила мне голову. Выравниваясь, я снова оглядел горницу. Сотник Томлин повел рукой вслед моему взгляду.

— А худо-бедно, но мое! — сказал он. — Серафим-то Петрович сейчас

маленько закубрыкался. Мужик ее коммерцией в нынешнюю зиму заниматься потруховал, дома сидит. Вот и мне с ней встречаться реденько приходится. А то бы сейчас разве такой стол был! Уже бы натащила всяко-всячины, что жевать бы устали. А как встретились мы тогда, в январе! Я прибыл, она узнала, — не отпускались неделю. Мужик ее уж под окна приходил, звал ее, мол, домой надо, детишки плачут. А она мне: «А ты можешь его застрелить? — вот так прямо лежит и спрашивает: — Застрелить его можешь? Застрели его!» Меня оторопь берет. Да ты, говорю, Серафим Петрович, в уме ли, ведь он же тебе муж венчаный! «А ну его, зануду! — говорит. — Другой бы сейчас твою избу подпалил да нас бы пристрелил. Мы бы с тобой навек вместе были! А он только ныть умеет!» Нет, думаю, да я вот лучше тебя, змеищу, зарублю! Вот так встретились! А тебя ждал я сегодня. Все ребра исщекотались — так ждал, до сладости! Число сегодня уже которое? — он обернулся на отрывной календарь в простенке, оказавшийся за четырнадцатый год. — А, во, двадцать девятое апреля! Скоро уж Пасха! — снова налил в кружки. — Давай, незабвенный мой Лексеич, выпьем за нашу службу, за тяготу нашу казачью, за славные времена, а потом я чего-нибудь приготовлю. Вчера вот пескарей наловил, пескарей в сметане нажарим да яйцом зальем. Под горой тут у нас мельница, пруд, а в протоках пескари в два пальца толщиной! Давай за службу, без которой и жизни-то нам нет! А еще потом Самойле посемафорим, знак подадим: «Погибаем, но не сдаемся!» — как с «Варяга». Тут же прибежит, не «Варяг», конечно, а Самойла!

— Какой Самойла? — едва совладав с языком, спросил я.

— Вот, помнишь! — обрадовался сотник Томлин. — Я тоже. Я его увидел и чуть не скочебрыжился! Ночью домой прибежал. Изба заколочена. Холодно, а с меня пар валит. Враз простыть. Дров нет. Вышел на огород, оборвал пару жердишек с заплота, затопил печь. Сел, смотрю по избе — а в башке мыслишка с вопросом: и что за всю свою службу я выслужил? Возможность татем ночью домой пробраться? И только-то? Так-то при царе-батюшке не было. Тосковато стало. Выпить нечего. Залег, как медведь, не раздеваясь. Утром, когда рассвело, вышел хозяйство оглядеть, снег убрать, ограду подладить. Гляжу по нашему краю: «Да не может быть! Как есть, Самойло из ограды снег коробком вывозит». Я — к нему. Я ведь их всех самолично схоронил. Я ведь и письмо тогда тебе, правда, по пьяни отписал, всех перечислил пофамильно. А тебя — в санитарный поезд. Я им, бляха-муха, прошу прощения, я им сказал: «Мне подъесаула не сбережете, вот его шашка, всех этой шашкой лично каждого из вас медленно, но верно и с оттяжкой порублю!»

— Так жив Самойло Василич? — глупо спросил я.

— Как жив? — со вниманием посмотрел на меня сотник Томлин. — Я и рассказываю. Я — к его избе: Василич, ты? А сам себе не верю. Он: «О, Григорий Севастьянович, вернулся!» — и ко мне ладит. Я ему: «Свят, свят! Не подходи ко мне! Я покойников боюсь!» Он ржет, как кобель…

— Как жеребец или сивый мерин, — сказал я.

— Что? — спросил сотник Томлин.

— Ржет как жеребец или как сивый мерин! — сказал я.

— А! Нет, Самойло ржал, как кобель. Ржет и скалится: «А что нам!» Я

намекаю, вроде как схоронил я его. А прямо сказать боюсь. Покойник ведь, вдруг обидится. Намекаю. А он: «Спасибо этому, штабс-капитану! Мне и Трапезникову распорядился с полусотенными документами пробиваться и доложить. Мы пробились. А документы в речке утопили. Не нарочно, конечно!» Вот он весь тут, Самойло! Как невзгода — так бросай все и беги! А сейчас мы просемафорим с огорода. По одной выпьем и пойдем!..

Я совершенно не помнил такой моей команды, хотя она была совершенно необходимой. Видимо, я отдал ее, уже будучи контуженным. Приходилось только в удовлетворении отметить, что все-таки я руководил боем грамотно.

Огромной дверью аршина в два с половиной и от огромности своей скособочившейся мы вышли со двора в огород.

— Вон его изба! Сейчас увидит нас! — показал сотник Томлин в соседнюю, под углом к томлинской, улочку, подошел к шесту, прилаженному к изгороди, отвязал шнур и дернул наверх ситцевый, в цветочках кусок ткани. — Наволочка Серафим Петровича! Гляди, Лексеич. Сейчас отсалютует, как салютовала иностранная колготня на рейде бухты Чемульпо нашему «Варягу»!

А меня при всей этой картине с бугра на длинные огороды и молчаливые, угрюмые ограды и избы рубцами потянуло влево. Я, конечно, стал клониться вправо. При этом, видно, лицо мое исказилось, и уже знающий эту мою особенность сотник Томлин подхватил меня.

— Лексеич, Лексеич, а погоди! Да что это ты, ваше высокоблагородие товарищ полковник! — одновременно с переживанием за меня стал он шутить. — Да Лексеич, да любовь ты моя непреклонная! — подхватил он меня крепкими, как канаты, руками. — Нельзя, нельзя нам, не прежнее время! Теперь надо монолитом быть, чтоб ни души, ни чувства, ни другой червоточины в нас не осталось. Иначе они нас съедят!

Он принес меня в избу, положил на кровать. Рубцы отпустили.

— Сотник! — сказал я и далее сказал о матросах в нашем доме, о телеграмме из корпуса в округ, а оттуда по всем городам, о Паше с Яшей. — Вот так, сотник! — сказал я.

— А редька с квасом — затируха! Черт с ними! Выпьем и на время всех их забудем! — отмахнулся сотник Томлин.

А далее было пьянство. Прибежал Самойла Василич, притащился дрянь человечишко Егорка. Сотник Томлин погнал его за урядником Трапезниковым. Все впало в нереальность. Все стало будто в ином мире, узком, предельно ограниченном, в котором не было места быть нам всем враз. Видеть всех враз у меня не выходило, и я вырывал их из этого иного мира поодиночке и только тогда, когда закрывал один глаз. Мы обнимались, с каким-то не свойственным никому из нас запалом много говорили друг другу, снова обнимались, чокались, пили, обижались, если замечали, что собеседник не слушает, а говорит сам, но тут же об обиде забывали и снова обнимались, просили друг у друга прощения, пили за примирение и продолжали страстно друг друга в чем-то убеждать. А потом Самойла Василич ушел, сказав, что

надо управляться со скотиной, а мы еще пили и свалились наконец спать.

Я проснулся в сумерки. Сотник Томлин сидел рядом и мне, спящему, рассказывал:

— Выломал я две жерди, разрубил, затопил печку, взглянул на огонь и заплакал. За что? За мою верную службу — теперь татем домой пробираться? Утром пришел совет: «Офицер Томлин?» — Офицер Томлин, отвечаю, уже пятнадцать годков, как офицер. — «Арест!» — говорят. А возьмите, говорю! Из совета один меня узнал: «Севастьяныч, Гриша!» — я ему по молодости леща хорошего отвалил. Мы же погранцы. Мы сроду местность мирили. Букейским надо на Баженовку на боя сходить. Они к нам идут сначала разрешения спросить, можно ли через нас пройти. Разрешим — проходят. Нет — не ходят или идут округой. Так же и баженовским или кому другому, которые на Букейку с боями хотят сходить. С казаком разговор короткий, если зауросят. Нагаечка, она урос быстро укорачивает. И по делу. Потому что бутаковские казаки первыми здесь поселились, и вобча! — сказал он последнее слово под Самойлу Василича. — Ну, вот и было как-то, что пошли букейские на баженовских, а мы решили, что ходить не надо. Не пропустили, и вот этот, который меня признал, завыпрягался. Ему хотели плетью втемяшить правило. Да я остановил, я ему только леща на ухо дал. Умный оказался — запомнил. И тут: «Севастьяныч! Гриша!» Сели пить. Или это они пришли уже после. А то где бы я им браги взял? Да, верно. Пришли они уж погодя. Сели пить. Всем стало хорошо. Они говорят: «Ты это. Ты хороший мужик!» — Не мужик, а казак, говорю. «Все одно, — говорят, — теперь условий нету. Хороший, и ладно. Ты, главно дело, залегистрируйся в совете, без этого нельзя!» А Бутаковки-то нет. Нету нашего брата казачества. Одни вдовы да малолетки кругом. Ладно, говорю, если я есть последний казачий офицер, пойду, как вы говорите, залегистрируюсь. А они: «Ты это, Севастьяныч, скрыл бы погона-то, скрыл бы, что офицер! Ведь подведут под контрибуцию!» А кого я скрою, если я и есть тот мой погон с тремя звездочками? У меня больше ничего нетука. У меня есть только моя гордость, что на погоне у меня три звездочки да еще вот эта вот выслуга, — он ткнул в ордена и в анненский темляк. — Вот это я и есть. И как же я самого себя скрою? — он выставил перед собой свои культи. — Это вот так же, как сейчас бы ты сказал, Лексеич, мол, скрой культи, пусть думают, руки у тебя целые! — он вдруг увидел, что я не сплю. — О! — обрадовался он. — А ты не спишь! Ну, тогда я побежал бражки тебе налить!

А у печки пускали цыгарочный дым в трубу урядник Трапезников и дрянь-человечишко Егорка. Говорил он. Урядник Трапезников слушал и лишь иногда вставлял слово.

— Ты вот казак. За тобой царь присматривал. Он тебя в сиротство не отпускал, — говорил Егорка. — А я в этом сиротстве вырос. Я на войну пошел с охотой. Я чуял — она мне мать родная, она меня спасет. На войне можно жить. Если еще какую-нибудь войну затеют, я еще пойду. Я нашему унтеру дал в глаз…

— Брешешь! Ни один унтер тебе этого не даст! — сказал урядник Трапезников. — Вот сейчас дай мне в глаз. Я такой же унтер!

— Я тебе за что в глаз-то буду? Унтер заслужил, а ты не заслужил! Я ему дал.

Он тоже мне дал. Он больше мне дал. А под суд сдали меня. Это несправедливо. Дали мне шестерик, шесть лет. Я не вытерпел. Нет свободы — я не могу. Я удрал. Надо было в Америку удрать. Посмотреть, как там, а потом во Францию, тоже посмотреть. Мне их буржуйской жизни не надо. Мне посмотреть любопытно! — гнул свой рассказ Егорка.

— Что с каторги удрал, брешешь! — опять вставился урядник Трапезников.

— Да вот такой мой вольный характер! — не обратил Егорка внимания на обвинение урядника Трапезникова. — Я ведь и читать люблю. Я вместо Америки обратно на фронт удрал. На фронте свобода. Там мне ротный кричит: «Дезертир, каторжник, вон из роты!» — а я ему: когда надо, я и сам смоюсь, а теперь служить хочу! — Я еще хочу посмотреть весь белый свет. Коммунизм настанет, я тогда всё посмотрю. Ротный с понятием оказался. Ему разве такой штык не нужен, который с царевой каторги за царя на фронт прибежал. «Иди в канцелярию полка, — говорит. — И вот тебе от меня бумага, чтобы зачислили!» В полку мне написали: «Прибыл в полк». А что. У нас коммунизм можно в России через год-два объявлять. Русак, он с понятием. Он умеет с другим поделиться, потому как ближе к Богу стоит. Ему коммунизм освоить — только захотеть!

— Это когда даже бабы общие? — спросил урядник Трапезников.

— Пусть и общие. Главное, ты не жадничай, а все по справедливости. И он тоже пусть не жадничает. Коммунизм — это когда вера друг к другу и все на виду, все по согласию. А еще есть, говорят, такие мужики, которые любятся с мужиками, и такие бабы, которые любятся только с бабами. Это которым в трамвае надо место уступать. В Москве в трамвае лучше не садись. Только сядешь, а какая-нибудь с виду приличная тебе сразу говорит встать. Вот к ним можно не по справедливости! — сказал Егорка.

— Еще в Писании сказано про город, где такие жили! — кивнул урядник Трапезников.

— А генерал Брусилов! Он кто, по-твоему? А царь кто, по-твоему? А все генералы кто, по-твоему? Я вот сколько генералов знаю — и все они немцы! — Егорка стал считать. — Фалькенхаузен — раз!

— Нет такого генерала! — сказал урядник Трапезников.

— В Германии есть, я читал! — сказал Егорка.

— Ты по России давай, а то их целую кучу можно насчитать, если с Германией-то! — определил задачу урядник Трапезников.

— Белов! — загнул второй палец Егорка.

— Ну, так, русский, раз! — кивнул урядник Трапезников.

— Ха! И не русский вовсе, а чистый немец, чистый фон! Фон Белов и тоже в Германии! — в удовольствии расхохотался Егорка.

— Ты дезертиров не считай. Ты настоящих давай, а то!.. — пригрозил урядник Трапезников.

— Берхман! — сказал Егорка.

Генерал Берхман был командующим Первым корпусом в Сарыкамышской операции. Он прославился тем, что на приказ Николая Николаевича Юденича держать позиции ответил, что вынужден отступить по причине малого запаса муки в корпусе.

— Ну, этот манн. Ладно. Еще! — сказал урядник Трапезников.

— Ладно, про генералов неинтересно. Они воевать не умеют. Ренненкампф еще. Тоже не умеет. Под ними воевать неинтересно. Я сказал, а пропади всё в тартарары, и ушел с фронта. Я волю люблю! — сказал Егорка.

— А плеть не любишь? — спросил урядник Трапезников.

— Нет, не люблю, — просто признался Егорка. — И казаков не люблю. Вас заставляют служить, хочешь не хочешь. Никакой воли!

— Так иди на волю! — показал на дверь урядник Трапезников.

Вернулся из чулана сотник Томлин.

— Вот, нацедил! — поставил он на стол полуведерную корчагу.

— Ты ему не наливай. Врет больно много! — сказал урядник Трапезников про Егорку.

— Да мне и нельзя. Я двенадцать раз раненный. Тринадцатый раз не записали, сказали, хватит. А это как раз штыком пропороли в брюхе то место, которое за самогон и брагу отвечает!— сказал Егорка.

— Ты же только что пил! — напомнил урядник Трапезников.

— Запасной мне пришили, так он не справляется! — сказал Егорка.

Со словами «Лей в запасной, а то скоро все отберут!» сотник Томлин подал ему кружку.

— Вот ты говоришь, фронтовик! — сказал Егорке урядник Трапезников. — Скажи, а в шинели-то тебе было не холодно?

— На фронте всяко бывало! — уклонился от ответа Егорка, готовый говорить что-то еще.

— Вот и фронтовик без году неделя! — махнул на него рукой урядник Трапезников. — А послужил бы под настоящим унтером, знал бы, как утки на Заячьей горе квакают!.. Солдатика спрашивают: «Солдатик, тебе в шинели-то не холодно?» — «Так она же суконная!» — «Солдатик, а тебе в шинели-то не жарко?» — «Так она же без подклада!» — он весело посмотрел на сотника Томлина и на меня.

Уже совсем ночью мы с сотником Томлиным в обнимку, поддерживая друг друга, вышли во двор. Какой разговор был меж нами до того, я не помню. А во дворе, в кромешной тьме с косым тусклым кусочком света лампы через окно, сотник Томлин сказал, видимо, продолжая начатое в избе.

— Пусть стреляют нас, Лексеич! — сказал он задушевно. — А мы возьмемся друг за друга да вместе и помрем. Не надо им служивых? Стреляй! Вот мы последние. Сашу, есаула Норина Александра Алексеевича, я лично схоронил. Не было никого на свете ближе. Без него я сирота. Не знаю, Лексеич, как без него дальше мне жить. Пусть бы уж быстрее расстреляли. Если служивые офицеры им не нужны, пусть стреляют! Давай пойдем. Нет, давай сперва постоим. Я тебя обниму, будто Сашу, и так постоим, как на Каракорумке, когда до предела дошли. Вот так постоим. А потом пойдем и вместе погибнем. Пусть расстреливают. А потом куда они? Куда они без офицеров? Куда они, если в лучшем случае урядники да унтера, а то моду взяли — какие-то недоученные сопляки, какие-то, кто подтирать за собой еще не научились, а уже власть! Куда армия без полковника Норина? Армия вздрогнет без него и побежит, как этот, Дыбенко, побежал. А почему? А потому что в армии должен быть полковник Норин! Мы с тобой в Персии хоть горсточку земли кому сдали? Не наша ведь земля. А император приказал — мы под козырек, и попробуй кто у нас ее отнять! А уж когда она наша, земля, тогда — вобча!.. — сказал он словом Самойлы Василича. — А этот, Дыбенко, с нее, с родной земли, как лакей от пожару в лавке, вдарился бечь. Будто и не наша она вовсе, земля! А мы с тобой? На Олту мы с тобой имя офицера опорочили? Прошли турченята на Олту через нас? Всего три звездочки на погон! Они, три звездочки, вона где, на плече, а они задницу жгут! Их на погон. А они жгут задницу. Они сидеть не дают. Они служить зовут. Вот как, Лексеич! А куда наша страна без служивых? Куда она без службы? Нету-ка, как наши бабы говорят, нету-ка ее без службы! А они: офицерство расстрелять! Вот сел я вчера на поляну при форме и сказал: а дождусь-ка я полковника Норина Бориса Алексеевича, моего друга незабвенного. И пойдем мы вместе на расстрел!

— Ни на какой расстрел не пойдем, Григорий Севастьянович! Мы Яшу пойдем ликвидировать! — сказал я.

— Кто таков? — спросил сотник Томлин.

— Я покажу! — сказал я.

— Покажи. За тебя, за полковника Норина, Яшу лично, с оттяжкой, медленно… — сдавил остатками пальцев мое плечо сотник Томлин и вдруг сказал: — А сходи ты, Лексеич, по Бутаковке, поклонись. Я ко всем сходил. И ты сходи. Приехал — сходи.

— Схожу, — сказал я, пьяно представив это делом совсем обыкновенным.

— Сходи! Уважь народ! — еще раз сказал сотник Томлин и заговорил о Самойле Василиче. — А Самойла — того, голова! Такая голова, какую с заводным конем за неделю не обскачешь. Откуда чего берется. Враз как-то тебя облапошит, враз как-то тебя обстряпает — и ты чурбан чурбаном и только то соображаешь, что ведь сроду ничего никому не должен, а вроде ему должен. Налим!.. Но налим шаршавенький. Одумаешься — а ведь белые-то нитки видать, чем он шил. Каким кроем шил, видать! Я еще вот что думаю. Поди, ты ему не приказывал с полусотенными документами уходить. Поди, он увидел, что ты контуженный и не в себе, да сам и смылся с заставы. Не верю я ему. Не верю, что он потащил на себе не свое добро, а какие-то бумаги.

— А урядник Трапезников? — напомнил я.

— Урядника Трапезникова люблю. Он не бросит и не соврет. Да. Значит, ты приказал. А жалко. Лучше бы хорунжего Махаева. Тот горлом бы выдрал, а полусотенные бумаги, кому надо, сдал. А пойдем у Трапезникова спросим! — позвал сотник Томлин в избу.

Пока мы шарашились в темноте, пока вошли в избу, он причину возвращения забыл. Мы еще выпили. Он нахлобучил папаху и стал нараскоряку, сгорбленный, ходить по горнице, что-то себе отмечая пальцем. Так ходил он долго.

— А мы их сгубили! — вдруг протяжно, как-то по-журавлиному, вскричал он. — И ты, полковник, и я, сотник, мы их сгубили. А этого делать было нельзя! Они вот здесь нужны были, понимаешь ты это или нет, полковник? Их бабы и ребятишки до сих пор ждут! Я мимо ходить не могу. Как Тешша покойный говорил, посербетина их на меня смотрит. Есть у меня в кармане копейка — отдаю, возьмите. А нет — так и чешу мимо без зазрения совести! — он подошел к столу, оперся в столешницу, хмуро и поджав губы, взглянул на меня. — А не виноват ты, Лексеич! Я видел этих турченят потом. Их лежало несметно! Не ты — не было бы… — он поводил перед собой рукой, — не было бы нас никого. Смяли бы они нас при наших генералах, которым муки не хватило позицию держать. Я им так и сказал, начальнику санитарного отряда: если вы этого героя не сбережете, я лично вас медленно, но верно, с оттяжкой, вот этой вот его, героя, шашкой буду рубить! Ты не виноват. И если надо будет снова, — он хотел выровнять взгляд, но вышло у него смотреть куда-то мимо меня, — если надо будет, призывай, пойду с тобой! — Выпрямился, отвернулся в сторону окон и так же протяжно, как в первый раз, сказал: — А вы, посербетина, мне не указ! И вы, бабы — молчок!

21

Утром скупо посыпал дождь. Мы проснулись в избе вдвоем. Ни урядника Трапезникова, ни дрянь-человечишки Егорки не было. Мы молча позавтракали остатками вчерашнего, молча походили по избе. Я думал, помнит ли сотник Томлин ночные свои слова. Одновременно целым снопом искр тревожно мерцали мысли о доме, обо всех, кто там остался, и закипала злоба на Яшу. Не было сомнений, что именно он распорядился арестовать меня. Приходилось гадать о другом — сделал он это в отместку за инцидент в лагере военнопленных, или же он тоже получил телеграмму из округа. В любом случае, появление мое в доме было, как говорится, заказано. Но и оставаться в неведении по поводу всех домашних я не мог. Я в сотый раз ругал себя за то, что вообще приехал домой в Екатеринбург, а не поехал на Терек, совсем забыв причину, по которой так вышло. Я ругал себя за то, что не постарался попасть к Дутову Александру Ильичу, совсем не учитывая того обстоятельства, что мы приехали в Оренбург, уже им оставленный. Я ругал себя за бездарно прожитую зиму, за мою дурость, по которой я пошел служить, неизвестно на что рассчитывая, по сути, просто катясь, как по сальному банному полу голой задницей, не думая, куда прикачусь. Ведь надо было тотчас же из Екатеринбурга убираться. Надо было тотчас же ехать в Москву, а потом на Терек. И я думал, что про меня в корпусе думают хорошо, думают, что я задачу выполнил, что орудия и я сам на Тереке и что им всем есть куда по выходе из Персии пробиваться. И мне захотелось еще раз спросить сотника Томлина, что и как было в Энзели, когда я был в беспамятстве. Я попросил его рассказать.

Он помолчал, вздыхая и надувая щеки, тем закручивая свой мягкий и черный ус в круассан, выглянул в окно, наверно, полагая, что даль, открывающаяся с бугра, освежит память или, так сказать, отворит его уста, обычно запертые.

— А что там было, что было… — начал он, пожимая плечами. — Ты слег, и слег ты еще по дороге. Ксения Ивановна над тобой хлопотала, как орлица над единственным орленком. Команду взял на себя подпоручик Языков. Ему после смерти жены и ребенка надо было забыться, а забыться лучше в работе. Как там ребята отбили пароход и погрузили орудия, я не знаю, я оставался при тебе. Мы думали, что ты Богу душу отдашь. Второй раз я тебя таким видел, можно сказать, уже потусторонним. А потом я смотрю, сибирцы в порту, наши знакомые, Девятый казачий полк. Вот, думаю, с кем надо. Договорились, прибежал я тебя собирать — а Ксения Ивановна уже никакая, уже с тобой революционную солидарность проявляет, едва дышит. И куда мы вас двоих потащим, тем более что она из Ставрополя. Татьяна Михайловна обняла меня крепко, как, можно сказать, Серафим Петрович ни разу не расстаралась, заплакала и говорит: «Жива буду, найду вас, Григорий Севастьянович!» Какой смогли, кошт и немного денег им я оставил, а тебя в полк взял. Вот так и было! — он снова пожал плечами, нахмурился, будто я заставил его вспомнить что-то неприятное, и, не глядя на меня, вернулся к ночному разговору, если так можно было назвать его монолог. — А ты по поселку не ходи, не надо. Все поуспокоились, все привыкли, все как-то живут — и ладно. А пойдешь —

все пожаром обернется, полыхнут бабьи страсти. А ты им ничего не докажешь. Вон меня баба хорунжего Махаева встретила. «Ты пришел, а куда моего казака девал? И кто меня по ночам бы щупал, ты?» — напала на меня.

— Хорошо, не пойду, — сказал я и спросил, можно ли сколько-то у него пожить.

— Да с нашим превеликим удовольствием! Не с дрянь-человечишкой же мне куковать! — обрадовался он.

— Мне осмотреться надо. Ведь нас обкладывают со всех сторон, и что-то надо против этого делать! — сказал я.

— Вот и обсудим неспешно! — в той же радости сказал сотник Томлин.

— Не дадут обсудить ни неспешно, ни спешно! — сказал я.

— Ну, тогда просто вместе поживем! Вон скоро пашню надо пахать! — сказал он.

Я встал к окну, поглядел вдаль, на дальние сосновые леса, покатыми сизыми волнами уходящие на север, на улицу за речкой, на рядок корявых сосен на бугре, на начавшую зеленеть поляну перед избой. Весь я был дома — с храбрейшим и мудрейшим Иваном Филипповичем, с душой-человеком и марксистом Бурковым, с… конечно же, с Анной Ивановной, которой определения дать не мог, был просто с ней и был с Володькой. Я думал о них, а в доме каким-то образом оказывались Элспет с нашей девочкой, Ксеничка Ивановна, все корпусные мои… кто, я им, как и Анне Ивановне, не мог дать определения, просто мои. Населен был дом моими дорогими людьми, и мне в нем, вопреки тому, что думалось минутой назад, было во всю зиму хорошо. «Не дадут, — подумал я. — Не дадут ни пашни пахать, ни на печи лежать. И мне не следует ввязывать в свою судьбу сонника Томлина! Повидался, вдохнул, так сказать, запаха прошлой службы — и куда-то надо дальше!»

— Да, — сказал я, не отрываясь от окна. — Государь. Признал он за благо!..

— Я вот чего боюсь, Лексеич, — тоже подошел к окну сотник Томлин. — Поставят его к стенке, если уже не поставили. Он, конечно, признал за благо, как ты говоришь. Но надо было гнать его к родственничкам за границу, как Селезня с Заячьей горы. Вон она, Заячья гора, вон тот бугор видишь? Он по ту сторону реки. Говорят, ермаковские казаки к ней причалили и казака Селезня послали посмотреть округу. А он присмирел на теплом-то бугре, на редком осеннем солнышке, едва его оттуда в лодку загнали. Здесь, говорит, останусь! А казаки отвлекающий маневр делали, Кучума в заблуждение вводили. Атаманом у них был Бутак. Тут они и перезимовали!

— Да, Паша Хохряков зачем-то был отправлен в Тобольск. И до сих пор не вернулся. То ли поставить его к стенке был отправлен, то ли, наоборот, от стенки его отвести! — сказал я.

— Кто таков? Почему не знаю? — артистически вскинулся сотник Томлин.

— Местный палач! — сказал я.

— Тогда отправлен поставить к стенке! — сказал сотник Томлин и вдруг сменил разговор. — А пойдем, Лексеич, рыбу удить. Дождичек — так себе, не промочит. А клев должен быть хороший. Пескаришек на обед натаскаем! — и вспомнил Персию. — Помнишь, казаки как-то свежей рыбы притащили? Мы все объелись — вкуснейшая рыба! Пояса распустили — так объелись. А она, оказывается, трупами питалась. В прошлом рейде побили народишку, он в речке и полеживал! Помнишь?

— Да, и огласились персидские окрестности скорбным многоголосием исторжения казачьими желудками сего деликатеса! — покивал я.

— Было дело! — сказал сотник Томлин.

Меня же вдруг какая-то странная тревожная сила потянула тотчас убраться из Бутаковки. Я подумал про дом. И, совсем не зная, что и как там, я решил пробираться домой. Я сказал об этом сотнику Томлину.

— Да перестань, Лексеич, какая тревога! Тревога по всей стране нынче, как моя бражка по чуланке, разлита, хотя моя бражка накрепко закупорена и ждет нас к обеду! — отмахнулся от меня сотник Томлин.

Мы вышли со двора. С угла улочки затарахтела телега. Мы оглянулись. На нашу улочку выворачивал плотно забитый каким-то мужичьем тарантас. Завидев нас, мужичье замахало руками, а один соскочил с запятков и побежал вровень с лошадью.

— Туть! — сказал обычное свое слово, когда удивлялся, сотник Томлин. — Это же дрянь-человчишко!

— Григорий Севастьянович, они за мной! — сказал я.

— Едрическая сила! — только и сказал сотник Томлин.

— Может быть, мне твоим огородом уйти в лес? — спросил я.

— Не успеешь. Ждем здесь. Может, обойдется! — сказал сотник Томлин.

Тарантас подкатил к нам. С него соскочили трое — мужик постарше и двое молодых, мордастых и туповатых.

— Такая-то мать, стой! Кто Томлин? — закричал мужик постарше.

— Да вот он! — показал на сотника Томлина дрянь-человечишко.

— Где у тебя контра прячется? — снова закричал мужик постарше.

— А почто с матом? — спросил сотник Томлин.

— Не придуряйся! Где твоя контра? Я начальник волостной милиции. Это мои милиционеры! — показал он на туповатых парней. — А это, — мужик показал на оставшегося в тарантасе надутого и в кожаном пиджаке некого субъекта, по виду из каких-нибудь артельных. — А это комиссар из Екатеринбурга! Давай сюда свою контру!

— А это кто? — показал на дрянь-человечишку сотник Томлин.

— Хы! Шутишь, что ли, Григорий Севастьянович! Я это! — осклабился дрянь-человечишко. — Я это. Вчера мы у тебя пили! А сейчас я привел милицию. Для порядку. Тебя я люблю и уважаю. А вот он, гостенек твой, может, жандарм. Что он все молчит и смотрит?

— Еще раз объявишься у меня в окрестностях — зарублю! — сказал сотник Томлин.

— А вот за это не только в местную чижовку, а и в чрезвычайку в город упечь можно! И так-то бывший казачий офицер, да еще советскому сочувствующему угрожаешь! — заругался начальник милиции. — Ну, где твоя контра? Этот? — показал он на меня.

— Это… — хотел что-то сказать сотник Томлин.

Но начальник милиции шагнул ко мне.

— А ну, документы! По какую холеру приехал? Жандарм? Сознавайся! — закричал он, расстегивая кобуру.

— Извольте! — улыбнулся я краешком губ и со всей силы ткнул его стволом «Штайера» в живот, и пока он, перегнутый, напрасно хватал распяленным ртом воздух, я наставил пистолет на комиссара. — А ну вон отсюда, иначе я стреляю без предупреждения! — закричал я, а потом упер пистолет в начальника милиции. — Считаю до двух и дырявлю ему башку! Раз!

Туповатые парни, то есть милиционеры, оказались не столь уж туповатыми. Сильным порывом они оказались в тарантасе, в порыве замяв комиссара.

— Два! — прокричал я.

— Ты это, ты того! — закричали парни, то есть милиционеры, круто выворачивая тарантас.

— А я! — взвыл и кинулся в тарантас дрянь-человечишко.

— Зарублю сволочь! — крикнул ему вдогонку сотник Томлин.

Парни взяли лошадь в галоп. Тарантас еще полностью не выворотился и через несколько лошадиных скачков завалился, увлекая за собой и лошадь.

— Едрическая сила! Хоть бы лошадь пожалели! Крестьяне и есть крестьяне! — заругался сотник Томлин.

Побитые так называемые крестьяне кое-как выправили тарантас и лошадь, собрались было уехать, но от них к нам пошел, сильно припадая на ушибленную ногу, комиссар. Не доходя сажен двадцати, остановился.

— Вы ответите по всему революционному закону! Вы что думаете, что это вам сойдет с рук? Мы вернемся и выкорчуем все ваше гнездовье! Отпустите начальника милиции! — с прибалтийским выговором закричал он.

— При твоих сатрапах мы и тебя не отпустим! — засмеялся сотник Томлин.

Я снова велел им убраться.

— Ваш начальник побудет у нас! Сами понимаете для чего! — сказал я.

— Мы перекроем все дороги. Вам не уйти от ответственности! Лучше сдайтесь! — сказал комиссар.

— Скажи ему, чтобы убирался подобру-поздорову! — ткнул я стволом пистолета начальника милиции.

— Айдате, айдате, товарищ! Ведь убьют меня! Айдате поезжайте! — замахал начальник милиции комиссару убраться.

— Товарищ! Мы вынуждены уехать. Но мы вас освободим! — сказал комиссар.

— Фамилии нет толку запомнить. А освобождать собрался! — едва не в слезах сказал начальник милиции.

— Держитесь, товарищ! Они не посмеют! — напутствовал его комиссар.

— Да уж ты все знаешь. Давай местами-то поменяемся! — крикнул начальник милиции.

— Я вернусь с подмогой. А вы всеми силами сопротивляйтесь. Далеко они не уйдут! Все станции в окрестности мы предупредим! Всю милицию мы поставим на ноги! Держитесь! — пропустил комиссар предложение начальника милиции мимо.

— Шиш с два! — сказал о комиссаре начальник милиции, глядя на меня. — Вы только меня не убивайте! Я вас, куда надо, отведу!

— Задачу усвоил. Молодец! — похвалил я.

Тарантас покатил восвояси.

— Григорий Севастьянович, прости! — сказал я.

— Однова! — скрутил он ус в круассан. — Ладно. Пойдем в избу. Маленько времени у нас есть! Соберем на дорогу. Я с тобой. Тут жизни мне теперь нет!

— Да, может быть, не тронут. Ведь не за что! — сказал я.

— Не тронут, только дырку во лбу сделают! — сказал сотник Томлин.

В избе он велел мне собрать, как он выразился, кошт, сам же пошел в чулан и вернулся оттуда со свертком, до боли похожим на тот ковровый сверток, какой я получил в тот же день расставания с Натальей Александровной в батумской гостинице и в котором оказалась моя шашка, сбереженная сотником Томлиным.

— Вот это-то мы с собой тоже возьмем! — сказал сотник Томлин. В свертке оказалась драгунская винтовка с дюжиной обойм. — Еще со времен Кашгарки сохранена. Вся в масле. Ну, да по дороге оботрем!

Дождь перестал, и, когда мы вышли, уже пригрело солнышко. Через огород мы вышли к близкому лесу. Сотник Томлин оглянулся на избу.

— Опять пустой куковать, христовенькой! — сказал.

В лесу мы свернули в сторону от станции, посчитав, что так обманем погоню, опушкой шли версты четыре и потом присели отдохнуть.

— Вы меня пристрелите? — спросил начальник милиции.

— А чего полез? Не мог по-человечески спросить? Власть полюбилась? — спросил сотник Томлин.

— Власть, на такую власть накласть! — зарыдал начальник милиции. — Не убивайте! Что я, по своей воле, что ли! Комиссар револьвером под носом машет: на носу революционный праздник, а у нас ни одного под контрибуцию не подведено. Гонит сход собирать. А крайний всегда начальник милиции. Мне волком: давай! А кого давай! Я давай, а потом меня мужики вилами в брюхо! Комиссар меня самого грозит в город за пособие контре забрать. А тут этот вихлястый: «Есть контра!..»

— Ну и что? Тебе вилами в брюхо, значит, больно. А нашему брюху, значит, нет ни что! — сказал сотник Томлин.

— Не сам я! — продолжал рыдать начальник милиции. — Черт принес этого комиссара. Без него бы я этому вертлявому напинал — да и все. А этот сразу: «Есть? Кто такой? — И на меня: — А ты что, саботаж мне устраивать?..» — и про какой-то поезд сегодня через станцию, какого-то особого назначения, какой-то Хрюкин проследует, стал мне талдычить и пулей в лоб грозить.

— Какой поезд, какого Хрюкина? — спросил я.

— А черт у них разберет. То, значит, им сход давай и под контрибуцию кого подводи. То опять, значит, поезд особого назначения! А мне кого? У меня три класса грамоты! — утер рукавом нос начальник милиции.

— Какого же полез в милицию? — снова спросил сотник Томлин.

— Еще раз! Какой поезд особого назначения? Какой Хрюкин? — спросил я.

— Так разве скажут! Хрюкина или Хохрюкина, — дернул всем туловом начальник милиции.

— Хохрякова? — спросил я.

— Во, Хохрякова! Он, значит, проедет, а я будто против! Меня под пулю, кричит! — затряс головой начальник милиции.

— Когда проедет? — спросил я.

— Сказал, проедет, и все. Мне никто — ни словом, ни духом! — учуяв что-то для себя не совсем ладное, заискивающе взглянул мне в глаза начальник милиции.

Я отвел сотника Томлина в сторону.

— Григорий Севастьянович, поезд особого назначения, Паша Хохряков — все это связано с государем. Поверь мне. Он или его везет, или тело его! — сказал я.

— И что? — спросил сотник Томлин.

— Прости. Но я думаю пробиваться обратно в Екатеринбург! — сказал я.

— В Бург так в Бург. Только ведь схватят. И там, ты говоришь, тебя ищут, дома засада! — сказал сотник Томлин.

— Там разберемся! — сказал я.

— Царь-батюшка, говоришь, — поджал губы сотник Томлин. — Только что мы вдвоем-то?

— Ты о чем? — спросил я.

— Ну, если царь-батюшка в Бург, и мы туда же, — о том, — сказал сотник Томлин.

— Пока не знаю. На месте определимся! — сказал я.

— Его же в такой каземат посадят, если живой, что только один товарищ Ленин будет об этом знать! — сказал сотник Томлин.

— На месте определимся! — снова сказал я.

— Ну, кто с нас службу снимал, сами никто. А значит, никто с нас службы не снимал! Командуйте, ваше высокоблагородие! — взял под папаху сотник Томлин.

Начальник милиции наше совещание принял на свой счет.

— Братцы, не убивайте! — пополз он к нам на коленях.

— В штаны не наклал? — спросил сотник Томлин.

— Нет! — остановился и прислушался к себе начальник милиции.

— Тогда сгодишься! Документик свой советский давай! — сказал сотник Томлин, взял его удостоверение, протянул мне. — Ты, Лексеич, будешь теперь начальником милиции, я конвоиром, а он у нас будет контрой! И везем мы контру…

— Не убивайте! — опять понял нас по-своему начальник милиции.

— В штаны не клади. Веди себя хорошо. На место приедем, отпустим. Только знай, что тебя за это твоя власть по головке не погладит! Так что тебе дорожки обратно нет! — сказал сотник Томлин.

— Убьете? — ослаб начальник милиции.

— Надо бы за твою любовь к власти, но ведь христианская душа, и Пасха скоро! — сказал сотник Томлин.

— Ага, скоро! — криво заулыбался начальник милиции.

— Что же твои тебя так скоро бросили? — спросил сотник Томлин.

— Шелуха! Где взять-то. Фронтовики не идут. Против своих же, говорят! Вот и берешь первого попавшего! — стал объяснять начальник милиции.

— А ты, значит, пошел. Фронтовики не идут, а ты пошел? — усмехнулся сотник Томлин.

— Хватит с него, Григорий Севастьянович, — попросил я.

— Слушаюсь, — опять взял под папаху сотник Томлин, а потом сказал: — Лексеич, а мы, кажись, первые, кто пошел на Екатеринбург!

— Да! — понял я его. — Историки напишут: в ночь на первое мая восемнадцатого года первые воинские формирования в составе сибирских казачьих частей, частей местного гарнизона и, — я показал на начальника милиции, — и

милицейских подразделений самой советской власти двинулись на освобождение столицы Уральской области!

— Ну, ладно, Лексеич. Ты — князь Пожарский. Я — Минин-Сухорук. А это придаточное предложение за кого сойдет? — скосил он глаза на начальника милиции.

— Проще простого, сотник. Мы его бережем пуще глаза. А что берегут в воинском подразделении пуще глаза? — поглядел я на него с вопросом.

— Знамя, что ли? Ну, не ждал от вас, ваше высокоблагородие! — возмутился сотник Томлин.

— Денежный ящик, сотник! Знамя берегут больше самой жизни! А денежный ящик берегут пуще глаза! И сия колода, — показал я на начальника милиции, — будет у нас нашей разменной монетой!